

Библиотечка
ВОЕННЫХ
приключений



АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

*Очень хочется
жить*

Библиотечка
ВОЕННЫХ
приключений



АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

*Очень хочется
жить*

БИБЛИОТЕЧКА ВОЕННЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ

П О В Е С Т Ъ

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Москва — 1959

В повести «Очень хочется жить» Александр Андреев рассказывает о первых месяцах Великой Отечественной войны.

Герои повести в результате неравных боев с гитлеровскими захватчиками оказываются в тылу врага. Пережив много неожиданных приключений, они под руководством старших товарищей из разрозненных групп бойцов и командиров сколачивают боеспособную, хорошо вооруженную часть и, проявляя силу советского духа, воинскую доблесть и мужество, громят врага, выходят победителями.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Часть первая	3
Часть вторая	135
Часть третья	227
Часть четвертая	337

Андреев Александр (Василий Дмитриевич)

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Редактор *Ченцов Н. И.*

Технический редактор *Аникина Р. Ф.* Корректор *Гицкая Е. Г.*

Сдано в набор 17.10.58 г.

Подписано к печати 4.3.59 г.

Г-53189

Формат бумаги 70×92¹/₃₂ — 12¹/₂ печ. л. = 14,625 усл. печ. л.

14,129 уч.-изд. л.

Военное издательство Министерства обороны Союза ССР

Москва, К-9, Тверской бульвар, 18.

Изд. № 1/1320

Зак. № 2437

2-я типография Военного издательства
Министерства обороны Союза ССР
Ленинград, Д-65, Дворцовая пл., 10

Цена 4 р. 85 к.



ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь...

А. Блок

1

На перроне Киевского вокзала вдоль запыленных товарных вагонов с раскрытыми настежь дверями сновали красноармейцы в новеньких гимнастерках и пилотках. Возбуждение, охватившее людей, казалось samozабвенным, точно отбывали они в край синевы и солнца — на отдых. На последние деньги закупалось все, что еще осталось в пустых при вокзальных буфетах. Прямо у вагонов сбивались в кучки и шумно пили из бумажных стаканов пиво и разливной портвейн — девушки принесли его в жбанах и пузатых стеклянных банках. Буылки швыряли под колеса, они с треском лопались на рельсах. С прошлым все было покончено: налетел вихрь, разметал хрустальные дворцы, созданные пылкой юношеской мечтой, разорвал судьбы, казалось, навечно скрепленные любовью; словно пыль с дороги, сдул мелкие человеческие обиды, ссоры, ревности, ложные заверения. Все это осталось позади. Впереди — лишь взметенная взрывами земля, скитания по военным дорогам, борьба со смертью. Война!..

Боец, пробегая мимо нашего вагона, споткнулся на выбоине платформы — на пыль-

ный асфальт упал тоненький ломтик сыра,— ругнулся и в сердцах ударил носком ботинка кусок асфальта. Он отлетел к моим ногам. Лейтенант Стоюнин поднял его, подержал на ладони, затем отломил немного, грустно и смущенно улыбнулся.

— Возьму с собой... Случится, затоскуешь, возьмешь в руки этот кусочек, и повеет на тебя родным бензиновым перегаром — частица Москвы все-таки...

Я понимал лейтенанта Стоюнина: час назад, выходя из метро, я задержался у колонны, облицованной мраморными плитами с разветвленными синеватыми прожилками, и ее холодок приятно коснулся моей щеки — я прощался с Москвой, со всем, что было любимо и свято в ней для меня. Земля, на которой вырос, стала дороже жизни.

Военкомат направил меня, как и многих добровольцев, на трехмесячные курсы лейтенантов. Но выпустили нас досрочно, и мы поняли, что дела на фронте более сложны, чем мы предполагали.

Преподаватель тактики, подполковник Верстов, человек пожилой, хмурый, неулыбчивый, но мягкий, сказал, прощаясь:

— Недолго пришлось изучать нам военную науку, товарищи командиры.— С глубокой печалью оглядывал он нас, стройных, молодых и неопытных.— Продолжите обучение в бою с немцами: враг — самый умелый и беспощадный учитель. И чем скорее превзойдете его, тем лучше... Самое страшное в тактике врага — танковые тараны. Ваша задача — научиться противостоять им, уничтожать танки,

отсекая их от пехоты. И еще один вам совет: держитесь за землю в прямом и переносном смысле. Зарывайтесь в землю. Она оградит вас и от танков, и от артиллерийского огня, и от авиации... Ну, с богом!

Перед отъездом на фронт я еще раз забежал домой, на Таганку. Павла Алексеевна, соседка по квартире, встретила меня, как самого близкого; моя военная форма сильно встревожила ее.

— Фашистов-то, говорят, видимо-невидимо. Говорят, Смоленск уже захватили, на Москву прут. С танками... Что будет-то, Митенька?..— Она заплакала.

Я промолчал и прошел на свою половину.

Глухо и грустно бывает в комнатах, когда в них долго никто не живет; везде лежит серый, тусклый налет пыли... Листья лимонов пожелтели без поливки.

Павла Алексеевна, войдя следом за мной, присела на краешек стула.

— Заходил, Митенька, Тонин Андрей, пожалел, что никого не застал из ваших. Забежал еще дружок твой, Саня, в военном, должно, тоже на фронт отправили... А еще спрашивала про тебя девушка одна, красивая такая, Ириной назвалась. Грустная была. Постояла на крылечке, потрогала нижнюю губку мизинчиком и ушла...

Много разных вопросов, мыслей и чувств вызвали торопливые известия Павлы Алексеевны о близких мне людях. Муж моей сестры Тони Андрей Караванов — летчик-истребитель — возможно, уже врзается сейчас в строй вражеских стервятников, кружащихся

над Ленинградом или Минском. Ничего не сказала Павла Алексеевна про Никиту с Ниной. Судьба, как нарочно, раскидала нас в разные стороны перед такими событиями. Надо же было Никите увязаться за Ниной куда-то в Белоруссию или на Смоленщину. Они должны быть в Москве, — за десять дней можно пешком дойти. Значит, застряли где-то... Никита — кузнец, он все выдержит, в какие бы условия ни поставила его война. А вот Нина?.. Куда сй с ее нежными руками и наивной душой! А что, если она уже в плену, в руках немцев? Воображение рисовало картины, одна другой страшнее и унижительнее, и я содрогался от боли, от бессилия помочь Нине, спасти ее.

С этой тревогой я и ушел из дому. На вокзале меня никто не провожал.

Гудок паровоза, резкий и продолжительный, будто хлестнул по сердцу, оставил на нем глубокую борозду. Вагон грубо дернулся, застыл, затем еще раз дернулся и тихо, неохотно двинулся. Бойцы не могли оторваться от девичьих губ — поцелуи напоминали вздох, тяжелый и печальный. Оставались позади женские в слезах лица, ярко вспыхивали и прощально полоскались на ветру косынки.

Белобрысый парень с капельками пота на переносье еще плясал, старательно выбивая дробь каблуками тяжелых ботинок. Несколько человек, собравшись в кружок, хлопали в ладоши в такт ему. Из вагонов кричали:

— Эй, артист! Пропляшешь войну!

Дождавшись нашего вагона, белобрысый парень метнулся к двери, сначала кинул в ва-

гон пилотку — кто-то ловко поймал ее, — затем прыгнул сам; несколько надежных рук подхватило его.

Платформа кончилась, потянулись пристанционные постройки, вагоны, беспорядочно разбросанные по путям. Сзади кто-то крикнул:

— Не забывай, Москва!

Я стоял, облокотясь на перекладину, перегородившую широкую дверь. С каждым перестуком колес все дальше и дальше уходила, убегала московская земля. Удастся ли вернуться? Все прошлое, все пережитое вдруг озарилось теплым, радостным светом, как уже навсегда потерянное. Вспомнилось: в детстве, в ночном, когда я уснул возле костра из сухой картофельной ботвы и коровьих лепешек, мне поднесли к лицу зажженную вату, выщипанную из подкладки моего же пиджака; я проснулся от пронзительной, раздражающей душу боли. Вспомнилось, как Леонтий Широков с Сердобинским подложили мне под подушку ежа, и я лег на него... Память выхватывала из прошедшего — отрывочно, бессвязно — какие-то случаи, поступки, розыгрыши, подчас нелепые и обидные, — все они вызывали сейчас грустную улыбку... Прошлое стояло рядом, за спиной, а будущее виднелось смутно. В душе у меня было столько сил, била ключом такая жажда жизни, что упорно верилось: перенесу все лишения, одолею неодолимое, выстою все беды, только бы не смерть. Я впервые подумал о смерти, и мне стало страшно. Неужели я не увижу больше солнца, Москвы, Волги? А мать, Тоня, Нина... Хотелось закричать грозно и протестующе!..

Мне казалось, что и всем, едущим со мной, так же страшно, как и мне. Я обернулся. Молодые веселые парни, белокурые и чернявые, с лихой беспечностью допивали остатки портвейна — возбуждение, вызванное отъездом на фронт, не покидало их, — настроение «Черт побери все!» невольно передалось и мне. Я стал тихо подтягивать белобрысому танцору и запевале: «Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой...»

Поезд, не задерживаясь, пронесся мимо станций, гудел на переездах, и пронзительные, щемящие звуки отдавались и замирали в зеленых березовых рощах. И всюду нас провожали, желая самого хорошего, тоскующие материнские глаза...

В Малоярославце эшелон встал бок о бок с эшелоном, идущим с фронта.

В распахнутую дверь нашего вагона глянул кровавый лик войны. В вагоне встречного поезда на полу и вдоль деревянных нар лежали на соломенных матрацах раненые, тесно прижавшись друг к другу. В сумрачной глубине виднелись бледные пятна марлевых повязок и два или три лица со вскинутыми подбородками. В двери, на полу, свесив вниз босые ноги, сидел боец с повязкой на голове и правом глазу; сквозь нее проступали черные пятна уже запекшейся крови. Незавязанный глаз, серый и как бы задымленный, без блеска, глядел на меня равнодушно и устало, складки губ с серебристым пушком таили что-то горькое, болезненное.

— Ну, как там? — тихо и неуверенно спросил кто-то из наших.

С нар поднялся высокий худой парень без рубашки, весь, точно пулеметными лентами, перепоясанный бинтами, особенно пухло и надежно запаковано было правое плечо; впалые щеки и глубоко сидящие глаза на загорелом до черноты лице хранили сумеречные тени.

— Поезжай — увидишь, — ответил он хмуро, но, оглядев примолкших ребят, таких доверчивых, свеженьких, улыбнулся, показав крупные белые зубы, успокоил дружелюбно: — Ничего, братцы, не робейте. Главное — применяться к складкам местности. И пригибаться. А то вот я забыл пригнуться, меня и садануло...

К двери протолкался белобрысый плясун, сказал громко и задорно:

— А мы не робеем, не пугай! — Вдруг он присвистнул и запел хмельным криком: «Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить!..»

Его никто не поддержал.

Боец с забинтованным плечом поморщился, покосившись на раненых товарищей, осуждающе сплюнул и попросил закурить. К нему тут же протянулось несколько рук с раскрытыми пачками папирос. Парень, безучастно сидящий в двери, проговорил, точно размышляя вслух:

— Будет видеть глаз или нет?.. — Очевидно, этот вопрос мучил его все время.

По узкому коридору между поездами деловито и озабоченно шла женщина в белом халате, за ней впритруску следовали двое пожилых усатых санитаров в коротеньких и засален-

ных халатах, напоминавших поварские курточки. Задний нес на плече носилки.

— Сюда, сестра! — крикнул женщине боец с перевязанным плечом. — Здесь они! — И объяснил, обращаясь ко мне: — Покамест ехали, двое кончились: один в грудь был ранен, другой — в живот.

Санитары, приблизившись, установили возле колес носилки и по-стариковски неловко полезли в вагон. Через минуту они поднесли к двери умершего бойца, почти мальчика, с желтым, бескровным лицом.

Я не видел, как санитары снимали его и клали на носилки: вагон наш толкнуло, эшелон двинулся дальше. Паровозный гудок был теперь угрюмый, приглушенный, точно охрипший, наводящий уныние. Бойцы молча следили, как уносился назад зеленый лес; деревья то взбегали на пригорок, нависали над головой, закрывая белые облака в небесной голубизне, то спускались вниз, и нам видны были острые вершины елей, освещенные полуденным солнцем.

К вечеру за станцией Рославль эшелон, мчавшийся с предельной скоростью, вдруг оборвал бег, раздался визг колес, скользнувших по рельсам. Запахло горелым железом тормозных колодок. На пол полетели, гремя, котелки и кружки. Многие не удержались на ногах. Я ударился головой о стойку двери. Паровоз отрывисто и встревоженно гудел. Два сильных и близких взрыва качнули вагон. Потянуло кислым пороховым дымом. Мы сразу поняли: это налет. Одни растерянно и вопрошающе глядели друг на друга, другие кину-

лись к дверям, заглядывали вверх, пытаюсь определить, откуда угрожает опасность; испуг присыпал лица белой пудрой.

Задержка была секундная. Паровоз, судорожно работая локтями, исходя паром, с огромным напряжением опять рванулся вперед. Эшелон прополз метров триста и снова остановился. В соседнем вагоне забили в подвешенную рельсу. Металлические всплески звуков, частые и пронизывающие, как бы смыли людей на землю. Они сыпались из вагонов, скатывались с насыпи и ныряли в траву.

Отбежав подальше от дороги в реденький кустарник, я упал на пыльную, нагретую солнцем пахучую траву лицом вниз. Но любопытство — куда упадут бомбы? — подавило страх. Я оглянулся. Два самолета с желтыми крестами на крыльях тяжело, со зловещей медлительностью разворачивались, уверенно заходя на эшелон со стороны паровоза, — беспомощный, он покорно стоял на высокой насыпи, как бы ожидая своей участи, и робко дышал, выпуская белые струйки пара. На крышах переднего и хвостового вагонов сидели бойцы с ручными пулеметами.

Перед моими глазами затрепетал мотылек, такой легкий и радостный, что у меня тоскливо заныло сердце; вот он коснулся листика молодого дубка, сложил радужные крылышки в черных бархатных крапинках, опять расправил их. Его спугнула внезапная стрельба — пулеметчик, не выдержав напряжения, выпустил очередь, хотя самолеты были еще далеко. Но вот они достигли какой-то точки и словно с невидимой крутой горы скользнули вниз

один за другим. Из-под крыльев отделились черные бомбы. Мне показалось, что эти бомбы летят прямо на меня, я опять ткнулся лицом в траву. Вой самолетов сверлил где-то под лопатками.

Ухнула земля, прожужжали осколки, на плечи посыпались твердые комья; бомба разорвалась совсем рядом. «Пронесло»,— с радостью подумал я и хотел встать, но последовал еще один взрыв, особенно сильный, трескучий, и плотнее придавил к земле.

Когда вой прекратился и наступила тишина, я приподнял голову и посмотрел на эшелон. Хвостовой вагон был разнесен в щепки, второй горел, облако дыма и пыли стояло над дорогой, заволакивая красное заходящее солнце. Самолеты ушли. Бойцы неуверенно подымались с земли и тихонько тянулись к поезду, изумленно глядя на место катастрофы. Сквозь треск горящего дерева я услышал слабые стоны.

— Помогите встать, товарищ лейтенант,— попросил меня белобрысый плясун; он сидел под кустом и болезненно морщился, оглядывая ногу: обмотка на левой икре пропиталась кровью и стала черной. Я склонился, он обнял меня за шею, легко встав на здоровую ногу, заковылял, повиснув на моих плечах. «Ну, вот, отплясался»,— подумал я, глядя сбоку на побледневший курносый профиль парня. Парень, словно угадав мою мысль, беспечно проговорил:

— Ни черта, заживет!..

Вдоль вагонов бежал начальник эшелона, подполковник, уже немолодой, с брюшком,— из запасных. За ним спешили к месту пожара

двое железнодорожников. Увидев меня, подполковник крикнул, задержавшись на секунду:

— Всех раненых в один вагон! Там им делают перевязку.

На помощь ко мне уже подходили санитары.

Железнодорожники попытались отцепить горящий вагон, но пламя не позволяло приблизиться, и начальник поезда приказал отсоединить три вагона: третий вскоре загорелся от соседнего. В сумерки железные остовы их столкнули под откос, чтобы они не мешали движению.

Подобрав и погрузив раненых — пулеметчиков, что находились на хвостовом вагоне, не нашли,— эшелон помчался дальше, скорей, скорей к фронту!

Ночью ощущение тревоги и опасности стало острее. В той стороне, куда с таким нетерпением стремился поезд, стояли, обнимая полнеба, багровые зарева, будто небо обильно сочилось кровью. Один раз мне показалось, что мы летим над огненной землей, справа и слева буйно разлилось, стекая за горизонт, пламя: горели хлеба. Колхозники, уходя в глубь страны, поджигали массивы спелой ржи и пшеницы.

В зловещем сумраке ночных пожаров отчетливо различались плывущие нам навстречу бесконечные обозы, нагруженные скарбом и малыми ребятишками. Шли люди, устало тянулся домашний скот. Что-то жгуче тоскливое, древнее было в этих обозах, точно выплывали они из мглы веков — так было во времена нашествия монголов, поляков, французов; люди покидали родные, насиженные гнезда.

Весь следующий день эшелон, прокрадываясь к фронту, часто и подолгу стоял, ожидая, когда починят пути, развороченные бомбами. К ночи он достиг маленькой разбитой станции, не доезжая Орши. Курсантов — нас было шестеро, прибывших на пополнение командного состава подразделений,— принял представитель полка, капитан, человек с резкими движениями и охрипшим голосом; в темноте трудно было разглядеть его лицо. Он зачем-то потрогал каждого из нас, подталкивая друг к другу, сбивая в тесную кучу, затем бросил недружелюбно:

— Идите за мной.— Но с места не сдвинулся. Мы тоже стояли. Поглядев в сторону зарева, откуда неслись глухие и протяжные стоны земли — там рвались снаряды,— приказал с раздражением: — Проверьте оружие! — И, узнав, что мы безоружны, неожиданно хохотнул отрывисто и презрительно.— Да вы что, на кулачный бой приехали? Глядите на них! Присылают черт знает кого!..— И зашагал прочь, в темноту.

За станцией он остановил грузовик. Мы забрались в кузов, полный каких-то ящиков. Машина пробиралась по опушке леска, осторожно нащупывая дорогу, качалась на ухабах и рытвинах и через час вползла в деревню Рогожка, приткнулась к изгороди в темном проулке. Капитан, выпрыгнув из кабины, убежал на крылечко избы и скрылся в черном проеме двери. Мы остались ждать.

В темноте вдоль улицы и в проулках между домов безмолвными тенями двигались люди, запрягались лошади, нагружались подводы,

урчали моторы. В дальнем конце деревни с подмывающей тоской выла на зарево собака. В сенях плакал ребенок, и женщина успокаивала его сонным, умоляющим голосом.

Через несколько минут капитан вернулся и все так же хмуро, с уничтожающей иронией представил нас вышедшему вместе с ним начальнику штаба:

— Вот они, товарищ майор, чистенькие, как новорожденные младенцы. Умеют ли стрелять, не знаю.

— Вы прибыли вовремя: завтра нас не застали бы здесь. Отходим.— Начальник штаба казался обеспокоенным и чрезмерно усталым.— Как ваша фамилия? — спросил он меня и чуть склонил набок седую голову, словно боялся, что не услышит ответ.

«Сейчас определится моя военная судьба», — пронеслось у меня в голове; я сделал шаг к нему.

— Лейтенант Ракитин.

— С ротой справитесь?

Времени для раздумий и колебаний не было.

— Справлюсь, товарищ майор.

Начальник штаба повернулся к капитану.

— Направьте лейтенанта Ракитина к Суворову, в третью роту.

Я сделал шаг в сторону, освобождая место другому...

2

Штаб полка снялся еще затемно. С уходом войск на деревню тотчас же легла неизгладимая печать; она приняла вид заброшенной и

обреченной, как бы приготовилась к великому и неизбежному... Женщины поодиночке показывались на улице и сожалеюще, с укором глядели вслед ушедшим. При сильных и близких взрывах они поворачивались в сторону боя, шептали что-то и, охая и крестясь, загоняли ребятишек в холодные, сырые погреба. Во дворах беспокойно мычал скот. Собаки с поджатыми хвостами жались к домам, предчувствуя беду. И только неунывающие петухи, пренебрегая всеми опасностями, голосили беспечно и задорно, радуясь наступившему новому утру. В зоревой свежести острее чувствовалось дыхание приближающегося бедствия — запах гари и порохового дыма был удушливее и печальней, звуки взрывов, то гулкие и ленивые, то частые, беспорядочные и резкие широко захлестывали землю.

Ждать связного в деревне было тягостно, и мы, я и лейтенант Стоюнин, вышли на дорогу, твердо рассчитывая на одно правило: иди на запад — придешь на передовую. Лейтенант Стоюнин вынул из планшета карту. Он читал ее неторопливо, с особым удовольствием и важностью, водя средним пальцем по зеленым разводам и линиям, определяя местонахождение свое и батальона. Стоюнин любил строй, выправку, дисциплину, порядок — он был сыном кадрового военного, полковника, сражающегося где-то под Псковом; форма на нем была сшита из хорошего материала и на заказ, хромовые, по ноге, сапоги вычищены до блеска, гимнастерка перетянута желтыми скрипучими ремнями снаряжения, через плечо висела полевая сумка, на боку — планшет, на

груди — бинокль в новеньком чехле, и весь он, Стоюнин, празднично-чистый, юный, до хрупкости стройный, безмятежно-улыбчивый, без тени страха или беспокойства, наводил на мысль, что собрался он в парк, на свидание, а не в бой.

— Я думаю, лейтенант,— сказал Стоюнин, оторвавшись от карты,— нам следует держаться этого направления, идти по этой дороге — вон тот лесок, видите? — Лейтенант обращался ко всем на «вы». — На карте вот он... За ним должны быть Фомины дворы...

Бои шли рядом, но дороги, ведущие к передовой, поражали пустынностью, точно подразделения были брошены на произвол судьбы. Спокойствие напоминало затишье перед сильной грозой. Лучи восходящего солнца оплетали верхушки деревьев красной паутиной. Блики на сапогах Стоюнина померкли, припорошенные дорожной пылью. Показались два раненых красноармейца без оружия, без пилоток: они брели в медсанбат. На вопрос, где расположен батальон капитана Суворова, они молча повернулись в ту сторону, откуда только что вырвались полуживыми, и лицо одного из них исказилось, выражая отчаянный страх и ожесточение. Он бросился к нам, я увидел перед собой его остановившиеся, полные ужаса глаза.

— Не ходите туда, ребята! — заговорил он торопливо, упираясь мне в грудь здоровой рукой. — На смерть идете! — Нервы, много времени бывшие в напряжении, сдали, он сел на колею и вдруг заплакал — со зла и от бессилия, от жалости к себе и к нам. — Патронов

нет, снарядов нет... На железную стену — с голыми руками...

Он плакал и как будто кидал мне в душу горячие угли... Я помог бойцу встать.

— Успокойся,— сказал я, хмурясь.— Ты просто устал.

— Устал..— горько и с обидой повторил боец.— Эх, лейтенант! Хочешь, пойду с вами назад? — В этом вопросе было столько решимости, что малейшее наше колебание — и он вернулся бы...

Я сказал мягко и участливо:

— Добирайся до медсанбата, дружок...

Боец молча отвернулся от меня и, дернув за рукав своего товарища, как будто с неохотой побрел дальше. Я ощутил в себе обычное тревожное нетерпение,— казалось, без нас там, в батальоне, произойдет что-то непоправимо страшное...

— Надо спешить,— сказал я Стоюнину и прибавил шаг.

Лейтенант выглядел все таким же безмятежным, как будто встреча с ранеными бойцами не произвела на него никакого впечатления. Он ответил что-то, но я не расслышал: низко над землей, почти касаясь острых вершин елей, прошли с неистовым воем немецкие бомбардировщики. Когда вой утих, сзади послышалось тарахтение колес. Мы оглянулись: по дороге пылила парная повозка. В передке ее стоял ездовой, весь какой-то взъерошенный, седой от пыли, и безжалостно хлестал взмыленных лошадей. наших знаков задержаться он даже не заметил, и мы, сбросав в повозку мешки и шинели, вскочили на ходу. Сразу же

стало понятно, почему ездовой не щадил коней: от него зависела жизнь и смерть бойцов — он вез в ящиках патроны и несколько караваев черного хлеба.

Вскоре нашу подводу обогнали, пыля и сигналя, четыре машины, тяжело груженные снарядами.

— Это артиллеристам! — с надеждой закричал ездовой, обернувшись к нам, и хлестнул лошадей.

Лес, а особенно его опушка, заметно ожил. Дорогу пересекали артиллерийские упряжки; подминая деревца, проползли танки, закиданные увядшими ветвями, похожие на шалаши; виднелись стволы орудий, чуть вскинутые вверх, украшенные зелеными листьями, точно венками. И всюду бойцы, сосредоточенные, отрешенно-неторопливые, готовые ко всему, без надежды на успех. «Так выглядят люди, прошедшие через самые страшные испытания; они продолжают спокойно идти на грани жизни и смерти», — подумал я не без гордости, невольно причисляя себя к ним. Я попытался мысленно увидеть свой путь в будущем и ничего не мог представить себе явственно: все хаотически нагромоздилось и заволкло дымом, багровым от огня, смутно различались толпы людей и среди них я, живой, устоявший во многих бедах...

Ездовой придержал лошадей.

— Капитан Суворов вон там, за крайними дворами, около сарая, оттуда он командует. А мне — сюда. — И когда мы сошли с повозки, прибавил с тоскливым сокрушением: — Что это фашист не стреляет? — Он, очевидно, хорошо знал, что следует за таким затишьем.

Мы отделились от лесной опушки и полем, напрямую, пошли к крайним дворам. Над лесом, ласково грея, встало солнце, во все стороны осветились синие радостные дали. Слева, на горизонте, острым углом врезаясь в желтое поле пшеницы, хмуро и загадочно темнел лес,— мы поняли, что там затаился враг. Между тем лесом и дворами пролегла широкая лощина с пересохшей речушкой. Батальон, откатываясь под вражеским натиском, зацепился на высокой кромке этой лощины и наскоро вырыл окопчики, стрелковые и пулеметные гнезда. В зеленой лощине, вспаханной тяжелыми гусеницами, мертво чернели подбитые или сгоревшие танки, возле них разбросаны темные пятна,— должно быть, убитые, которых не успели убрать.

Лейтенант Стоюнин различил в траве среди кочек провода, они тянулись по огородам, выводя в проулок; обогнув избу, мы наткнулись на сарайчик, о котором говорил ездовой,— стены сплетены из хвороста, на крыше потемневшая от времени, слежалая солома. Возле сарая беспокойно переступала с ноги на ногу белая, словно лебедь, лошадь под седлом; нагнув голову к охапке свежей травы, она лениво выбирала губами нежные стебельки, сладко похрустывала. Неподалеку от нее мы увидели молодцевато подтянутого командира в аккуратной форме и шегольских сапогах со шпорами — это и был капитан Суворов. В нем было что-то театральное, напускное. Казалось, он сошел со страниц какой-то давно знакомой книги или из спектакля с беспечными гусарскими похождениями. Закроется занавес, и он предста-

нет уже другим, простым и, как все, обеспокоенным. Но занавес не закрывался, и мы наблюдали Суворова таким, каким он был,— наигранно лихим и требовательным. Перед ним тянулся с чрезмерной старательностью ефрейтор, коренастый, курносый, с удивительно плутовской рожей; вылинявшая, рыжая гимнастерка, короткая, с короткими рукавами, стянута на животе в сборки парусиновым ремнем, штаны на коленках пузырились, pilotка не могла прикрыть большой лобастой головы и чудом держалась на затылке.

— Смерти боишься? — строго и отрывисто спросил капитан Суворов и нетерпеливо ударил плеткой по голенищу своего сапога.

— Смерть не теща — пилить не будет. Раз обнимет — и каюк! — Ефрейтор выпалил это быстро и отчетливо, в упор глядя в лицо капитана и нагло, хитро ухмыляясь.

— А без рассуждений?

— Так точно, боюсь, товарищ капитан!

— Молодец! — похвалил Суворов. — Не боятся только дураки и хвастуны. Я тоже боюсь. — Он покосился на блиндаж с тройным накатом бревен — была развалена крайняя избенка. — А вообще я о ней не думаю.

— Правильно делаете, товарищ капитан, — одобрил ефрейтор. — О ней только подумай, она, сволочь, сейчас же явится и поцелует в самые уста, как по нотам. Она приголубит...

— Идите, ефрейтор, — кратко сказал Суворов.

Тот неуклюже кинул лопатистую ладонь куда-то за ухо и шагнул в сторону.

Капитан резко повернулся, и взгляд его ле-

гонько толкнул меня — большие светлые глаза как будто стояли впереди лица, острые, накаленные зрачки светились сумасшедшей дерзостью. Комбата любили за отчаянную смелость: он являлся к бойцам в самую критическую минуту боя и выправлял положение. Они почти верили в то, что он заговорен колдуньей:

«Его не берет ни одна пуля, роем вьются вокруг него, а касаться не смеют... А то он уже десять раз сложил бы свою лихую голову...»

Мы представились Суворову. Прикладывая руку к козырьку фуражки, он пристукивал каблуками, позванивал шпорами.

— Почему такие кислые лица, лейтенанты? — спросил он, оглядывая нас испытующе, с дикой веселостью. — Устали? «Солдату надлежит быть здорову, храбру, решиму, веселу...» — приказал Суворов, — и улыбнулся, открыв ровные, сахарные зубы, поправился: — Не я, конечно.

Я понял, что голова комбата забита патетическими формулами, сгустками чужих мыслей, и они держат его в неестественном состоянии.

— С какой радости быть «веселу»? — спросил я с недовольством.

Суворов удивленно приподнял брови.

— Скоро немец пойдет в атаку! — распаленно заговорил он и нервно хлестнул плетью по голенищу. — Он выкатится из того леса и встанет перед тобой на дыбы!.. Разве эта минута не веселит душу? Вчера они кидались на нас шесть раз, и мы шесть раз отбрасывали их назад! — Зрачки его постепенно накалялись, на скулах от стиснутых зубов вздулись бугры. — Они шли в рост, трещали автоматами, а мы

их косили, косили!.. Сколько было таких атак, я не помню, потерял счет; я иду от самой границы. У меня нет сердца, есть ком ярости, он накален и жжет грудь. Я никогда не отступал, не могу ронять честь фамилии — Суворов! Мне всегда приказывали отходить. И отходим. Потому что ни черта не умеем воевать.

Лейтенант Стоюнин негромко, но твердо возразил:

— Как мы воюем, показала финская война. Мы сокрушили такую крепость...

Капитан Суворов, прервав его, приложил палец к губам, испуганно округлив глаза.

— Тсс... Никогда не говорите этого, лейтенант, чтобы не выглядеть смешным. Я целый год отходил от карельского урагана — душа к ребрам примерзла. «Сокрушили!» — Он остановился, горячие зрачки его проникли мне в глаза. — Вы, лейтенант, на Карельском перешейке не были? Где-то я вас встречал, лицо мне ваше знакомо... — Он долго еще вглядывался в меня, потом обратился опять к Стоюнину: — Не умели воевать, лейтенант, сейчас только учимся. Немец преподает нам тяжкие уроки. Зато и усваиваются отлично — ненависть помогает. — Как бы вспомнив что-то, он хлестнул по сапогу плеткой, проговорил сокрушенно и с болью: — Понимаете, как было.. Я до сих пор не могу успокоиться... Ночью, накануне войны, в штаб дивизии — мы стояли в районе Бреста, я был дежурным по дивизии — явился перебежчик, поляк, с важнейшим сообщением: немцы утром пойдут в наступление. Я немедленно позвонил на квартиру командира дивизии; генерал был недоволен тем, что его

разбудили. Он сказал, что перебежчик или провокатор, или сумасшедший. А на рассвете началось!.. Представляете, какой у нас был вид?.. — Капитан хмуро сощурил глаза, на щеках затвердели бугры.— Но теперь мы не те, что были две недели назад. Теперь у меня каждый боец — профессор. И метит в академики!— Суворов резко повернулся ко мне.— Вы, лейтенант, не рассчитывайте получить роту в двести человек. Их нет, они легли в белорусских полях и лесах. Получите полсотни. Но каждый боец стоит десятерых. И на боевое оснащение не надейтесь. Его заменяет отвага. Бойцы снимают автоматы с убитых гитлеровцев, рискуют для этого жизнью... Никифоров! — крикнул комбат. Боец, сидевший возле сарая на бревне в обществе ефрейтора, вскочил и бросился к капитану.— Принесите автомат.— Никифоров нырнул в блиндаж и тотчас появился с немецким автоматом в руках. Суворов взял у него автомат и передал мне.— Вот вам оружие, товарищ лейтенант.— И еще раз крикнул: — Ефрейтор Чертыханов! — Ефрейтор, подбежав, опять кинул за ухо лопатистую ладонь.— Проведите лейтенанта Ракитина в третью роту. Оставайтесь при нем, служите ему верой и правдой!

— Есть служить верой и правдой! — гаркнул Чертыханов и тут же, понизив голос, спросил с ухмылкой: — Санчой Пансой? — Повернув ко мне широкое, с облупленным картошистым носом лицо, он улыбнулся одними глазами, хитро и общительно, извинился за строгого, но, по его, Чертыханова, понятию, чудаковатого капитана.

Суворов не расслышал насмешливого вопроса ефрейтора. Он повернулся к Стоюнину:

— А вы, лейтенант, останетесь в батальоне: вчера выбыл из строя мой начальник штаба.

— Есть! — ответил Стоюнин и озабоченно оглянулся, как бы говоря, что знакомство затянулось и пора приниматься за дело.

Суворов предупредил его:

— Батальон к бою готов. Ночью все проверил сам. Связь налажена. Боеприпасы подвезли. Очень мало, правда. Мы всегда задыхаемся от патронной недостаточности. — Он взглянул на часы, определил, улыбнувшись: — Фашист сейчас завтракает. Изволит кушать кофе...

В это время выплыли из-за леса немецкие самолеты. Они летели тройками — одна, другая, третья, — неторопливо и деловито, как бы провисая под тяжестью груза. Капитан Суворов, побледнев, приказал вдруг осевшим голосом:

— В блиндаж! Никифоров, заведи лошадь в сарай! — и скрылся под бревенчатыми накатами. За ним двинулся Стоюнин.

Я остался на месте, задержался и ефрейтор Чертыханов. Самолеты шли бомбить коммуникации, и до нас им не было никакого дела. Суворов выглянул из блиндажа.

— Лейтенант Ракитин, немедленно в укрытие! — Его светлые глаза опять стояли впереди лица и металлически блестели; он выговорил жестко, когда я спустился к нему: — Здесь нашей воли нет. Есть воля приказа. Это закон.

Через несколько минут я простился с комбатом, и ефрейтор Чертыханов повел меня в роту. Тяжелый осадок беспокойства и тревоги уносил я в душе после встречи с Суворовым. Мне подумалось, что он, находясь в ярости, похожей скорее на беспамятство, может погубить и себя и людей, идет по самому острию на грани жизни и смерти: упорство затмевает разум, риск ослепляет... Но то неукротимое, соколиное в нем, что бросалось с первого взгляда, подавляло.

Ефрейтор Чертыханов шагал впереди меня по тропе между грядок. Карманы, набитые чем-то, были широко оттопырены, в шею под крупным затылком врезался ремень автомата. Точно отгадав мои мысли, Чертыханов сказал, задерживаясь и приседая возле грядки моркови:

— Это он только с виду такой грозный, Суворов-то, это фамилия вздыбила его, тронулся он немного на этой фамилии... И еще он помутился, я думаю, от недосыпания. Я был его связным, а ни разу не видел, чтобы он лежал и спал. Прислонится плечом к столбу, к дереву, к стене, вздремнет чуть-чуть и, глядишь, уже вздрогнул, глаза ничего не видят, кричит: «Связной!» Измучил он меня вконец. «Отпустите,— говорю,— товарищ капитан, а не то грохнусь и не встану, хоть пушку мной заряжай». — Пошарив большими руками в зеленой ботве, Чертыханов выдернул несколько штук моркови — недозрелые, бледно-розовые хвостики,— подал мне какие покрупнее, попро-

сил: — Вы уж давайте мне поспать, товарищ лейтенант, а я отплачу за вашу доброту...

Мне вспомнилось, как в детстве я украдкой от матери таскал такую же недозревшую морковь, и явственно ощутил сладковатый вкус ее — хотелось есть. Я окунул морковь в росистую траву, затем вытер листьями лопуха. Ефрейтор двинулся дальше, надерганная про запас морковь, которую он держал за ботву, напоминала красноватого ежа.

— Комбат уже третий раз спрашивает меня, боюсь ли я смерти, — продолжал Чертыханов. — Забывает он. Немецкие атаки память у него отшибли. «Ты, — говорит, — мой верный Санчо Панса». Тут надо мной подсмеиваются: и ступой меня называют, и лопухом, и кувалдой. Как ни кинут, — все в точку, все в аккурат. Внешность у меня для прозвищ подходящая. — Он, повернув ко мне круглое лицо, — нос — вареная картошка с лопнувшей кожурой, — хмыкнул, как бы поражаясь людской глупости. — Я не обижаюсь: смейтесь, дурачки, меня ведь не убудет. А комбат вон как выгнул — Санчо Панса. Вот тут я сперва действительно обидеться хотел. Но потом раздумал: раз верный, значит не такой уж плохой, хоть и Санчо Панса. — Помолчав немного, он заключил не без горечи: — Внешность меня не раз подводила, товарищ лейтенант. Выбрали меня однажды секретарем колхозной комсомольской организации. Единогласно. Но райком не утвердил: «Секретари, — говорят, — должны быть привлекательными, они должны привлекать в ряды ленинского комсомола несоюзную молодежь. А ты, — говорят, — страховидным своим

обличьем отпугивать ее станешь». И теперь я и не мечтаю о руководящих постах.

Чертыханов перелез через изгородь и вошел в рожь, густую и спелую, во многих местах крест-накрест примятую колесами, копытами, гусеницами. Во ржи сидели двое бойцов и, сладко причмокивая, торопливо ели что-то из котелков. Перед ними стояло ведро, полное пшенной каши, и две сумки с караваями хлеба. Завидев нас, они, быстро вывалив из котелков недоеденную кашу в ведро, встали и взялись за палку, на которой висело ведро.

Чертыханов, задержав их, заговорил вкрадчиво, хотя в этой ласковой вкрадчивости улавливались гневные нотки:

— Вы, может, бар-ресторан тут откроете? Распивочную? — Голос его сорвался. — Там люди мечтают проглотить что-либо перед боем, ждут не дождутся, богу молятся, чтобы вас не пришибло по дороге. А вы привал устроили. Знаете, сукины дети, что за это бывает?! — Для подкрепления вескости своих слов он поглядел на меня, потом скомандовал: — Марш в роту! Бегом!..

Бойцы потрусили тропой, ведро раскачивалось на палке, мешая бежать...

— Кто сейчас командует ротой? — спросил я Чертыханова.

— Со вчерашнего вечера младший лейтенант Клоков. От телефона не отходит, глаз с того леска не спускает, боится проглядеть немцев. — Чертыханов осуждающе мотнул тяжелой головой, вздохнул. — С первого дня военных действий вы, товарищ лейтенант, седьмой будете. Самого первого командира, капитана Лещева,

убило на ранней зорьке 22-го числа, он даже до роты не добежал. Второй продержался два дня — тоже убило. Потом они пошли мелькать один за другим. Один Веригин был больно храбр, не жалел себя; чуть что — выскакивает: «За Родину! За Сталина! — вперед!» Ну и... Убило его или ранило, точно не знаю, только упал он и не встал, остался на их стороне. Его место занял старший лейтенант Буренкин. Этот малость трусоват оказался. Гитлеровцев не выносил. Они действовали на него вроде касторки: завидит, как они идут цепочками да с танками, лютый, извините, понос его прошибал насквозь. Обнимет живот, все равно что малое дитя, и что есть духу назад, в кусты! И тоже не уберется. Угодил под мину. Сколько времени уцелеете вы, не знаю.— Чертыханов шагнул в сторону, пошел в ногу со мной, задевая большими и тяжелыми, как гири, ботинками за стебли ржи; на крепких зубах хрустела морковь — от красноватого ежа осталось лишь несколько иголок.— Не суйтесь вы, товарищ лейтенант, не горячитесь,— сказал он по-дружески задушевно и просительно.— Самое главное: не скovyрнутья раньше времени. Не век же он, фашист, будет так переть, остановится...

— Остановится, когда всю землю заберет,— возразил я.

Он улыбнулся снисходительно.

— Скажете тоже: всю землю! Подавится от всей-то земли...

Утренняя безмятежная тишина угнетала меня, в ней таилась какая-то беда, которую невозможно было отгадать и тем более предотвратить. По горизонту точно проплывали невидимые

димые медлительные корабли под белыми, вздутыми ветром парусами облаков, белизна их ломила глаза, подчеркивала ощущение тревоги; от далеких ухающих взрывов облачные паруса, казалось, вздрагивали, как от порывов бури.

— Почему немцы молчат? — спросил я Чертыханова.— По-моему, и справа и слева идет бой...

— Черт их знает, почему они молчат,— спокойно сказал ефрейтор и, оторвав последнюю морковь, бросил зеленый пучок ботвы в рожь.— На поле боя они полновластные хозяева: когда им захочется, тогда и заводят бой, как по нотам. То вдруг замолчат, то вдруг ринутся! Мы пока принаравливаемся к ним: воля-то их пока...

— Может быть, они обходят нас?

— И такое бывало,— охотно согласился Чертыханов.— Недаром же штаб полка снялся... Они, товарищ лейтенант, немцы-то, сперва танки пускают,— заговорил он доверительно, опять подлаживаясь под мой шаг.— Вы не страшитесь. Их надо пропускать: катитесь, грудью их не опрокинешь; с ними расправятся, если смогут, артиллеристы и танкисты. На нашу долю пехота. Вот тут не теряйся, тут только держись! И почаще прижимайтесь к земле. Надежно...— Я удивился: ефрейтор повторил совет подполковника Верстова.

Мы прошли еще немного мелким кустарником, свернули влево, в траншейку со свежей, сделанной за ночь глинистой насыпью. Траншейка, изогнувшись, подвела к яме в рост человека, небрежно, наспех закиданной ветка-

ми,— это был командный пункт командира роты. Навстречу мне обрадованно кинулся человек, небритый, с мокрыми, прилипшими к лысеющему лбу прядями волос, с телефонной трубкой, крепко зажатой в кулаке; аппарат как бы держал его на привязи — провод был короткий,— и младший лейтенант Клоков до меня не дошел, протянул руку издалека.

— А я жду, жду вас... Думал, случилось что. Здравствуйте, товарищ лейтенант! — порывисто сжав мне ладонь, он так же обрадованно крикнул в трубку: — Прибыл, товарищ капитан! Все в порядке. Есть!..— Послушав немного, опять повторил: — Есть! — и кинул телефонную трубку. Клоков еще раз стиснул мне руку, как бы с благодарностью за мое появление, заторопился все объяснить, точно боялся, что я задумаю принимать у него роту.— Связь с батальоном пока хорошая. Враг не подает никаких признаков жизни... Рота к бою готова... Налицо сорок два человека. Командный состав — три человека, вы четвертый... Наша рота занимает правый фланг обороны. Держим связь со вторым батальоном... Кроме винтовок и автоматов, в наличии два станковых пулемета и один ручной. Есть немного противотанковых и ручных гранат и бутылки с горючей жидкостью... Патроны подвезли...

— Не густо,— обронил я негромко.

— На одну вражескую атаку вполне достаточно,— заверил младший лейтенант.— На две — с натяжкой. Третью и последующие придется отражать штыковым ударом.

В углу ямы за телефонным аппаратом сидел человек, как бы придавленный к полу грузной

стальной каской, над ним трепетало текучее душистое облачко дыма.

— Оружие-то еще только куется в уральских кузницах,— сказал он негромким учительским голосом.— Когда-то оно дойдет до нас... Но жизнь, вернее, враг поставил нас в такие обстоятельства, и нужно искать выход.

Младший лейтенант встрепенулся, мотнул головой с влажным от возбуждения лысеющим лбом и приклеенными к нему мокрыми прядями волос; я улыбнулся: суетливые движения делают немного смешными рослых людей.

— Познакомьтесь, политрук Щукин,— сказал Клоков.

Политрук неторопливо поднялся, взмахнул рукой, разгоняя дым.

— Здравствуй! — Он долго не выпускал мою руку из своей, изучающе разглядывал меня своими спокойными синими глазами; на широких, углами, скулах проступала редкая рыжеватая щетина.— Трудно перед врагом стоять, а надо. Привыкай скорей, лейтенант. Будем вместе горе мыкать...— Выпустив мою руку, он снял каску, вынул из грудного кармашка расческу с обломанными зубьями, расчесал на пробор желтовато-белые жесткие и прямые волосы; без каски он выглядел выше и стройнее. От него веяло спокойствием и уверенностью; это его спокойствие, веское и угрюмое, передалось и мне.— Тебе не терпится небось скорее познакомиться с обороной? — спросил Щукин, пряча тонкую дружескую усмешку.— Прокофий, проведи командира роты, покажи наши укрепления... Спешите, пока фашисты замешкались что-то...

— С великим удовольствием! — громко откликнулся ефрейтор Чертыханов, кинув за ухо ладонь.

Младший лейтенант Клоков, сдав командование ротой, уходил в свой третий взвод.

— Знаете, словно гора с плеч свалилась, когда вы прибыли,— признался он с облегчением.— Во взводе мне легче... Вот вам мой пистолет. На память. У меня еще есть...

Я чувствовал, что надо было что-то ответить.

— Не страшитесь танков, младший лейтенант, пропускайте их мимо себя, отрезайте пехоту,— повторил я простую, накрепко усвоенную мной мудрость.— И зарывайтесь поглубже в землю.

— Верно,— одобрил Щукин; он опять сидел в углу и курил, поглядывая на меня сквозь дымок.

— За пистолет спасибо. Буду хранить.

Спустя некоторое время ефрейтор Чертыханов, пригибаясь в низкорослом кустарнике, провел меня по всей оборонительной линии, занимавшей километра полтора. Реденькая это была оборона, худосочная, и враг своими железными танковыми таранами прорвет ее, как паутину. Теплилась в глубине души надежда: вдруг немцы совсем не пойдут в наступление сегодня, тогда будет возможность зарыться в землю, запастись боеприпасами...

Поведение бойцов удивляло меня. Они так же, как и я, знали, что враг сильнее нас, но это, по всей видимости, несколько не смущало их: что ж делать, если враг застиг врасплох, не отчаиваться же! Они знали, что спасение в глубине окопов и, пользуясь передышкой, упорно

долбили жесткий суглинок, подобно кротам, залезали в норы. Обожженные солнцем лица их не закаменели, как мне представлялось, в «священной» ненависти; эти лица вдруг озарялись улыбками, такими мирными, такими по-юношески светлыми, что невольно верилось в нашу непобедимость, в счастливую звезду, в то, что останешься живым...

Командира первого взвода лейтенанта Смышляева мы нашли в кустиках, метрах в тридцати от траншейки. Он сидел на краю недавно вырытой ямки и в скучающем раздумье перегрызал зубами сухой стебелек. Нас он встретил с безразличием обреченного на гибель человека, взглянул и не заметил. Я удивился его неприметности: есть лица «без особых примет», они проходят перед взглядом, не зацепившись в памяти ни одной чертой, правильные, обычные и скучные и от этого плоские и гладкие, как доска. Только одна была у Смышляева примета: словно ткнул его кто-то в подбородок хорошо отточенным карандашом и оставил вороночку с синеватым донышком. Эта вороночка и бросилась в глаза.

— Как дела? — спросил я Смышляева.

Он перегрыз травинку.

— Дела, как сажа бела. На волоске висим. Пойдите взгляните.— Он недовольно, кисло поморщился.— Хотя лишнее хождение — лишнее внимание противника... Идемте.

Прокофий Чертыханов шел впереди меня, задевая рукой за свой оттопыренный карман. Прыгнул в стрелковую ячейку к долговязому и носатому бойцу Чернову.

— А, сам Чертыханов пожаловал! — смеясь,

приветствовал Чернов ефрейтора.— Живой! Нос-то от вражьего огня, что ль, лопнул?.. От накала?

— Ты поменьше разговаривай! — прикрикнул на него Чертыханов.— Вот новый командир роты пришел проверить твою боевую готовность, а ты зубы скалишь...

Чернов, взглянув на меня, вытянулся, стоя на коленях, руки по швам.

— Красноармеец Чернов, мастер на все руки — и стрелок, и пулеметчик, и бронебойщик!

— Больно мелкую ячейку вырыл, не умеаешься,— сказал я, смеясь.

Чернов тут же отчеканил:

— Для моего роста нужно экскаватором ячейку рыть. Просил — не дают, говорят, экскаваторы уставом не предусмотрены. Можете быть покойны, товарищ лейтенант, я и на коленях устою...

Чертыханов подвел меня к пулеметной точке.

— Это Ворожейкин и Суздальцев. Пулеметчики хоть куда! — Прокофий прибавил вполголоса: — Суздальцев-то стишки пишет. Читал мне. Слеза прошибает. Про любовь...

От пулемета отступил белокурый, голубоглазый, с мягким, приятным очертанием рта юноша, похожий на Есенина. Смущенно кивнул Прокофию. На лице Ворожейкина как будто навсегда осело мальчишески-плаксивое выражение; он трижды шмыгнул носом, косясь на лесок...

Я повернулся к Смышляеву.

— Зачем же вы тут установили пулемет? Себя охранять? Кто же пойдет сюда, на гору?

Перенесите его правее, вон туда, где лошина сливается с полем. Если танки и пехота пойдут, то вероятнее всего там, по ровной местности, а не здесь, из-под горы...

— Здесь меня охраняют пулеметчики, там вас,— нехотя отозвался Смышляев.

— Выполняйте,— сказал я кратко и настойчиво.

— Хорошо.— Смышляев кивнул Ворожейкину и Суздальцеву.— Слышали? Выполняйте!

Неподалеку от пулеметчиков стонал, хлопая себя по щеке, сержант, широколицый, с кустистыми мрачными бровями. Чертыханов шепнул мне:

— Быть скоро бою, товарищ лейтенант: у командира отделения Сычугова болят зубы. Это первый признак.

Сержант Сычугов тяжело, страдальчески посмотрел на меня и, глухо промывав, покачал головой, потом шлепнул ладонью по больной челюсти.

— А это вот Юбкин,— представил Чертыханов маленького бойца в очень длинной, почти до колен гимнастерке, с закатанными до локтей рукавами.— Здорово! — Чертыханов присел возле него на корточках.— Бритвы в порядке, наточены? Юбкин, товарищ лейтенант, отлично бреет, даже не слышно... А вот фашистов бреет плохо.

— Почему же?..— как бы оправдываясь передо мной, возразил Юбкин несмело.— Я стреляю. Только не попадаю. За все бои я, наверно, и не убил ни одного.— В его широко раскрытых мальчишеских глазах стояли обида и недоумение.

— Попал небось,— успокоил его Чертыханов.— Только не замечаешь...

— У меня почему-то слезы навертываются на глаза, когда я стреляю,— согласился маленький Юбкин,— поэтому и не замечаю...

Лейтенант Смышляев, стоя сзади меня, бросил невнятно, сквозь зубы:

— Дельного бойца пули запросто отыскивают, а вот такая дрянь держится...

Я резко повернулся к нему. Смышляев выдержал мой сердитый, «уничтожающий» взгляд, хрустнул зубами, перегрызая травинку...

Возвращаясь на свой КП, я был твердо уверен, что немцы после вчерашних безуспешных атак и потерь в наступление не пойдут до прибытия свежих сил: выдохлись. Скорее всего они, получив подкрепление, двинутся завтра утром. Мы как следует укрепимся за это время и сумеем их встретить достойно. И оттого, что я, как мне думалось, разгадал намерения неприятеля, а вера в кучку бойцов, которыми отныне я должен командовать, возросла, настроение мое повысилось, я даже весело зашвистел...

Но мы не успели покрыть и половину пути, как меня безжалостно, наотмашь швырнул на землю в колючий кустарник внезапный взрыв, сопровождавшийся оглушительным треском. В первый момент было такое ощущение, будто со спины у меня сдирают кожу — таким неистово скрежещущим был этот треск, так нестерпимо он ударил по нервам. Мне казалось, что каждая мина рвется над моей головой, и я парализованно лежал, все сильнее вдавливая лоб под сухую кочку. Чертыханов, лежа сзади,

потолкал меня в каблук сапога, предлагая двигаться дальше. Я с усилием оторвал грудь от земли, заставил себя подняться и побежать. Падал и опять вставал, бежал. Треск, нарастая и ширясь, поднялся до отчаянно высокой ноты. Белые облачные паруса разлетались клочьями. В легких забились кислая удушливая гарь. Казалось, мне не было места на земле, всюду, куда ни кинешься, вставали, закрывая небо, черные расщепленные столбы. С давящим ревом прошли немецкие штурмовые самолеты. Я увидел, как оторвалась бомба, подобная черной капле. Вот она, стремительно приближаясь и увеличиваясь, летит, кажется, на меня. Прямо в переносицу. Ужас останавливает сердце.

— Мама!! — дико закричал я и откатился в свежую воронку. Бомба разорвалась в отдалении.

Прорвавшись — где бегом, где ползком — сквозь огонь к своему КП, я скатился в яму, прохладную и глухую, под ноги политруку Щукину и телефонисту, сел на сырой пол, чувствуя подступавшую к горлу тошноту.

— Если прямого попадания не будет, считайте, живем пока! — крикнул мне в ухо Чертыханов; он был внешне спокоен, только подергивал одной щекой, досадливо и презрительно морщась, когда мина лопалась рядом; широкое красное лицо его поблекло, будто полиняло. Он мне показался в эту минуту самым близким на свете...

Политрук, поставив локти на край траншеи, неподвижно глядел в бинокль на вражескую сторону. Потом, как бы вспомнив обо мне, оторвался, спросил, склонившись:

— Не захлестнуло? — Растрескавшихся губ едва коснулась улыбка — дорого стоит такая улыбка во время адского огня! — Вот как... Видишь... — Он не хотел замечать моего страха, будто его у меня и не было, опять стал смотреть в бинокль, предоставляя мне возможность оправиться от потрясения.

Треск и грохот, наконец, утихли, огонь перекинулся в наш тыл, оттуда, широко расстилаясь, наплывали прибойные, угрюмые раскаты. Глухой, грозной тучей нависла тишина. Телефонист кричал в трубку умоляюще, чуть не плача. Ответа не было. Связист, растерянно и вопросительно оглянувшись на меня, беспомощно развел руками, как бы говоря: «Это неизбежно при таком огне». В сердцах швырнул трубку и, поправив пилотку, прихватив винтовку, поспешно и решительно ушел искать разрыв проводов. Я понял, что подсказки от капитана Суворова не будет, — рассчитывай на свои силы.

— Идут, — известил Прокофий Чертыханов. — Не высовывайтесь, они патронов не жалеют, сыпят, как горохом... Торопятся.

Из лесу, точно издалека разбежавшись, выскочили танки — шесть машин — и, не сбавляя скорости, подобно лодкам на волнах ныряя вверх и вниз, устремились к нам. На широком лугу они казались безобидными, игрушечными. Солдаты сидели на танках и бежали следом, стреляя на ходу. Мне показалось, что им легко и весело было бежать за машинами. «Значит, они нас несколько не боятся», — подумал я; злорадное, мстительное чувство до боли свело челюсти. Положить их на землю, заставить

ползать... Вдруг, как бы угадав мое страстное желание, по всей луговине забили черные и густые фонтаны; стреляли наши артиллеристы. Солдаты попрыгали с танков, рассыпались по ложине, начали отставать. Они еще не достигли середины луга, а из лесу выкатилась еще одна волна — танки и солдаты. Снаряды густо устилали ложину, но ни одна машина не остановилась, не загорелась. Сначала я мысленно сдерживал бойцов: «Не стреляйте, подпустите поближе». Но когда танки, ведя огонь, тупыми носами почти уткнулись в траншеи и лица солдат можно было различить простым глазом, а бойцы все не стреляли, я испугался: не накрыло ли всю роту огнем. Но, вспомнив, что час назад сам приказал пулеметчикам не стрелять, пока не пройдут танки, чтобы не выказывать себя и не быть придавленными их гусеницами, я немного успокоился, со страхом и надеждой ожидая решающего момента.

Я посмотрел влево: один танк уже неуклюже вполз на гребень, развернулся и пошел вдоль линии обороны, сминая окопчики, глуша стрелковые ячейки, и я содрогался от бессильной ярости и сожаления: ведь в окопчиках-то люди! Но вот зад машины как будто подбросило, изпод него выметнулся клуб огня, дыма и пыли.

— Подбит! — закричал я возбужденно.—
Глядите, подбит!

Щукин не ответил. Дернув меня за рукав, он глазами показал направо: прямо на наш окоп шел танк, стреляя на ходу из пулемета. В его движении было столько грозной и беспощадной силы, что я почувствовал себя обреченным: мой автомат и пистолет для него все равно, что

комариные укусы слону. Это конец. Танк нависал надо мной черной непроницаемой глыбой, заслоняя собой все, что вмещает в себя коротенькое и такое бесконечно великое слово — жизнь. На какую-то долю секунды мелькнул яркий луч, в его свете я увидел лицо Нины, ее продолговатые, налитые ужасом глаза, и что-то неведомое мне самому, но могучее толкнуло меня из ямы — бежать, спастись от гибели!

Чертыханов, схватив меня за ногу, свалил вниз и придавил телом. И в это время танк с лязганьем и грохотом, осыпая землю, тяжело накрыл окоп. Стало темно, как в могиле. Что-то заскрежетало и сухо лопнуло, оглушая, — должно быть, он выстрелил из пушки. Я невольно зажал уши. Сквозь пальцы потекло что-то теплое и клейкое, но боли я не ощутил. «Ранен...» — пронеслось у меня...

— Я ранен! — крикнул я Чертыханову. Танк еще не совсем сдвинулся с ямы, а Чертыханов уже вскочил, подпрыгнул и швырнул вслед ему бутылку с горючей жидкостью. И произошло непонятное: струйки огня, бледные, почти неразличимые при жарком солнце, потекли по броне, отыскивая и проникая в невидимые щели, дым густел, чернел, затанцевали текущие пряди огня. Танкисты вывалились через нижний люк, торопливо отползли от машины и, встав на колени, подняли руки — увидели перед собой Чертыханова и Щукина. Встрепанные белокурые волосы шевелились от ветра, в глазах трепетала последними отблесками жизни мольба, растерянность, злоба.

— Ох, не до вас нам сейчас! — сказал Чер-

Тыханов деловито, почти равнодушно — так говорят во время сложной и напряженной работы — и выстрелил из автомата. И три гитлеровца, молодые, сильные, запрокинулись, всплеснув руками, легли, обняв чужую неласковую землю, завещав женам и невестам горе и вечное ожидание.

Рота вела неравный, но упорный бой с немецкой пехотой, отсеченной от брони. По всей лощине, точно горох по большой жаровне, рассыпались автоматные и винтовочные выстрелы, размеренно и надежно били станковые пулеметы, — значит, точки их уцелели. С этого момента то длинные, на высокой, тревожной ноте, то короткие, отрывистые, низкие очереди легендарного «максима» воспринимались мною как радостные, победные песни боя... Что-то сдвинулось во мне, точно я, разбежавшись, с усилием перепрыгнул бездонную пропасть. Я как бы опомнился и обрел себя в этом хаосе жизни и смерти. Что может быть страшнее вражеского танка над головой! А под ним я уже побывал...

— Где же ваша рана, товарищ лейтенант? — Чертыханов осмотрел мой затылок. Усмехнулся. — Это — масло. Смазка накапала, картер у мотора худой... Все в порядке...

На луговине на зеленой траве и в черных воронках лежали убитые — эти вояки уже не дойдут до Москвы. Вторая волна, редкая в лощине и густая справа, во ржи, с неотвратимой настойчивостью лезла к нашим окопам. Танки, уходя от огня, свернули и тоже двигались рожью. Это была мельчайшая частица враже-

ской железной лавины, протянувшейся от моря и до моря, которая всей своей мощью обрушилась на нашу землю. И наша рота — тоже мельчайшая частица армии, протянувшейся от моря и до моря, — встала навстречу врагу. И от стойкости сотен тысяч таких же рот, как наша, зависели стойкость и успех всей армии.

Я кричал в телефонную трубку, надеясь связаться с Суворовым. Но голос мой безжизненно глух в самой трубке. А танки шли почти беспрепятственно: их нечем было остановить. Вдруг в трубке послышалось слабое шипение: телефонист, видимо, найдя обрыв, соединил провода. Я с лихорадочной быстротой закрутил ручку аппарата. Мне отозвался спокойный, сдержанный Стоюнин. Он ответил, что Суворов, отлучаясь, приказал держаться во что бы то ни стало, что он, Стоюнин, передаст мою просьбу артиллеристам — перенести огонь правее, на ржаное поле. Я сказал, что иду в третий взвод к Клокову: там немцы не встречают сопротивления, очевидно, большинство бойцов выбыло из строя.

Я приказал пулеметчику передвинуться с ручным пулеметом на правый фланг. Прихватив четырех бойцов и связных, перебрался туда и сам; мы бежали среди кустов, то припадая, то подымаясь. Я уже забыл о себе, меня волновала и толкала вперед одна мысль: добежать вовремя, успеть, не дать немцам захлестнуть окопы. Немцы скапливались во ржи для броска. Казалось, каждый колос лопался и стрелял в нас. На какой-то миг перед глазами возникла картина ночного пожара хлебов. Я спросил Чертыханова, есть ли у него бутылки

с горючей жидкостью. Он поспешно вынул свою и собрал у бойцов еще четыре.

— Подождите рожь,— приказал я.

Чертыханов понимающе кивнул и тотчас исчез среди кустов.

Рожь загорелась в трех местах. Дым сваливался на вражескую сторону. Пламя все шире заливало сухую, спелую рожь. Группа немецких солдат, перескакивая через красные, перекипающие лужи огня, нещадно стреляя, рванулась на наши окопы. Бойцы дрогнули, замешкались, оглядываясь. Я уловил, если человек во время боя оглядывается назад,— значит, его покинула решимость... Они стреляли бесприцельно, неуверенно. Еще минута — и бойцы один за другим начали выскакивать из окопчиков. Пригибаясь, они отбегали или отползали.

Немцы в расстегнутых кителях, многие без головных уборов, дико крича и стреляя, с разбегу прыгали в траншеи, некоторые перемахивали через них. Захватив окопы, задержались. Ненадолго, но задержались.

И тут я увидел невообразимое, что может явиться только в сновидении: откуда-то справа вывернулся и мчался вдоль окопов перед глазами бойцов капитан Суворов на белом, точно высеченном из мрамора коне, с шашкой в поднятой руке. Лошадь, казалось, плыла, сказочная, не касаясь земли. Суворов, судорожно раскрыв рот, кричал что-то в яростном исступлении. Я разобрал два слова: «Орлы! Суворовцы!» Он пролетел, подобно птице, и даже немцы на какой-то момент были парализованы этим видением, внезапным и неповторимым. Я заметил, как кобылица, промчавшись мимо

нас, наскочила на взрыв мины. Взвилась на дыбы, сбросив с себя бесстрашного всадника, метнулась на окопы, скрылась, ослепительно мелькнув в кустарнике. Капитан Суворов не встал.

Но он уже вдохнул в бойцов, в «суворовцев», свою отвагу. И меня хлестнула крупная, горячая, безрассудная дрожь. Спину ожгли колкие мурашки и казалось, вздыбили волосы на затылке. Дикая, звериная ярость толкнула меня вперед. Я выбежал перед бойцами и закричал что-то диким, звериным голосом. Мы рванулись с быстротой, которая является, быть может, лишь в смертельные моменты. Меня обогнал Чертыханов. Я видел, как горсточка бойцов закидывала окопы гранатами.

Передо мной вдруг возникла широкая спина немецкого солдата. Я увидел впадину на шее под коротко остриженным затылком и выстрелил в нее. Солдат, споткнувшись, сунулся лицом в землю, и я, пробежав мимо него, прыгнул в траншею.

Артиллеристы перенесли огонь на ржаное поле, танки повернули назад. Атака была отбита.

Некоторое время я сидел в окопе, не шевелясь, сраженный смертельной усталостью, ощущая неживую пустоту во всем теле. Только в груди пронзительно, настойчиво, подмывающе-радостно пела струна: «Жив, уцелел!!» Было легко еще и оттого, что я убил в себе то, что прочно, корнями вросло в меня и в моменты крайней опасности предательски хватало за сердце, вызывая тошноту. Человек, одержавший победу над врагом и над собой, радуется

вдвойне. Отхлынувшие было силы, подобно прибою, вернулись. Настойчиво, повелительно стучала в виски суровая мысль: «Не бойся смелых решений. Будь увереннее в своих поступках, командир оценивается по решительным действиям...»

Ко мне подобрался Шукин, присел. На его побелевшем переносье четко проступили желтоватые крапины веснушек. Достал папиросу, размял ее дрожащими пальцами. Взглянув на меня из-под каски, пошевелил в принужденной улыбке растрескавшиеся губы, сказал невозмутимым учительским голосом.

— Для начала подходяще...— похвалил он то ли одного меня, то ли всю роту. А я отметил не без зависти: какую нужно волю, чтобы сохранить такое хладнокровие!.. Шукин, прищурив глаза, глубоко затянулся дымом.— Надо захоронить капитана Суворова,— сказал он и ткнулся лицом в свои колени, плечи его вздрогнули...

Бой утихал, снаряды рвались реже. Ветерок доносил слабые стоны раненых. Ворожейкин смотрел на ефрейтора жалобно и просительно, изредка всхлипывая, и Прокофий, проворно обкручивая марлей ногу, ворчал:

— Ты на меня так, по-младенчески, не гляди, я тебе не мать родная и не сестра милосердия, жалеть не стану и ласковых слов говорить не умею. Одно скажу: стрелял, как по нотам...

Рядом с Ворожейкиным уткнулся в низенький бруствер красноармеец, точно отдавал последний поклон родимой земле. От виска по щеке проползла и уже запеклась коричневая, почти черная кровавая струйка.

Из штаба от лейтенанта Стоюнина прибежал в роту связной Никифоров, нашел меня и передал приказ отступать. По возможности незаметно сняться с занимаемого рубежа и двигаться на восток, в направлении деревни Рогожка, оставив небольшое прикрытие. Приказ меня ошеломил. Мы отразили вражеские атаки. Мы выстояли!.. Зачем же нужно было вступать в бой, терять людей, лить кровь?.. Не было ли это предательством со стороны командования? Или обстановка, сложившаяся на других участках, вынуждала к отходу? Скорее всего именно так и было. Ведь нам виден фронт на полкилометра вправо и на столько же влево. Что делалось дальше, неизвестно...

К вечеру, уложив в братскую могилу комбата Суворова, мы отошли, оставив политую вражеской и своей кровью пылающую землю. Горела, курилась рожь. Сизые крутые волны дыма, перемешанного с пеплом, перекатывались над полем, взмывали над ложиной, застилая приметы только что затихшего сражения.

4

Измученная боями рота уходила к хутору. С окопчиками и стрелковыми ячейками бойцы расставались с угрюмой принужденностью: не вперед рвались, а забирались в глубь своей земли, словно страшными вехами отмечая дорогу могилами погибших товарищей. Красноармейцы изнуренно шагали среди кустарников, пригибались скорее по привычке, чем по необходимости, с нескрываемой усталой злобой и

опаской оглядывались на лесок, куда уполз, зализывая раны, враг,— немцы, кажется, зареклись наступать на нашем участке.

Два санитаря, выбиваясь из сил, несли на носилках тяжелораненого Клокова; младший лейтенант лежал, расслабленно вытянувшись, рука, свесившись, задевала за листья кустарника, веки прикрытых глаз мелко вздрагивали, на лысоватый, восковой желтизны лоб его высыпал крупный пот. Политрук Шукин, обгоняя носилки, поднял руку Клокова и осторожно положил ему на грудь. За носилками, опираясь на самодельный костыль, ковылял пулеметчик Ворожейкин. Выгоревшие взъерошенные брови его страдальчески и плаксиво столкнулись над переносом, остренький юношеский подбородок мелко дрожал.

Пулеметчик, оставшийся для прикрытия роты, как бы упорно твердил врагу короткими и бодрыми очередями, что оборонительный рубеж крепко держится и будет держаться. Только сунься!

Отойдя немного, я остановился и поглядел на место своего боевого крещения. Солнце, как бы участвуя вместе с нами в сражении, истратило, как и мы, свой накал и обессиленно клонилось к заходу. Оно окунулось в дым и, тусклое, без лучей и блеска, повисло, словно зеркало, задернутое черной траурной кисеей. На наш путь легла зыбкая и зловещая тень. К горлу подкатил сухой, полынно-горький клубок, мешая дышать, я сглатывал и не мог сглотнуть его, и от этого из груди вырвался глухой, со всхлипом крик, глаза как будто вспухли от едких и обидных слез.

— Побереги нервы, лейтенант,— сказал Щукин и подергал меня за рукав.— Пригодятся на черный день.— Он шагал споро и неутомимо; спокойствие его казалось напускным и потому сердило.

— А этот день светлый, по-твоему? — Я отвернулся, чтобы он не видел моих слез.— Куда уж черней! Черней может быть только могила.

— Не до могилы сейчас, Митя,— проговорил Щукин озабоченно и задушевно — так говорят в минуту общей большой беды.— Нам до зарезу необходимо жить. Гитлеровцев выкуривать надо. Пускай это они о могилах мечтают...

Меня поразила убежденность и деловитость Щукина. Должно быть, только в нас, советских людях, так глубоко укоренилась вера в победу любого дела, какое бы мы ни начинали: вот мы отступаем перед натиском осатаневшего врага, измотанные, обескровленные, а сердце не сдаётся, сердце наперекор всему верит в победу.

Щукин опять легонько дернул меня за рукав.

— Я знаю, отчего ты плачешь. Ты мне становишься от этого дороже и ближе, Митя. Но на тебя смотрят ребята...

Я круто повернулся и запальчиво крикнул ему в лицо:

— Зачем же мы положили этих ребят там?! — Резким взмахом руки я показал на темную тучу дыма, стоявшую над ложиной.— Зачем с таким остервенением цеплялись за этот овражек, калечили людей, добивались успеха — и добились,— если вслед за тем удираем? Куда удираем-то?!

— Не удираем, а, видишь, не спеша отхо-

дим согласно приказанию,— поправил меня Шукин.— А если бы мы не цеплялись за каждый овражек, то немцы, возможно, уже занимали бы сейчас Москву.

— Они и так ее займут! — Эта мысль мне самому показалась чудовищной, я поглядел на политрука со страхом и надеждой: хотелось, чтобы он меня немедленно опроверг, отчитал. Уголки потрескавшихся губ Шукина опустились в улыбку; он ответил спокойно, все с той же убежденностью и верой:

— Немцам никогда не быть в Москве.— Приподнял тяжелую каску, вытер потный лоб рукавом гимнастерки — на меня блеснула ясная синева глаз,— опять опустил ее на голову, и глаза снова заслонила, подобно вуали, тень от каски. Потом он вынул из кармана запыленный кусочек сахара и протянул мне, улыбаясь краем губ.— На, подсластись...— Во рту у меня было горячо и сухо, сахар показался горьким.— В бою ты держался молодцом,— похвалил Шукин.— Выдерживай марку до конца. Комбат Суворов убит, со штабом полка связи нет. Понимаешь положение? Что будем делать, давай сообразим...

Я с удивлением повернулся к Шукину: уж не растерялся ли политрук?

— Не погибать же оттого, что нет с полком связи,— бросил я со злостью.— Не мы ее потеряли. Я видел, с какой поспешностью бежал штаб. Батальон бросили на произвол судьбы — отступайте! Бегите кто куда! Но у нас целая рота, справа и слева — наши роты. Мы знаем, где восток и где запад. И хорошо знаем, где враг. Пока живы, будем воевать!

Шукин укоризненно покачал головой в тяжелой каске:

— Нам с ротной командой не разглядеть всего фронта. Как идут там дела, нам неизвестно, наверно, не блестяще... А решение ты принял правильное: будем воевать, сколько бы нас ни осталось...

В хуторе возле сарайчика стояла белая комбатава лошадь, запряженная в простую крестьянскую телегу. Потеряв в бою седока, она прибежала на старое место, и теперь чутко прислушивалась к шагам и голосам людей,— очевидно, надеялась, что появится ее хозяин. Из-под накатов суворовского блиндажа вынырнул ефрейтор Чертыханов, как всегда, расторопный и неунывающий, доложил, кидая ладонь за ухо:

— Обед и отдых будут возле деревни Рогожка. Старшина велел передать вам, чтобы мы тянули до этой деревни. Для раненых он оставил подводу.— Взглянув на Шукина, которого, видимо, побаивался, он доверительно, понизив голос, сообщил мне: — Для нас я тоже кое-что заготовил.— И повел глазами на телегу. В передке ее стояла прикрытая сверху плащ-палаткой плетенка, в нее были втиснуты три курицы. Я понял, что парень этот не промах: он успел прихватить их у хуторских жителей и, вероятно, не без скандала. Я подошел к телеге и вытряхнул из плетенки кур, они с криком метнулись, хлопая крыльями, теряя перья. Чертыханов не обиделся, нижнюю губу его скривила кислая улыбка — так улыбаются над поступками незлыми, но неразумными.

— Незаконно отпустили птицу, товарищ лей-

тенант,— сказал он со снисходительным осуждением.— Не подумавши. Против себя идете, заклятым врагам помогаете.— На мой вопросительный и строгий взгляд пояснил: — Фашист поймает этих самых курочек, ошиплет, сварит, нажрется и попрет на нас с удвоенной силой. А у нас на обед и ужин пшенная каша без масла. Разве каша устоит против курятины?

— Поменьше разговаривай! — оборвал я его.

— Есть поменьше разговаривать! — И опять громадная рука его тронула ухо. Неловкий и нелепый жест этот казался чрезвычайно глупым, неуместным и раздражал. Я отвернулся. Подошел Шукин, снял каску и положил ее на телегу.

— Налицо тридцать один человек, из них четверо раненых. Рота...— Шукин тяжело и прерывисто вздохнул.

К сараю подтянулись бойцы, измученные, угрюмые, молчаливые; усталость словно подкосила им ноги, они сразу все сели, разложив вокруг себя винтовки, оставшиеся гранаты, каски; ведро с водой переходило из рук в руки, пили через край, жадными глотками, обливаясь.

— Дадим передохнуть здесь, или...— Шукин, очевидно, по себе чувствовал, как утомились бойцы.— Лучше все-таки уйти отсюда...

— Задерживаться нет смысла,— согласился я.— Надо дотемна добраться к месту ночлега. И кухня там, и безопасней.

Я позвал лейтенанта Смышляева, приказал ему построить роту и двигаться в направлении деревни Рогожка. Раненых положили и посадили на подводу. Бойцы неохотно, с усилием

воли, но терпеливо и безропотно вставали, вешали на себя оружие, так тяжело оттягивавшее натруженные плечи, пулеметчики впрягались в упряжку, чтобы тащить пулемет... Рота, вернее горсточка людей, оставшаяся от роты, сбившись в тесную группу, двинулась в свой долгий и горький путь на восток. Вскоре эта жалкая горсточка исчезла в лесу. О существовании ее едва ли знало теперь командование, но она, эта горсточка вооруженных людей, жила и готова была в любую минуту вступить с противником в бой: она потеряла связь со штабом, но сохранила связь с родной землей.

Неподалеку от деревни мы нашли наши «тылы» — единственную и желанную походную кухню. Старшина Оня Свидлер выслал навстречу нам красноармейца Хохолкова, повара и ездового, чтобы мы не плутали попусту. Но и без него мы безошибочно шли к цели: дурманящий сознание, пронизывающий насквозь запах дыма и вкусной пищи заставлял нас почти бежать. Оня Свидлер, длинный, страшно худой парень с крупным горбатым носом, продолговатыми, всегда мерцавшими сухим блестящим глазами и ровными зубами, ослепительно белыми на темном, прокаленном зноем лице, еще издали неунывающе-весело закричал бойцам:

— Торопитесь, товарищи! Объявляю программу торжественного ужина. Мы давно не ужинали в такой тишине. Сначала смываются с прекрасных боевых лиц пыль и пот — холодной воды полный котел, — затем мой ассистент, — жест в сторону Хохолкова, — произведет каждому вливание огненной влаги, затем ужин — такой каши не пробовал и царь Додон!

Ну, а потом танцы до утра с храпом и сновидениями! — Она засмеялся, сверкая зубами, ожили и заулыбались и лица бойцов: какую-то долю тяжести сняли с плеч шуточные прибаутки старшины. Люди загремели котелками, протискивались к большому котлу, чтобы зачерпнуть студеной воды. Многие стаскивали с себя гимнастерки и, фыркая, мылись до пояса.

Старшина приблизился ко мне.

— Товарищ лейтенант, я достал жбан спирту: артиллеристы проезжали и поделились... Разрешите угостить бойцов после ратного труда.

Я взглянул на Щукина — что он думает? Тот кивнул головой в знак согласия.

— Можно, — сказал я. — По сто грамм. Разведенного. А то уснут — пушками не разбудить...

Свет заходящего солнца, как бы раздвинув дымный занавес над полем сражения, багряными потоками устремился в лес, красные струи текли между деревьями, жарко омывали бойцов, сидевших вокруг кухни на пенечках или просто на траве. Они уже приняли обещанное «вливание» и теперь с аппетитом ели кашу с мясом.

Я чувствовал, что в желудке у меня до тошнотной рези пусто, но есть не хотелось.

— Потом, — отказался я, когда Оня Свидлер подал мне тарелку с кашей. Я с беспокойством всматривался в карту, стараясь определить дальнейший путь: он обрывался на двадцатом километре, карта кончалась. Я решил вести роту в направлении Смоленска: если не соединюсь со своим полком, то вольюсь в какую-

нибудь часть — все равно в каком составе воевать.

Чертыханов по-хозяйски распряг лошадь, пустил пастись, спутав ей передние ноги, дал выпить спирта младшему лейтенанту Клокову, покормил его кашей, затем подошел ко мне.

— Поешьте немного, товарищ лейтенант, а не то ноги протянете без помощи немцев. Товарищ политрук, скажите ему...

— Что ты ему кашу суешь, ты ему стопочку предложи,— посоветовал Щукин.

— Я ему две предлагал. Отказался.

— Вот это зря,— осудил Щукин и обнял меня.— Выпьем-ка, Митя, за дружбу, за верность. Нам с тобой сейчас тесней надо держаться...

Мы выпили, поглядели друг другу в глаза, как бы говоря: судьба свела, разведет только смерть.

Чертыханов попросил меня подойти к телеге, где лежал младший лейтенант Клоков. Увидев меня, Клоков тихо, но отчетливо сказал:

— Оставьте меня здесь, в деревне. Я вам руки связываю... Оставьте.

— Ты что, бредишь? — Просьба его меня поразила.— Никогда мы тебя не оставим.

Клоков болезненно поморщился и, прикрыв глаза, прошептал:

— Мне лежать хочется... В дороге меня трясет. Оставьте тут, в деревне...

Я не знал, что с ним делать. Везти его в таком состоянии дальше, не зная, что ждет впереди, было рискованно: без врачебной помощи он умрет, санитары едва умели накладывать повязки. Оставлять — неизвестно еще, согла-

сятся ли взять колхозники,— было жалко и опасно: гитлеровцы, найдя его, не пощадят.

Солнечные багровые потоки расплылись, завязли в туманных сумерках. Сон, крепкий, все- сильный, словно ударил каждого наотмашь; бойцы лежали на плащ-палатках, на шинелях, одни раскинувшись, другие сжавшись калачиком, обняв винтовку, изредка невнятно и бредово вскрикивали. Деревья, закутанные в черные тени, стояли затаенно и чуждо. Одинокие и глухие звуки разрывов неслись над лесом, вершины сосен как бы перекидывали их все дальше и дальше. В деревне, как и в прошлую ночь, пропаще выла собака. Внезапно вырвалась какая-то ночная птица, почуяв людей, пронзительно вскрикнула и метнулась в сторону, всплеснув в ветвях крыльями. У моих ног, завернувшись в плащ-палатку, спал политрук Шукин, рядом с ним, спина к спине, трубно всхрапывал Чертыханов. Становилось свежо и сыровато. Плечи мои зябко передернулись. Сколько предстоит еще таких ночей? Сколько боев? Перенесу ли их все? Нет, лучше об этом не думать. У меня тридцать один человек, моя жизнь связана с их жизнью неразрывно, навсегда... Лошади, не отдаляясь от людей, щипали траву, фыркали, позванивая удилами. Этот нежнейший звон и сочное похрустывание плавно уводило далеко из этого леса, в детство, к ласковому огню костра в ночном на берегу Волги... Сон одолевал. Как бы разрывая слабую паутину дремоты, опутывавшую меня, донесся стон Клокова. Я встал и приблизился к повозке, где лежал младший лейтенант. Он бредил, скрипел зубами, лоб его был горячим

и потным. Я понял, что Клоков борется со смертью. Отчаяние от бессилия помочь человеку, когда он сильно в этом нуждается, охватило меня. Что делать?

Из темноты выступил и приблизился ко мне Оня Свидлер, на плечах шинель внакидку, ворот гимнастерки расстегнут, черные глаза сухо, воспаленно светятся.

— Как он? — спросил Оня, кивая на раненого. — Ох, не выживет!.. Вы бы поспали, товарищ лейтенант. День обещает быть нелегким. Ложитесь. Я подежурю.

— У вас на завтрак есть что-нибудь? — спросил я.

Старшина приподнял руку, почти по локоть высывавшуюся из рукава с оторванной пуговицей на обшлаге, успокоил:

— Осталась каша с мясом, только подогреть. Запасся картошкой, мукой и сахаром на неделю. За мясом дело не станет, прихватим отбившуюся от стада овечку. Голодными не оставлю, можете мне верить, как себе. В НЗ литров восемь священной влаги. Когда будет очень худо, мигните... Товарищ лейтенант, ложитесь. — Оня сбросил с плеч шинель и подал мне.

— Разбудите политука, — сказал я. — Его время стоять на посту.

Утром я проснулся от шума голосов. Бойцы, может быть впервые так хорошо отдохнувшие, уже гремели котелками, умываясь, плескали друг на друга водой, дурачились, как будто вчера и позавчера не провели они страшных боев и сегодня не предстоял им тяжелый переход, — жизнь брала свое.

Я поднялся и стал растирать одеревеневшую от неловкого лежания руку. В лесу было прохладно и звонко, обильная роса лежала на траве, отягощая листья сизыми жемчужными каплями. Солнце, по-видимому, только что взошло, жидкие, еще не греющие лучи робко сеялись сквозь листву. Упершись крепким хвостом в кору сосны, долбил под сучком лесной работяга-дятел; древесная пыльца, вспыхивая, струилась вниз, присыпая траву.

Возле повозки, на которой лежал младший лейтенант Клоков, стояли две женщины, одна помоложе, другая намного старше, их привел по просьбе Клокова Прокофий Чертыханов. Женщины горестно, с материнским состраданием смотрели на раненого.

— Оставьте меня,— прошептал Клоков, когда я подошел к нему, и из-под его прикрытого, припухшего века выкатилась слеза, скользнула к виску, оставив светлую дорожку.— Я, может быть, выживу тут...

— Вы только растрясете его,— подтвердила пожилая женщина.— Ну-ка, дорога такая... А мы выходим, бог даст, и фельдшера найдем. Убережем от беды... Немец-то вот утихомирился, может, и не придет к нам: что ему делать в нашей глухомани...

Я взглянул на темные, загорелые и жесткие от работы руки женщины с утолщениями на суставах пальцев и подумал, что, может быть, эти чудодейственные материнские руки выходят Клокова. Переглянувшись с политруком — тот едва заметно кивнул,— я разрешил. Бойцы помогли снять Клокова с телеги и положить на носилки; молодая женщина сняла с плеч клет-

чатый платок и осторожно подложила его под голову раненого.

— Мы сами донесем, — сказала пожилая женщина, когда я приказал двум бойцам помочь. — Носилочки только заберите... — Она внимательно смотрела на меня, будто припоминала что-то.

Сильное волнение сдавило мне горло.

— Спасибо, мать! — сказал я приглушенно.

Женщина отозвалась поспешно:

— Не за что! У меня сын так же вот скитается. Как взяли в первый день войны, так и сгинул: ни слуху ни духу.— Она не прослезилась, видно, выплакалась одна, втихомолку, и горечь осела в самой глубине, на дне души, навсегда, только натруженно, с хрипом вздохнула.— Эх, вы, горемычные!.. Измордовал вас злодей проклятый!..— И опять пристально вгляделась в меня.

Бойцы молча окружили повозку и носилки. Я встретился глазами с раненым Ворожейкиным; он стоял, опираясь на свой костыль, и с любопытством следил за женщинами и за Клоковым. Очевидно, он подумал, что я и ему предложу остаться в деревне. В глазах его вспыхнул испуг, лицо в крапинах веснушек слезливо сморщилось, припухшие губы с серебристым пушком по-ребячьи вытянулись.

— Не бросайте меня, товарищ лейтенант! — заговорил он всполошенно и, держа правую ногу на весу, опираясь на палку, заковылял ко мне, обходя телегу.— Я не хочу оставаться здесь! Я пойду с вами! Ползком пойду! Если надо, я буду стрелять. Только не бросайте! Лучше уж расстреляйте тогда...— Споткнув-

шись об оглоблю, он чуть было не упал, вскрикнул от боли: — Не бросайте, товарищ лейтенант!..

Неожиданный порыв Ворожейкина, панический крик и всхлипывания произвели тяжкое впечатление на бойцов. Они как бы ощущали свою вину перед пулеметчиком: они здоровы, а он ранен, и ему приходится просить не бросать его. Ворожейкин, очевидно, расценил свое поведение, как малодушие, отвернулся и опустил голову.

— Что ты выдумал, Володя! Мы не собираемся тебя бросать. Вот дойдем до медсанбата, отправят тебя в госпиталь, отремонтируют ногу, и снова в строй придешь, за пулемет. Мы еще повоюем!.. Успокойся.

Ворожейкин не обернулся, отошел, ковыляя, к кухне и сел на пенек.

Меня позвал Клоков. Когда я склонился над ним, он тихо попросил:

— Напишите жене, если будете живы... Опишите все, как есть. Что я добровольно остался в деревне Рогожке...

— У Настасьи Брагиной,— заключила пожилая женщина. Она хотела взяться за носилки, но бойцы не дали ей, понесли сами.

— Прощайте, товарищи! — сказал Клоков и обвел взглядом бойцов.

Мы долго смотрели, как пожилая женщина миновала опушку леса и, высокая, прямая, медленно пошла тропой к своему дому. За ней следовали молодая женщина и бойцы с носилками. Было что-то торжественное и печальное в этом шествии; ярко и прощально блеснула в солнечном луче пряжка на снаряжении млад-

шего лейтенанта. И было такое впечатление, будто мы проводили младшего лейтенанта Клокова на подвиг, зная, что он никогда не вернется.

Бойцы с носилками и женщины уже приблизились к изгороди, и молодая поспешила вперед, чтобы отворить калитку, а я все повторял слово «Рогожка», стараясь прочнее закрепить его в памяти. Что-то знакомое и беспокойное слышалось в этом названии... Но это «что-то» неуловимо ускользало, вызывая досаду и раздражение. Где я слышал о Рогожке? Или читал?.. Я вставал, кружил среди елей, опять садился на серый подгнивший пенек... Вынуть бы из головы надоедливую занозу!.. И вдруг меня точно ожгло, я вскочил: Нина говорила мне об этой лесной деревушке! Отец отправил ее сюда на летний отдых. Значит, она здесь вместе с Никитой Добровым! Сердце застучало гулко и больно. Я кинулся по тропе следом за ушедшими; за мной по пятам бежал, копытно бухая тяжелыми ботинками, Чертыханов.

Перемахнув через зыбкие жерди в огород, я окликнул пожилую женщину. Пропустив бойцов с раненым на двор, она шла к колодцу за водой. Она вздрогнула от моего окрика, вернулась и прикрыла воротца. Я дышал тяжело, мне трудно было говорить — волнение сдавило горло, — я только жадно, с надеждой смотрел в ее морщинистое спокойное лицо с темными, печальными глазами.

— Скажите, другой деревни Рогожки тут нет? — спросил я наконец.

Женщина поставила у ног пустое ведро; дужка ударилась о край резко и звонко.

— В другом краю где, может, и есть, а у нас тут одна, наша.— Женщина глядела на меня пристально и строго.— А тебе на что?

— Сюда из Москвы не приезжали на лето студенты? Девушка и парень?

— Приезжали! — Женщина тоже заволновалась, понизила голос.— А как звать? Может, Нина?

У меня задрожали колени, кровь отхлынула от головы, от лица; я оперся рукой о плечо Прокофия, боясь упасть.

— Да,— прошептал я.— Нина Сокол. А парень — Никита.

Женщина с недоверием взглянула на Чертыханова; тот, как бы заметив что-то, отдалился от нас, присел среди грядок моркови и репы.

— Она моя племянница,— заговорила женщина торопливо и озабоченно.— Отец ее, Дмитрий Никанорович, брат мне. Большой человек... А ты? Ты ее знаешь? — Я молча кивнул.— Как тебя звать?

— Дмитрий, Дима...

— Ну, вот я тебя теперь узнала! — Она неожиданно улыбнулась, лицо ее оживилось и помолодело, мне подумалось, что это при имени Нины лег на него радостный луч.— А то я гляжу на тебя и гадаю: похожий вроде на кого-то... Они, Нина с Никитой, часто про тебя говорили. Он простой такой, веселый, все шутил... Меня величал милостивой государыней.— Женщина опять улыбнулась снисходительно и нежно.— Сядут за стол обедать или ужинать и начнут перебирать своих. Я многих запомнила: Тоня, Саня, Ирина, Лена. А больше все про тебя... Нина хмурилась, сердилась, не велела

говорить про тебя.— Женщина подступила ко мне вплотную, коснулась рукой моего плеча.— Не заладилось, видно, у вас с Ниной-то? Не понравилась...

Я едва сдержал себя, чтобы не закричать от раскаяния, от любви к ней, к Нине, самой лучшей, самой дорогой на земле. Увидеть бы мне ее сейчас хоть на минуту! Я бы взял ее руку, нежную, почти прозрачную, и прижал бы к своим глазам — намного легче стало бы мне жить...

— Уехали они,— сказала женщина с сожалением, и рука ее, темная, натруженная, невольно потянулась к лицу, пальцы затеребили конец платка, губы дрогнули.— В тот же день, как грянула война, собрались и ушли на станцию... Да зайди хоть в дом-то, я тебе расскажу про них!..

5

Когда Нина с Никитой появились в Рогожке, по деревне тотчас же разнесся слух: Нина приехала с мужем,— и любопытные бабы, найдя первый попавшийся предлог, потянулись ко двору Настасьи Брагиной взглянуть, какого королевича избрала себе в спутники жизни дочь замнаркома, киноартистка. Никита понимал причину столь обильного наплыва женщин и старался показать себя: шутил, щуря голубые, с хитринкой глаза, угощал ребятешек конфетами из объемистого пакета, смеялся, сверкая белыми слитками зубов. Бабы разочарованно переглядывались: слишком прост был он, совсем не гордый, здороваается со всеми за руку.

от деревенского не отличишь,— значит, не высокого полета птица... Когда же узнали, что никакой он ей не муж и не жених, они удивились еще больше: уж не хахаль ли? Но в Никите не было ничего «от хахаля», да и Нина не такая девушка, чтобы так вот взяла и приехала с хахалем... Странные молодые люди в Москве, и отношения их непонятные...

Но вскоре Никита стал в деревне своим человеком. Почти неделю он не выходил из маленькой колхозной кузницы, вместе со стариком Степаном и молодым кузнецом Леонидом Брагиным, сыном Настасьи, ремонтировал инвентарь для уборки сена и хлебов, умело и сноровисто орудя молотком и клещами, лихо расправляясь с горячим металлом; звонкий и бодрящий перестук несся вдоль улицы за деревню, рождая в лесу целую россыпь веселых отголосков.

В полдень в кузницу приходила Нина и звала Никиту и Леонида обедать.

Однажды она появилась раньше обычного. Никита стоял в дымной полутьме и раздувал мехами угли горна, нагревая добела железный стержень; на его чумазом лице блеснула белая полоска — улыбнулся.

— Вы уже соскучились без меня, герцогиня?

— Очень, господин кузнец, сильно хочу есть,— шутливо ответила она, сторонясь искр, и вздрагивая, и морщась от резких ударов молотка по наковальне.

Кузнецы, с любопытством глядя на нее, сдерживали усмешку: слишком далека была эта девушка в цветистом сарафанчике, в широкополой соломенной шляпе, похожей на мекси-

канское сомбреро, от такой прокопченной ко-
нуры, где навалены в беспорядке плуги, жат-
ки, бороны, груды ржавого лома, подков и
болтов и где пахнет горелым железом.

Никита развязал фартук, обмыл в желтой
воде сильные руки с закатанными по локоть
рукавами и галантно, с поклоном подставил
Нине локоть.

— Прошу, сударыня.

Они медленно пошли к дому, спасаясь от
зноя в тени изб. За ними, поотстав, лениво
плелся Леонид. Нина шагала легко и бесшум-
но, прямая и строгая, и Никита, покосившись
на ее чеканный, немного высокомерный про-
филь, усмехнулся.

— Ты так гордо идешь, точно тебя ведет
под руку сам Ракитин.

Он частенько донимал ее этим именем.

Нина резко выдернула из-под его локтя
руку. Длинные, чуть загнутые к вискам брови
сердито взмыли вверх.

— Сколько раз я просила тебя не говорить
о нем!

Никита мгновенно поддержал ее, восклик-
нул гневно, в тон ей:

— И верно! На черта я вспоминаю его, су-
кина сына, негодяя, подлеца!

Нина остановилась.

— Неправда! — сказала она, сердито и с
презрением оглядывая Никиту своими темны-
ми продолговатыми глазами. — Он не подлец.

Никита тоже остановился, сокрушенно раз-
вел руками.

— О, сердце женщины — дикая, непроходи-
мая тайга!

— Я запретила себе думать о нем,— заключила она уже тише.

— Ошибаетесь, повелительница,— мягко и с иронией возразил Никита, снисходительно глядя ей в лицо, затененное широкими полями шляпы.— Можно запретить человеку двигаться, связав ему руки и ноги, можно запретить видеть и говорить, завязав ему глаза и рот, но невозможно запретить ему думать — в этом несчастье, а скорее всего, великое счастье наше. Мы свободны думать все, что хотим! — Нина грустно потупила голову. Он поспешил ее утешить: — Ничего, герцогиня, будет и на нашей улице праздник. Вот найдем себе самых красивых...— И осекся, вздохнув шумно.— Вру! Не найдем, Нина. Самая-то красивая на земле она, вот беда-то... Ох, наделали они нам хлопот, Ракитины, брат с сестрой!..— Никита был пожизненно, как он выражался, влюблен в мою сестру Тоню, а она вышла замуж за летчика Караванова.

За обедом Никита много и с удовольствием ел, благодарно поглядывая на хозяйку,— тетка Настасья была рада приезду гостей и старалась угодить им,— смешил Леонида и его жену Алену, круглолицую, медлительную красавицу. Потом Никита и Нина вышли под окна, где было свалеко свежее сено, накошенное самим Никитой возле огорода, в кустах. Нина певуче, нежно читала Блока:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
Как те невозвратные дни...
Что было любимо — все мимо, мимо...
Впереди — неизвестность пути...

Никита беспокойно ворочался на сене, вздыхал с огорчением:

— Нельзя мне слушать такие стихи: душа тает, словно воск на огне, и жалко делается себя: ах, не любит, ах, оставлен, ах, несчастненький!.. Мне надо быть твердым, как кремень. Впрочем, читай: душа тоже любит, когда ее гладят по шерстке.— Вдруг он, как бы вспомнив что-то, приподнялся, в растрепанных волосах застряли сухие травинки.— Пойдем с нами на озеро. За карасями!

Нина отказалась:

— Ужение рыбы — преступное расточительство времени.

— О! Это — прекрасное расточительство! — воскликнул Никита.— Это магия, колдовство! Ты берешь простой крючок, насаживаешь на него червя и произносишь заклинание: «Взглянь, дунь, плюнь, рыбка, рыбка, клюнь, хорошо бы щука, вот такая штука, можно и карась, только не все враз, окунь угоди, плотичка погоди, а лягушка пропади!» Потом три раза плюешь и закидываешь крючок в темную глубину, в неизвестность... И замираешь в ожидании. Это ожидание полно философского творческого смысла. Ты спокоен, но душа твоя трепещет, фантазия рисует перед тобой заманчивые картины того, как ты становишься обладателем необыкновенной рыбыны, почти кита, и люди завидуют тебе, слагают легенды! Мысль, пробив толщу воды, рыщет в глубине, отыскивает золотую рыбку и подводит ее к крючку, умоляет взять губельного для нее червячка. В этот миг ты воплощение зла и коварства. Но ты об этом не задумываешься. Весь

мир перемещается на крохотный пробковый поплавок... Вот он дрогнул раз, другой — твоя мольба возымела действие! Сердце у тебя останаавливается, а руки дрожат. Тут уж не упускай момент, не растеряйся!.. Одно движение, и ты ослеплен серебристым блеском рыбьей чешуи. Плавнички горят, так и ласкают, будто лучи утреннего солнышка. Ты безмерно счастлив!..

Нина отложила Блока, тоже привстала, изумленно глядя на Никиту, с необычайным воодушевлением раскрывающего перед ней пути к счастью.

— Ты годишься в проповедники рыбного дела! — засмеялась она.— И я охотно пошла бы с тобой за карасями, если бы не талия... Тупое сидение с удочкой располагает к полноте, тело, да кажется, и мысли заплывают жиром. А я хочу сохранить стройность...

— Задача, достойная внимания,— живо согласился Никита.— А я пойду набираться жиру. Про запас...

— Когда ты будешь упрашивать рыбку сесть на крючок, присоедини и мою мольбу,— я люблю рыбу, жаренную в сметане. На талию она не влияет.

Никита и Леонид вышли на озеро в ночь. Они разожгли костер, набросали еловых веток и легли на них. Леонид, пошедший на рыбалку лишь из уважения к Никите, тотчас уснул, закутавшись в чапан. Никита долго прислушивался к шорохам и вздохам леса. Горящие сучья напомнили ему ночное на Волге, когда в овраг прискакала на жеребенке Тонька. Никита усмехнулся: «Амазонка с голыми колен-

ками». Она села с ним рядом и огромными, потемневшими глазами удивленно глядела на угли костра. «Видно, никогда не отделаться мне от этого ее взгляда», — с тихой и сладкой мукой подумал он и зябко поежился: тоска сосуще тронула сердце, ночная, в свежести, тишина, лесные вздохи обостряли ее.

Он забылся, кажется, только на одну минуту, и тут же проснулся. Сучья в костре истлели, дымились лишь их концы. С востока, все явственнее проступая и чуть розовея, надвигался свет, всей своей массой опрокинулся, широко охватывая лес, но, слабый, не пробил еще плотных ветвей, застрял на вершинах берез и елей — у корней стволов прочно держались ночные тени.

Никита не стал будить Леонида, взял свои и его удочки, ведерко с червями и отошел к продолговатому лесному озеру, где водились жирные красноперые караси. На дальнем конце прибрежная кромка уже позолотилась зарей. Никита не спеша размотал удочки и, насадив приманку, одну за другой кинул в воду, ровным рядком воткнул концы удилиц в сырой, кисло пахнувший торфом берег. Затем он принес от костра пахучие еловые ветви, сел на них и, не спуская чуткого и настороженного взгляда с поплавок, закурил; дым он разгонял рукой, словно боялся, что рыба, учуяв запах, уйдет. Сидел в одиночестве с полчаса, — будить Леонида не хотелось, да кузнец и не нужен был...

Полнокровный румянец оживил мертвенную бледность рассвета; лес звенел от неистового птичьего щебетания; один край неба пылал,

отбрасывая на лес красные тени, и вершины сосен и елей радостно пламенели, точно факелы. Пусть рыба пройдет мимо, не тронув приманки, и рыбак вернется ни с чем, все равно этот благословенный час восполнит все издержки, связанные с рыбной ловлей!

Никита оторвав взгляд от поплавков и прислушался: вдалеке, в западной стороне, возник приглушенный гул. Гул этот, близясь, мощно ширился и усиливался, тяжело, гнетуще нависая над лесом. Бросив окурок и вдавив его каблуком в землю, Никита встал, повернулся в сторону наплывающего и все затопляющего гула,— догадался, что ревели моторы. Вскоре над озером показались эскадрильи бомбовозов с чужими желтыми крестами на распластанных крыльях. На миг они, пролетая, затмили алую зарю восхода...

Подошел разбуженный шумом машин Леонид.

— Я думал, буря деревья рушит,— сонно проговорил он, зевая и почесываясь; верхняя губа за время сна еще больше припухла.— Самолеты, что ли, прошли? — Никита обеспокоенно прислушивался к удаляющемуся гулу.— Много? — спросил Леонид.— Я говорю, много ли самолетов-то прошло?

— Много.

— Вот служба! — сочувственно произнес кузнец, скривив рот в неотступной зевоте.— Ни воскресенье тебе, ни ночь-полночь,— мотайся по небу... Дай закурить! Берет хоть немного? — Присев возле удочек на корточки, он зажег спичку и, заключив огонек в пригоршни, прикурил.

Вдалеке что-то ухнуло вразряжку: ухх, ухх, у-ух-ух! Вода в озере пошла рябью, как от толчков. По лесу пронесся шорох, точно кто-то невидимый встряхнул каждое дерево; птицы на минуту смолкли. Над сизой лесной кромкой, там, где станция, вздымалась, разбухая, белая с желтизной тучка.

— Что это? — Верхняя губа Леонида изумленно и встревоженно вздернулась.

— Не знаю. — Никита не мог понять, что все это значит. Взгляд его был припаян к поплавкам: один то скрывался под водой, то опять выныривал, — но Никита не видел их. Резко, рывками билось в груди сердце, сотрясая тело. Заныли ноги: парусиновые ботинки, намочнув от росы, высохли и точно тисками сдавили ступни. Он и этого не ощущал, только переступал в беспокойстве с ноги на ногу.

Прибежала Нина, запыхавшаяся, босиком, с растрепанными волосами; глаза на бледном лице испуганно округлились, не мигали.

— Ты видел? Ты слышал? — торопливо заговорила она, подбегая к Никите. — Что это?

— Фашистские самолеты.

— Зачем они? Война?

— Выходит, что так. — Никите вдруг все стало ясно.

Да, война, о которой говорили в каждой семье, пришла. Она будет беспощадна, насмерть. Эта ясность вернула Никите его обычное спокойствие. Только с ироническим, добродушным спокойствием отныне покончено. Он стянул ботинки, расстегнул косоворотку, взял овчинный полушубок и двинулся было в

деревню. Но вспомнил вдруг о ныряющем поплавке и вернулся.

— Черт с ними, с удочками! — крикнул Леонид.— Бежим скорее! — Он потянул к дому тяжеловатой, ленивой трусцой, везя по кочкам и пням конец чапана.

Никита молча вынул поблескивающего позолотой сытого карася, неторопливо, осторожно отстегнул его от крючка, по привычке взвесил на ладони и швырнул в воду. То же самое сделал со вторым. Затем начал аккуратно сматывать лески, крутя в руках длинные удилища. Нина терпеливо ждала, следя за Никитой. В его размеренных движениях она угадывала глубокое раздумье о случившемся. Свернув все шесть удочек, он связал их шпагатом в один жгут и положил на плечо.

— Надо немедленно ехать домой, в Москву,— сказала Нина, когда они вышли на тропу, ведущую к деревне.

Он по-братски обнял ее за плечи.

— Знаешь, Нина,— заговорил он мягко и задушевно,— сошлись на поединок жизнь и смерть, и слово «немедленно» сюда не подходит, оно от излишнего темперамента, который часто застилает глаза. Нужен холодный расчет, чтобы ударить наверняка. Так что спокойней, Жанна д'Арк...

Нина действительно успокоилась. Она даже улыбнулась Никите и, пройдя несколько шагов, спросила тихо, как бы подумала вслух:

— Что с Димой сейчас? Куда он?..

— Ты, кажется, запретила говорить о нем?

— То время было вчера. Теперь другое..

Люди должны быть вместе...

Никита внимательно посмотрел ей в глаза.

— Мы все, хотим этого или не хотим, будем вместе: война спаяет. А Дима... Думаю, он не засидится на Волге, за сарафан матери держаться не станет.

Нина чуть выше приподняла голову.

— Я не представляю себе, кто бы мог усидеть дома в такое время! — Она невольно убыстряла шаги. — Я думаю, Никита, война скоро кончится: ведь у нас такая армия, такие силы!.. Немцам дадут по зубам как следует, и конец. Мы, может быть, и в драку ввязаться не успеем. Как ты думаешь?

Никита помедлил: следует ли предсказывать конец войне, если она только началась?

— Ее конец за горами, за лесами... Нужно подняться на вершину, чтобы увидеть его. А вершину придется брать с боем...

Нина, резко обернувшись, тревожно дернула Никиту за рукав.

— Гляди, еще летят!

Над дальней, темной гривой леса, неся на крыльях блики утреннего солнца, проплыло на восток еще несколько немецких бомбардировщиков.

— Летят, гады, без зазрения совести! — отозвался Никита, тяжелым, исподлобным взглядом провожая самолеты. — И никто им не препятствует! Гуляй по чужому небу во все стороны.

Самолеты скрылись из глаз, но взрывов на этот раз не последовало: видимо, устремились к дальним целям. Никита все еще стоял, мрачно глядя себе под ноги.

Дома тетка Настасья даже не пыталась задержать их. Прибегал из правления колхоза

парнишка: Леониду велено явиться с вещами на призывной пункт. Она замесила пресные лепешки на троих.

— Сперва сына проводила, Леонида,— сказала тетка Настасья, озабоченно и горестно глядя на меня.— Потом Нину с Никитой. До самой станции дошла...

Долго стояли они, потрясенные, не узнавая станции. Угол вокзала был отхвачен бомбой. Кирпичи красным крошевом рассыпались в стороны, завалили, подобно грудам пунцовых помидоров, дощатые столы пристанционного базара. Связисты, взобравшись на вершины склоненных столбов, натягивали оборванные провода. Три женщины катили тележку с рельсами к месту повреждения путей; две другие женщины торопливо засыпали глубокую воронку; мужчины в майках-безрукавках — форменные путейские куртки лежали рядом,— обливаясь потом, торопились уложить шпалы, рельсы, забивали костыли молотами на длинных черенках.

На станции царили тот беспорядок и нервозное оживление, какие появляются у людей, внезапно застигнутых большой бедой. Огромное скопление людей, молодых и старых. С детьми, с громоздкой кладью, неуклюже и наспех увязанной в узлы,— все, что первым попало под руку, подчас самое ненужное,— сидели они на земле, прямо на путях, на каменной платформе, забили все пристанционные углы. Над ними раскачивались на проводе круглые разбитые часы — время остановилось. Ребятишки бродили по красному щебню, ковырялись в обломках, выскивая стекляшки,

железки... Все эти люди торопились уехать от надвигающейся грозы. Ждали поезда. Паровозы páрили на путях, им не было хода...

Когда пути исправили, всю ночь спешно пропускали эшелоны с важными грузами в сторону границы, оттуда — поезда с ранеными. В вагоны никого не сажали. Никита с Ниной просидели на станции ночь, день и еще ночь. Потом вернулись в Рогожку за продуктами.

— Надень свои спортивные штаны. Так будет удобней. Пойдем пешком, — решил Никита.

— И пошагали они в Москву пешком, сынок, — закончила тетка Настасья и тяжело вздохнула. — Дойдут ли, нет ли...

— Дойдут, — успокоил я ее.

Еще раз попрощавшись с младшим лейтенантом Клоковым, мы с Чертыхановым вернулись в роту.

6

— Ну, как он там, Клоков? — обеспокоенно спросил Щукин, встретив нас.

За меня с готовностью отрапортовал Чертыханов:

— Определили, товарищ политрук. — Прокофий не забыл кинуть ладонь за ухо. — В клеть его положили, на перину, может, и вправду отойдет, хозяйки над ним трясутся. Любовью залечат раны...

Старшина Оня Свидлер, приблизившись, тихо взял меня под руку, кинул на Чертыханова всполошенный, сухо сверкавший взгляд; Прокофий, поняв этот взгляд, скромно отодвинулся в сторонку, к бойцам. По растерянному,

тревожному виду старшины, пребывающего всегда «на взводе», готового на шутку, я понял, что произошло что-то важное.

— Исчез лейтенант Смышляев,— сообщил Оня, понизив голос, озираясь по сторонам.

Я онемело смотрел на старшину, пораженный вероломством Смышляева. Щукин спокойно качнул головой, как бы подтверждая, что именно этого и следовало от него, Смышляева, ожидать. Свидлер в волнении потирал длинными пальцами выросшую за ночь бородастую щетину на подбородке.

— Я видел своими глазами, как он сидел вон на том пне и изучал карту,— сокрушался Оня.— Откуда мне знать, что он замышляет, у него была осанка генерала армии, разрабатывающего гениальный стратегический план! Потом он проверил пистолет. Потом тихонько подошел к повозке, достал из-под брезента каравай хлеба, отломил краюху,— проголодался, думаю, человек, пускай подкормится...

— В какую сторону он пошел? — спросил я.

— Не знаю. Я задремал. Только-только светать начинало. Если бы я догадался, что он готовится к одиночному путешествию, я бы ему немножечко помешал, можете быть уверены!..

— Черт с ним! — Щукин как будто даже с облегчением махнул рукой.— Польза от него невелика, а при удобном случае предал бы. Я в нем немного разобрался.

— Но это же дезертирство! — невольно вырвалось у меня.— За это расстрел! Предатель! — Я вдруг с удивлением отметил, что не мог припомнить, какой на вид был этот Смышляев.

шляев; помню только вороночку на вздернутом подбородке да раздвоенный и будто сплюснутый плоскогубцами кончик носа. И эта гаденькая, таящая недобрый умысел ухмылка...

Повар и ездовой Хохолков привычно проворно раздавал завтрак. По лесу тянуло, как и вчера, ароматом жирной каши и дыма. Бойцы, наскоро проглотив положенную порцию, ополаскивали котелки, наполняли фляги водой, проверяли и прилаживали оружие.

Прокофий Чертыханов, скинув ботинки, мыл ноги, экономно, тоненькой струйкой, поливая их водой из котелка. Круглое, кирпично-красное лицо его блаженно сияло, глаза жмурились, как у кота. К нему то с одной стороны, то с другой подсаживался, норовя заглянуть в лицо, носатый Чернов, насмешливо задирая:

— Ты бы лучше, Чертыхан, рыло умыл, вон его словно илом затянуло.

Прокофий не обиделся, только хитровато подмигнул.

— Главное у солдата — ноги. Мало им покоя от такой головы, как твоя: ноги у тебя длиннее ума. Значит, их надо держать в чистоте и холе: вольготней от неприятеля мотать.

Перед тем, как сняться с места, политрук Щукин построил роту.

— Дезертировал лейтенант Смышляев, — объявил он со сдержанным гневом. — В этот трудный для Родины час дезертир, предатель и трус — злейшие наши враги. С ними мы будем рассчитывать самой жестокой платой. Мы закалились в боях с гитлеровцами. Нам

теперь никакие трудности и опасности не страшны. Мы беспрекословно и свято будем выполнять приказ Родины: бить врага, где бы с ним не повстречались!..— Голос его был низким и суровым, добродушные учительские нотки исчезли.

Красноармейцы стояли перед Щукиным, молодые, заметно отдохнувшие за ночь и, казалось, равнодушные к его речи. Для них, с боями прошедших от границы до Смоленщины, побывавших в самых невероятных переплетках и не раз глядевших смерти прямо в очи, Смышляев был не такая уж большая утрата.

Через несколько минут рота начала свой путь на Восток. Впереди плотной группой шагали стрелки. За ними два пулеметчика — похожий на Есенина голубоглазый Суздальцев и вместо Ворожейкина красноармеец Бурсак — на построениях везли свой «максим». Замыкал шестивеший обоз Они Свидлера — кухня, парная повозка с запасами продуктов, подвода с ранеными.

Первое время мы шли в тишине и одиночестве. Но в полдень, когда достигли крупной проселочной дороги, рота, подобно маленькому ручейку, влилась в бурный человеческий поток. Нас обгоняли грузовики с солдатами, боеприпасами и ранеными. Машины и лошади тянули пушки. Сбоку дороги группами и в одиночку тащились бойцы, усталые и потерянные, а многие из них и безоружные. Откуда они шли и куда, трудно было определить: печать горечи, утомления и безразличия лежала на лицах. Они не разговаривали и избегали смотреть в глаза, точно совершили что-то тяжкое и постыдное.

Наша рота не теряла бодрости и дисциплины. Наши бойцы с превосходством поглядывали на растерявшихся, будто заблудившихся красноармейцев, — чувствовали силу своего единения. Солнце светило точно сквозь выпуклое стекло, жая остро и горячо. Неистовый и густой зной до звона прокалил и разрыхлил землю. Воздух обжигал легкие. Бурая, едущая пыль, вздымаемая машинами, покрывала плечи, каски и пилотки, омерзительно хрустела на зубах. Лица людей, обильно припудренные серым налетом, непроницаемо затвердели; брови на этих лицах казались старчески седыми и косматыми.

Пулеметчику Ворожейкину становилось все хуже и хуже. Раненая нога его безобразно разбухла и отяжелела. Он лежал в телеге, в духоте, в жаре и пыли и по-детски жалобно стонал, поминутно облизывая вспухшие, горячие губы. Чертыханов, шагая сбоку телеги, то и дело подносил ко рту его флягу с водой.

Я боялся смотреть Ворожейкину в глаза: в них столько было мольбы, надежды и нечеловеческой муки, что у меня нехорошо, пусто делалось на сердце. Я пытался отыскать медсанбат или отправить его с попутной машиной, но безуспешно: медсанбаты эвакуировались раньше нас, а машины безудержно катили мимо, не задерживаясь, обдавая нас пылью.

Вечером пулеметчик метался и горел, как в огне, беспрестанно повторял слово «пить» и сильно стонал. Ночью он впал в беспамятство, выкрикивал что-то невнятное, а к утру утих навсегда. Мы похоронили его неподалеку от дороги, на холмике.

Ночевали мы опять в лесу, пройдя двадцать с лишним километров. Никаких следов полка мы не нашли, он как будто пропал на бесчисленных полевых и лесных дорогах Смоленщины. На вопросы бойцов, куда мы идем, я ответил, что где-то впереди командование подготовило мощный оборонительный рубеж, оснащенный свежими силами и могучей боевой техникой,— об этот заслон должна разбиться вражеская лавина. Наша задача — достичь этого рубежа и встать на его защиту. Политрук Шукин только тяжело вздохнул, слушая мои объяснения: если бы это было так!.. За весь день никто нас не остановил и не спросил, кто мы такие, куда направляемся и зачем. Очевидно, всем было и так ясно: отступление.

Наутро мне удалось упросить медсестру, сопровождающую группу раненых, взять на машину и наших двух,— может быть, доберутся до госпиталя...

Дорога вывела нас на большак, еще более оживленный и пыльный. Он перерезал лесной массив. Справа и слева томились в зное березы, осины и ели; пыль высосала из листьев зеленые соки; серые, как бы обескровленные ветви уныло обвисли. Среди деревьев бесшумно двигались зелено-бурые тени красноармейцев.

Неподалеку от перекрестка, с краю дороги, стояли впритык грузовики, целая колонна, а чуть подальше — броневик и запыленная «эмка». Возле машины двумя большими группами толпились люди. Командиры, выкрикивая слова команды, пытались подчинить эти

беспорядочные группы дисциплине строя. Шедшая впереди нас кучка красноармейцев, завидев бежавшего навстречу им человека с пистолетом в руках, остановилась, помедлила секунду и вдруг рассыпалась. Бойцы брызнули в стороны, перемахнули придорожные канавы и, вскарабкавшись с судорожной поспешностью по крутому травянистому склону, скрылись в лесу. Старший лейтенант что-то кричал вслед, махая пистолетом, затем выстрелил вверх; в знойном воздухе выстрел прозвучал сухо и беспомощно, словно лопнул орешек.

Все так же махая пистолетом, старший лейтенант подбежал к нам.

— Стойте! — закричал он мне и поднял пистолет на уровень груди.

По бледному лицу, по бескровным губам и отчаянному нетерпению в побелевших глазах можно было безошибочно определить, что действия его давно вышли из подчинения рассудку. Я побаивался таких людей: указательный палец может шевельнуться в любой момент, а черная дырочка пистолета пронизывала меня, казалось, до лопаток. Но я шел на него прежним, давно уже одеревенелым шагом, чувствуя за собой силу, — рота не отставала. Затем рядом со мной встал политрук Шукин, спокойно и деловито вынув свой наган; Прокофий Чертыханов проворно снял с шеи автомат и выбежал чуть вперед, закрыв меня плечом.

Старший лейтенант пятился от нас, все так же угрожающе держа пистолет наготове.

— Стойте! — почти истерично крикнул он. — Вы что?! Я таких пускал в расход! Предатели! На мушку вас!..

Я почувствовал на спине мурашки, словно вдоль нее провели колкой щеткой; шевельнулись волосы на затылке.

— Подлец! — крикнул я, не помня себя. Я шагнул к нему.— Тебя самого надо на мушку!

Старший лейтенант еще больше побледнел; его трясущиеся губы прошептали:

— Стой, говорю! Кто такие?

— А вы кто? — спросил Шукин.— Что вы играете с оружием?..

Старший лейтенант, кивнув в сторону машин, произнес упавшим голосом с глухой угрозой:

— Здесь генерал Градов!

Три красноармейца и сержант были выстроены вдоль дороги спиной к кювету, безоружные и растерянные. Они озирались, как застигнутые врасплох, и точно не понимали, что с ними хотят сделать.

У высокого тощего бойца, стоявшего с краю, бессильно повисли длинные, как весла, руки; пальцы их шевелились. У второго, маленького и, видимо юркого, голова по-птичьи ушла в плечи, только испуганно торчал остренький и жалкий носик, розовый на самом кончике,—с него сошла обожженная солнцем кожа. Третий выглядел измученным и равнодушным; он как бы говорил всем своим видом: делайте, что хотите, ни бороться, ни жить нет сил. У сержанта по рябому пыльному лицу текли слезы; он два раза локтями подпернул штаны и вопросительно поглядел на окружающих его людей, точно приглашая всех в свидетели несправедливого суда.

Четыре красноармейца, стоявшие перед ни-

ми, вскинули винтовки, и дула их холодно и пронзительно глянули прямо в расширенные зрачки приговоренных к расстрелу.

Генерал-майор Градов, сухопарый и весь до предела натянутый, как стальная пружина, отрывисто, с беспощадной четкостью скомандовал:

— По дезертирам, паникерам, отступникам...

Толпа за машинами дрогнула и притихла. Из леса, из-за листвы деревьев, глядели настоженные глаза притаившихся людей. Угроза применения оружия явилась крайней мерой, чтобы образумить людей, которым страх, усиленный слухами о мощи немецкой стальной лавины, уже затмевал взгляд.

Винтовки в руках стреляющих задрожали. Не дожидаясь конца команды, оглушительно грохнул выстрел. Пуля прошла поверх голов приговоренных, чиркнула по листве, сбивая пыльцу. Высокий и тощий боец рухнул на колени, рот его удивленно и немо приоткрылся; остроносый, востепенувшись, пронзительно, сверляще взвизгнул:

— Не стреляйте, товарищ генерал!

Один из красноармейцев, молоденький, губастый, весь в веснушках, вздрогнув от этого визга, выронил винтовку и, спотыкаясь, сделал несколько шагов к генералу.

— Не могу я,— едва выговорил он.— Что хотите делайте со мной, не могу стрелять...

В эту минуту мне показалось, что я постиг какую-то глубокую истину: бывают моменты, когда в силу вступают наивысшие и беспощадные законы войны, и генерал применил такой

закон. Ему было приказано любыми средствами остановить идущих и поставить их в строй. Я это отчетливо понимал. Но мне было по-человечески жаль этих ребят, таких же, как мы сами, и я по-мальчишески безрассудно кинулся к генералу Градову.

— Не стреляйте их, товарищ генерал! — крикнул я. — Не дезертиры они! Дайте их нам, в нашу роту, мы будем сражаться с врагами насмерть!

Старший лейтенант рванулся было ко мне с пистолетом в руке. Я крикнул ему охрипшим от ярости голосом.

— Подлец! Убийца!..

Генерал Градов неуловимым движением руки осадил старшего лейтенанта.

Тоший боец на коленях подполз к генералу.

— Куда хотите пойду! В огонь пойду..

— Встань! — приказал Градов.

Боец с усилием поднялся на свои длинные ноги. Генерал кивнул старшему лейтенанту:

— Сырцов, дайте винтовку.

Тот кинулся к грузовику.

Отходя к своей роте, я заметил, что кузова машин были беспорядочно завалены разного рода оружием — дула, приклады и треноги торчали вкривь и вкось: должно быть, бойцы, проходя мимо, швыряли оружие как попало, чтобы идти налегке...

Генерал принял от старшего лейтенанта винтовку и передал ее бойцу.

— Возьмите оружие, — сказал он, возвысив голос, — и никогда не выпускайте его из рук! Боец, бросивший оружие, — уже не боец, он

хуже бабы, он просто никто, а для Родины — пустое место.

Боец схватил винтовку, судорожно прижал ее к груди и пробормотал, тараща на генерала преданные, блестящие радостью круглые глаза, — остался живой:

— Не выпущу! До самой смерти не выпущу!..

— Марш в строй! — бросил генерал кратко.

Все четверо метнулись за машины, к группе бойцов...

Градов, подойдя к нам, окинул молчаливым и укоряющим взглядом нашу роту, как бы сжатую в один крепкий кулак. Рот его был плотно стиснут, желтоватая кожа на скулах натянута, в глазницах — фиолетовая темнота; такой непроницаемой темнотой окружает глаза бессонница, ни на минуту не затихающее беспокойство, мытарства по дорогам... Колючий, сощуренный взгляд его коснулся и меня.

— Бежим, лейтенант? — спросил Градов с едкой иронией. — Ишь, рыцарь!.. Искатель справедливости!..

Я был уверен, что именно такие генералы, как этот, не имея мужества выстоять перед вражеским натиском, не обладая мастерством военного дела, не умея организовать оборону, приказывают нам покидать передовые линии. Я стоял перед Градовым навтыжку и с нескрываемой враждой глядел в его прищуренные, колючие глаза, отступившие в фиолетовую темноту глазниц.

— Отходим согласно приказу в восточном направлении, — ответил я отчетливо, потом

прибавил не без гордости: — Рота к бою готова!

Генерал еще раз окинул взглядом бойцов, насквозь пропеченных зноем, пыльных, изнуренных и угрюмых. Поверил он в боеспособность роты или нет, трудно сказать, он только сочувствующе мотнул головой, кратко бросив мне:

— Пройдите к майору Языкову!

— Товарищ генерал, разрешите взять оружие и боеприпасы! — попросил я, указывая на машины-арсеналы.

— Разрешаю. Берите, дружок, сколько вам нужно.— Генерал устало провел ладонью по глазам; этот мягкий, человечный жест заставил меня поверить, что ему, Градову, так же тяжело, как и мне, а возможно, и еще тяжелее, что и без моего заступничества не расстрелял бы он людей...

Возле меня тотчас очутился Оня Свидлер, склонился к моему уху:

— Пошарить в машинах?

— Поищи противотанковые ружья. Возьми побольше гранат и патронов.

Политрук Шукин отвел роту в сторонку; бойцы расположились отдохнуть в кювете, на придорожной, седой от пыли траве. Лошадь капитана Суворова, как бы смирившись с оскорбительной упряжкой деревенской клячи, покорно стояла в оглоблях, била копытом и взмахивала мордой, отгоняя злых и прилипчивых мух и слепней. Я поспешил к майору Языкову.

— Командир стрелковой роты лейтенант Ракитин! — доложил я.

Майор даже не взглянул на меня. Малень-

кий и пухлый, с круглыми румяными щеками, он выглядел запаренным; едкий пот заливал ему лицо, капал на блокнот, в который он что-то записывал; листок бумаги все гуще покрывался фиолетовыми звездочками расплывающегося в каплях химического карандаша.

— Сколько? — спросил он.

— В строю — двадцать семь. Двое обеспечивают тылы...

— Никаких тылов! — Майор тряхнул головой, смахивая с лица пот.

В это время из-за леса взмыла тройка немецких самолетов. Они перечеркнули небо над дорогой, ушли и снова вернулись, как бы дразня нас своей безнаказанностью. Было до слез обидно от этой разнузданной наглости, хоть превращайся в снаряд сам и поражай их!

— Этого еще не хватало! — возмутился майор Языков.

Бойцы знали, чем это пахнет, — над их головами не раз висели вражеские самолеты. Когда майор оглянулся, он увидел пустую дорогу: люди растворились в лесу, залегли в придорожных канавах.

Один из самолетов, снизившись, выпустил короткую пулеметную очередь. Пули прострочили дорогу, взбивая фонтанчики желтой пыли. Строчка прошла возле ног генерал-майора Градова. Он стоял посреди дороги один и мрачно, со злой тоской шурился вслед самолету, должно быть, также возмущенный их наглостью. Второй самолет сбросил тракторное колесо; оно глухо звякнуло, покатилося, кувыряясь, в канаву. Третий распушил тем-

ную струю дыма или пыли; пыль эта, оседая, покрыла черными жидкими крапинами листья, плечи бойцов, окропила генерала Градова,— летчики из озорства, издеваясь, полили людей мазутом. Градов вытер щеку платком, недобро усмехнулся «невинной вражеской проделке»; прищуренный взгляд, провожавший самолеты, говорил: «Ну, погодите, рассчитаемся и за это!..»

Я вернулся в роту. Старший лейтенант Сырцов загородил мне дорогу,— пытался, видимо, объяснить свое поведение. Он даже улыбнулся, пугливо и гаденько.

Я бросил ему сквозь стиснутые зубы:

— Уйди с дороги!

Сырцов вздрогнул, его побелевшие глаза расширились, а рука по привычке рванулась к пистолету...

Старшина Оня Свидлер, следуя закону: любую передышку использовать для пользы дела,— очищал походную кухню, угощая ребят обедом в холодном виде: мало ли что произойдет в следующую минуту, сытые легче переносят невзгоды.

Бойцы расселись вдоль кювета и на самом дне его, где земля была немного похолоднее,— лица их были разукрашены черными веснушками мазута — делили между собой патроны и гранаты. Противотанковое ружье подсовывали, ради потехи, маленькому и шупленькому Юбкину. Тот возмущенно и почему-то брезгливо отпихивал его ногой.

— На черта сдалась мне эта жердь! — кричал он, выведенный из терпения надоедливости и некстати развеселившимися товарищами;

но большие, круглые, точно нарисованные глаза его оставались неподвижными и по-девичьи ласковыми.— Я под винтовкой-то гнусь в три погибели. Я, товарищ политрук, кроме ножниц, никакого оружия сроду в руках не держал...

— Бабьи локоны гладил,— не без ехидства пояснил долговязый носатый Чернов.— Хороша работенка, не пыльна...

— Бери, бери! — настойчиво совал Юбкину ружье сержант Сычугов.— Танк подшибешь, он тебе и взовьет кудри черные.

Юбкин опять отпихнул сапогом гладкий и длинный ствол.

— Что ты пристал! — грозно взвизгнул он и тут же умолк, виновато взглянув на Щукина.— Я до смерти боюсь этих танков. Рычат, как дикие звери, сердце в пятки закатывается...

Бойцы дружно рассмеялись.

— Куда же ты денешься, если танк прямо на тебя поперет? — допытывался Чернов, выскабливая со дна котелка холодную кашу.— Ножницами проткнешь или сердце в пятки и — наутек?

Юбкин тоже рассмеялся.

— Зачем наутек? Я за Чертыханова спрячусь. Он их, как орехи, шелкает...

— Ладно,— плутовато согласился Прокофий.— Я буду шелкать орехи, а ты ружье носить. Юбкин — мой Санчо Панса, ружьиносец и брадобрей!

Ребята опять засмеялись. Юбкин на этот раз обиделся; вскочив на колени, жестикулируя, он с неожиданной горячностью накинулся на Чертыханова.

— Брадобрей! — передразнил он.— Много

ты смыслишь в этом деле! Я не хвосты лошадям подрезал, как ты, а женщинам головы убирал. Знаете, товарищ политрук, какие я делал прически?.. Придет ко мне, ну, прямо, извините, простая баба, а уходит королева!..

— Теперь, товарищ политрук, в Горбатове простую женщину и не встретишь, одни коронованные особы выступают! — быстро и обрадованно откликнулся Чернов.— Мы сейчас, Юбкин, держим курс прямо на Оку. Может, немец поможет достигнуть и твоего Горбатова. Тогда я обязательно сделаюсь принцем крови.

— Нашел чему радоваться, дурачина! — одернул Чернова Прокофий.— Курс на Оку! Эка прелесть!.. Ты о Берлине думай. Вот там уж не теряйся, подхватывай какую-нибудь баронессу Лихтенбергскую...

Чернов возразил серьезно:

— Рад бы так думать, да фашист своими налетами, бомбами да минами все думы из головы выколачивает.

— Эх, ребята! — с сожалением проговорил белокурый, голубоглазый Суздальцев.— Швыряет нас фашист, как ветер-завихряй листья. Мотаемся мы по свету... Но это ничего, все перетерпим... Об одном я болею: все вынесу, на коленях всю землю исползаю, одолею голод, страх, невзгоды, мытарства... Только бы не вышибло меня из игры раньше срока, только бы не отстать от наступающих! Не пропустить зарю победы...

— Не ко времени такие праздные мысли займел,— заметил авторитетно сержант Сычугов.— Они при нашем положении — лишний груз для головы. Балласт.

Чернов утешающе и с веселым сочувствием похлопал пулеметчика по спине.

— Протопают наступающие мимо твоей могилки, Сережа, прямо на Берлин, крикнут тебе: «Спасибо за победу, пулеметчик Суздальцев!» А ты уж и не услышишь... Рановато ты ввязался в драку, волос не останется к концу войны...

— Опять ты, Чернов, дурак, как по нотам! — неодобрительно одернул его Прокофий Чертыханов.— Солдат ты ничего, при большой нужде и за настоящего сойдешь, и сноровка с фашистом управляться налицо, а вот соображений в тебе, или, проще сказать, тактичности,— с воробьиный нос. Не больше. Ты о могилке сказал бы мне. Я бы тебе ответил: сперва я вобью осиновый кол в могилу Гитлера, потом с победой вернусь домой, наживусь вдоволь, потом тебя, дружка любезного, черта носатого, провожу в царствие небесное, а потом уж и сам лягу, окруженный не меньше как полсотней внуков...

— Вот это стратегический план! — воскликнул сержант Сычугов.— Пятилеток на двадцать рассчитан. Ну, перспектива!..

— Вот вам и перспектива! — На круглом, кирпичного цвета лице Чертыханова сияла плутовская ухмылка, неуклюжие пальцы ловко сворачивали из газетной бумаги громадную сигарку.— А ты — могилка!.. — не отставал он от Чернова.— Суздальцев — поэт. Ему без мечты нельзя. Он мечтает о победе, как о самой что ни на есть красавице. И пускай мечтает, пускай надеется, пускай верит. Кто верит, тот и поженится, как по нотам..

— Суздальцев о красавице мечтает, а женится на ней другой. Вот это наверняка будет, как по нотам...— Чернов подполз к Чертыханову, прошептал, указывая на меня глазами: — Разузнай-ка у лейтенанта, в какую сторону мы лыжи наострим...

Чертыханов строго выпрямился и осуждающе покачал головой.

— Очень у тебя длинный нос, Чернов, вот и суешь ты его куда надо и куда не надо! Побавить бы его не мешало...

Ребята рассмеялись. Чернов отодвинулся обиженный, проворчал с презрением:

— Эх, кирпич ты несуразный! Ступа неповоротливая! Жмот!..

— А ты разбежался: сейчас я тебе все тайны выложу, нанизывай на свой длинный нос...

Чертыханов умолк: по дороге шла такая же, как наша, группа человек в пятьдесят, организованно, сбитно,— тоже, должно быть, остатки роты... Командир, поговорив с генералом, побежал к майору Языкову.

Мы с политруком Щукиным сидели в нескольких шагах от своих бойцов и рассматривали карту: в составе только что сколоченного из разрозненных групп батальона нам предстояло пройти двенадцать километров в южном направлении. Задача — обеспечить переправу наших войск через Днепр.

7

К переправе рота прибыла ночью. Последние четыре километра мы двигались навстречу бесконечным эшелонам наших войск, ухо-

дящих на восток. Это были кадровые части, которые долго и успешно могли бы защищать оборонительные рубежи, но которые в силу создавшегося положения на всем фронте должны были отступить.

В сумраке, насквозь пропитанном все той же удушливой пылью, проходили люди, тянулись обозы, сердито ревели моторы тягачей, тащивших мертвые стволы пушек, на ощупь ползли, пересыпая пыль, буксуя, грузовики с потушенными фарами... Каждая ночь являлась расцветенная кровавыми пятнами пожарами — где-то, близко или далеко, что-то горело. словно взорвалась плотина, прочно преграждавшая путь огню, и он, как после долгого заточения, выплеснулся на свободу, радостно завихрился по земле, заметался, наслаждаясь своей разрушительной и непокорной силой. Ненасытно, играючи, пожирал он все, что долго, с любовью, не жалея труда, свивал, строил, растил человек: очаги, запасы хлебов, школы; опаленные жаром, свертывались и чернели еще дедами возвращенные плодоносящие сады... На багровом фоне зарев молчаливая и печальная процессия людей, подвод и машин казалась темной и страшной — не люди, а тени...

На мосту царило беспорядочное смешение голосов, топота ног по скрипучему настилу, шума работающих моторов; сквозь этот гул прорывалась вдруг матерная ругань, нетерпеливые, хлещущие автомобильные сигналы и визжащее, точно предсмертное, конское ржание. Движение по мосту оборвалось. Шаткие деревянные перила гнулись и трещали; люд-

ской поток, скатываясь с того берега, напирал все сильнее. Робкий лучик фонарика, скользнув по длинному стволу пушки, осветил высунувшегося из кабины шофера с перекошенным от ярости и нетерпения лицом, оскаленную морду лошади — ездовой удилами рвал ей рот, — прокрался по каскам столпившихся красноармейцев и упал вниз.

На помосте судорожно билась, пытаюсь встать, упавшая лошадь: в настиле была сломана доска, лошадь угодила в пролом передней ногой, а повозка рухнула двумя колесами, накренилась набок, прочно закупорив дорогу. Напиравшие сзади кричали и ругались.

— Выпрягай свою клячу! Прочь с дороги! — Бойцы пытались сбросить повозку в реку. Но тяжелогруженный воз накрепко врезался в настил. Ездовой ошалело орал на лошадь и в бессильном и растерянном озлоблении бил ее вожжами. Человек с фонариком оттолкнул его.

— Опомнись! Хочешь ноги коню сломать? — Слабый луч фонарика опять скользнул по лицам бойцов. — Видите, встать не может. Надо поднять. Ну, живо! — Люди, неохотно повинаясь команде, окружили лошадь, нагнулись.

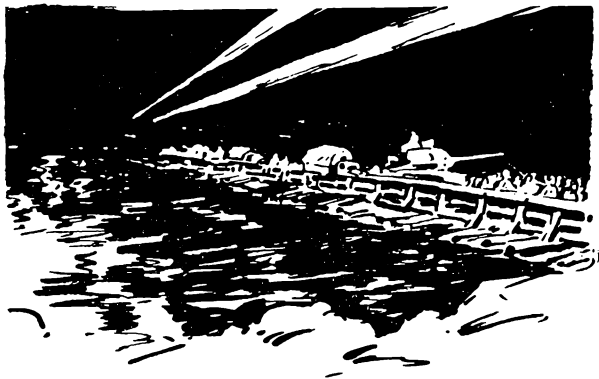
Над рекой в темном небе прошел вражеский самолет — разведчик. В общем гуле звук его был едва различим. Но темнота внезапно дрогнула и раздалась, — над головами, вспыхнув, повис осветительный снаряд. Зеленовато-призрачный, зловещий свет его озарил иска-

женно мост, забытый людьми, машинами и повозками, людей и машины на спуске, черную в колеблющихся холодных отсветах воду Днепра, красноармейцев, поднимающих лошадь, бойцов моей роты, ожидающих перехода на ту сторону. На минуту все смолкло, застигнутое и скованное этим трепетным, таящим в себе угрозу сиянием. И тогда явственно различился звук кружащего над переправой разведчика. Нетерпеливое оживление — неразборчивые голоса, топот копыт и сигналы машин — всплеснулось с удвоенной силой; угрожающе закрипели перила, и кто-то с ужасом вскрикнул, срываясь в воду. Послышался сильный всплеск падающего тела, затем полетели слова:

— Гроби по течению! К левому берегу! Держись за сваи!

Холодный мигающий свет ракеты жег глаза, от него некуда было деваться, и это возмущало и озлобляло: действие разыгрывалось на глазах у немецких летчиков. Прижатый к перилам боец, лихорадочно растолкав привалившихся к нему людей, поспешно снял с шеи автомат. Раздалась одна очередь, вторая, третья... Пули рассекли парашют; фонарь, зеленовато мигая, стал быстро снижаться и вскоре упал в воду; пламя зашипело и погасло. Темнота, как бы затаившаяся по сторонам, вдруг кинулась на мост и непроницаемо сомкнулась над головами. И только одинокий лучик фонарика по-прежнему блуждал на мосту, выхватывая из темноты то испуганный, дикий глаз лошади, то лицо красноармейца, то дуло винтовки.

Лошадь поставили на ноги, колеса повозки выдернули из щели; майор приказал закрыть пробоины бревнами, чтобы не провалились идущие следом. Заметив столпившихся бойцов нашей роты, майор направил фонарь мне в лицо, крикнул раздраженно и с недоумением:



— Куда вас черт несет, лейтенант! Не видите, что творится?! Пробка!

— Нам приказано до утра укрепиться, чтобы обеспечить переправу,— сказал я.— Пропустите нас, товарищ майор.

— У них, товарищ майор, на том берегу назначено свидание со смертью,— пробасил стоящий рядом с майором сержант в тяжелой каске.— Пускай идут.

Майор бросил сержанту кратко через плечо.

— Помолчи! — Он повернулся ко мне и посоветовал уже дружелюбнее: — Пробирайтесь, дружище, вдоль перил, цепочкой... Подождите только, когда тронемся.

Движение возобновилось, каблуки и копыта застучали по настилу, поползли, упираясь радиаторами в повозки, грузовики — бесконечный и бурный поток прорвался.

Осторожно, прижимаясь к расшатанным перилам, рискуя быть скинутым в реку, я про-



шел мост. За мной так же осторожно и опасно двигался Чертыханов со своим ружьем, за ним — бойцы, несущие на плечах ящики с патронами, гранаты; станковый пулемет протасили с трудом, он задевал то за оси встречных повозок, то за колеса машин; бойцы, спотыкаясь о него, чертыхались; в одном месте «максим» чуть было не полетел в воду...

Старшина Оня Свидлер отвел лошадей в укрытие — в невысокий осинник возле дороги — и, оставив при них ездового Хохолкова, перебрался вместе с нами на правый берег. Он

сложил ящики под мостом и вместе со мной, Шукиным и Чертыхановым взобрался на берег, чтобы знать, где расположится рота.

От берега уходила вдаль равнина, очевидно поросшая мелким кустарником, какой растет на заливных лугах,— в темноте трудно было определить точно. В отдалении выступала на фоне красного зарева ломаная линия холмов; там, на этих холмах, и дальше за ними, вели тяжелые бои наши войска. Рота должна была оборонять непосредственно переправу, растянувшись от нее справа. Окопы рыть было некогда, обрывистый берег служил защитой, бойцы только осыпали землю, чтобы удобнее было стоять и вести огонь. Для пулемета наскоро вырыли гнездо, сверху навалили несколько досок, брошенных возле моста саперами. Слева от переправы заняло оборону другое подразделение.

Поток войск не прерывался ни на минуту до самого рассвета; они уходили, чтобы там, дальше, занять рубеж, укрепиться...

Зарево померкло в тусклой рассветной мгле, и холмы проступали явственнее, мохнатые от листвы, с голыми, выжженными макушками. За ними, ширясь и разрастаясь, уже гремел бой. Мелкие группы кустов, точно скатившись с высокого гребня, испуганно разбежались по равнине и замерли в беспорядке, не достигнув реки. Среди этих кустов по дороге и прямоком спешили к переправе войска, угоня военную технику.

Темнота еще не рассеялась до конца, а над холмами, над поймой, над рекой и над левым берегом уже распластали крылья вражеские

бомбардировщики — ночной разведчик не зря вешал над мостом свой фонарь. Воздух наполнился их угрожающим и томительным рокотом.

— Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...— считал Прокофий, следя, как самолеты тройками взмывали из-за холмов,— двадцать один, двадцать два, двадцать три... Эх, черт, сколько их, прямо рой. Откуда только берутся...— Он сокрушенно покачал грузной головой в каске, ожесточенно сплюнул и перестал считать...— Сейчас начнут молотить, как по нотам... Смотрите, заходят, карусель строят...— Он жалобно, прощающе поглядел на меня своими круглыми и вдруг такими мудрыми и скорбными глазами, что у меня сердце струнулось с места и тоскливо покатилося вниз, вызывая ощущение сладковатой, обессиливающей пустоты,— это конец.— Вы хоть под обрыв прижмитесь,— попросил Чертыханов с отеческой заботой,— вот так.— Он вдавил себя в рыхлый грунт, вобрал голову в плечи, закрыл ложем автомата висок.— Все-таки гарантия...

Я оглянулся на восток. В лицо мне брызнули теплые лучи солнца. Оно только что взошло, еще сонное, но такое дружелюбное, ласковое, что я сладко смежил глаза, как в детстве. И тотчас представилась мать, мирно сидящая на крыльчке в суетливом обществе кур и цыплят; когда я забирался на ветлу к грачиным гнездам, она обмирала: «Слезь, Митенька, разобьешься ведь!» Если бы она увидела меня сейчас на далекой, незнакомой реке, вдавленного в обрывистый берег, и знала

бы, что хода назад нет, она упала бы замертво от ужаса и страха за мою жизнь.

Я взглянул на товарищей своих, на бойцов. Возможно, и они, каждый из них, думали в этот страшный миг о своей матери... Мама!.. Первое слово, которое мы услышали и научились говорить, было «мама». В нем заключено все светлое, незапятнанное и нежное, что человек бережет до конца своих дней. Ее руки качали нас и поддерживали, когда мы делали первые, еще неуверенные самостоятельные шаги, а глаза следили за этими шагами в слезах радости. Этих глубоких глаз нам не забыть никогда; под их взглядом, кажется, способны расцвести цветы, а мы, сыновья, черпаем в нем силы и мужество для своего роста. Мальчишками мы убегали на целый день в поле, на речку, в сады, а на закате, возвращаясь в родной угол, находили под ее теплым крылом утешение от обид, едва уловимое ласковое прикосновение к волосам и сладкий отдых. Она терпеливо приучала нас к большой черной работе, а в праздники сама надевала на нас новые рубашки, заботливо застегивала каждую пуговку на воротнике, расправляла складки и, улыбаясь, глядела вслед, когда мы уходили на гулянье. Когда в воздухе запахло пороховым дымом и, озаренная огнем пожарищ, над головами сыновей повисла рука убийцы, она первая подняла свою руку, чтобы отвести этот удар смерти; она сама надела оружие на сыновей и послала их в бой за жизнь, и украдкой перекрестила путь, по которому мы ушли. «Мама,— невольное пронеслось у меня,— помоги мне, отведи от

меня смерть, которая хищно кружится над головой!...»

Самолеты, не торопясь, деловито замкнули над нами круг, образуя зловещий хоровод. И переправа и мы оказались в этом кругу.

Ездовые, нахлестывая лошадей, гнали их вскачь, чтобы успеть проскочить через реку, пока не разрушили мост, грузовики обгоняли подводы, а люди рассыпались по равнине, поныряли в траву, в кусты тальника, затаились.

Ровный и свирепый рокот моторов вдруг прорезал тонкий, пронизывающий звук самолета, скользнувшего в пике, и на пойму легли первые бомбы. До нашего берега докатился глухой стон земли; в грудь, плотно прижатую к обрыву, глухо торкнулся один удар, второй, третий... Острые, въедливые звуки чередовались с методической точностью, и грудь принимала все новые и новые удары. Равнину заволокло дымом и пылью; из-за непроницаемой пелены выныривали грузовики и гнали к мосту.

Бронетранспортер, выметнувшись из дымной мглы, встал, и среди рева и воя самолетов отчетливо и яростно забила его зенитная установка. В этом вызове десяткам вражеских машин было что-то дерзкое, презирающее гибель. Зенитчики били почти в лоб.

Вот скатился по прямой, сбросил бомбы и взмыл ввысь один самолет, за ним последовал второй, третий... Четвертый, стремительно снижаясь, вдруг наткнулся на что-то и как бы подпрыгнул. Он перевернулся и скрылся в пыли и дыму. Послышался обвальный взрыв

всех его бомб, и с обрыва на плечи нам посыпались комья земли. Пятый вспыхнул на самой вершине спуска, накренился и безвольно полетел вниз, распуская волнистый шарф копоги. От самолета отделилась темная точка: выпрыгнул летчик; тотчас раскрылся и заколыхался над бурой, взбаламученной землей ослепительно-белый, точно диковинный цветок, парашют. Он опустился, как в пучину, в дым и пыль.

Следующий самолет, опасаясь быть сбитым, отвалил вправо, ушел. Наступила минутная тишина, непривычная, грозная, пугающая,— неизвестно, что она повлечет за собой. Дым рассеялся, и показались первые раненые; они шли сами или поддерживаемые товарищами.

Я пробежал вдоль берега, где были расставлены бойцы нашей роты.

Прямо у моста приткнулся к обрыву Юбкин. Он безотрывно смотрел на равнину изумленными, круглыми и неподвижными глазами, занимавшими половину его по-детски маленького, бледного и осунувшегося лица; у ног его лежали забытые им и, казалось, ненужные ему гранаты — лимонка и противотанковая, тяжелая, похожая на толкушку,— и несколько обойм патронов. Он что-то сказал мне беззвучно, одними губами, но я не расслышал.

Неподалеку от Юбкина пулеметчик Суздальцев врылся в нишу. На земляной ступеньке укрепил пулемет, из двух досок воздвиг над ним конёчик, забросав его сверху ветками. Суздальцев сидел на чистой ступеньке, касаясь затылком ручек пулемета, и озабоченно-непо-

нимающе глядел на реку, такую безмятежную в этот утренний час, всю в золотистых бликах. Когда я приблизился к нему, он встал.

— Ну, как, Сережа? — спросил я, пытаясь ободряюще улыбнуться ему.

Суздальцев сурово свел серебристые, выгоревшие брови, нетерпеливо дернул плечом, как бы сердясь на то, что его оторвали праздным вопросом от важных и необходимых в эту минуту дум.

— Встретим, товарищ лейтенант. Назад не попятишься: река глубокая, а плаваю я, как утюг.— Он приподнял синие обеспокоенные глаза.— Я с первого дня войны в боях, а не могу привыкнуть вот к такому безобразию.— Он качнул головой в сторону поймы.— Там все всмятку, яичница на сковородке...

— Так уж и всмятку! — с недовольством проворчал Чертыханов, как всегда, стоявший у меня за плечом.— Ты, Суздальцев, пускаешь воображение вскачь, как по нотам, оно и нагромоздило тебе ужасов. Ты поэт и комсомолец. Ты обязан духом заряжать других.. Своего второго номера, например.

Суздальцев вдруг обозлился.

— Пошел ты к черту со своим духом! — бросил он и отвернулся от нас, грудью припав к пулемету.

Из-под моста, от Они Свидлера, по привычке ссутулившись, бежал по песчаной кромке у самой воды второй номер — Бурсак с двумя железными, оттягивавшими руки коробками. Это был угрюмый, неразговорчивый парень, невозмутимый и стойкий в схватках. Он бросил ко-

робки к ногам Суздальцева и вытер рукавом потное, распаренное лицо.

— Ух, жара! — Бурсак поспешно сел и, приподняв ногу, попросил Прокофия: — Помоги, Чертыхан, стянуть сапоги, спасу нет, как ноги давит. Побегаю босиком. Легче...

Рядом с пулеметчиками стоял, привалившись плечом к стенке выдолбленной ниши, сержант Сычугов, косил из-под навеса каски на пойму черный и мрачный глаз, жадно, короткими затяжками курил увесистую самокрутку. Он спросил, не глядя на меня:

— Сцапали летчика или нет? Подвели бы его ко мне, я бы его взглядом прожег, гада! Загрыз бы!.. — И страдальчески замычал, стиснув кулаками подбородок.

— Болят? — участливо спросил его Чертыханов. В ответ сержант лишь глухо застонал. Прокофий отметил, лукаво поглядев на меня: — Вот, товарищ лейтенант, загадка для науки: перед боем болят у сержанта зубы, а как только бой начнется, — перестают. Что такое? Жив останусь, непременно напишу про тебя, Сычугов, в Академию наук, пускай разберутся...

— Прямо челюсть отламывается! — простонал сержант. — Курево не помогает, одна полынь во рту, хоть бы осколком отхватило ее напрочь, и то легче было бы...

Круглая плутовская физиономия Чертыханова озарилась невинной усмешкой.

— Ничего, Паша, потерпи немного, скоро бой начнется, — успокоил он. — Это даже хорошо, что они болят, — злее будешь...

Сычугов медленно перевел на него полный

неизъяснимого страдания и ненависти взгляд, точно стоял перед ним лютый враг, произнес рычаще и с мольбой:

— Уйди от греха подальше! Ух, осел!

Прокофий предусмотрительно отступил за мою спину, стал громко и старательно сморкаться.

Справа от крайней стрелковой точки неторопливым, но спорым шагом шел навстречу нам Щукин. Мы остановились у самой воды. От нее веяло сыроватой свежестью. К ногам на камешки прибило течением солдатскую со звездой пилотку... Жил где-нибудь на Суре или на Ветлуге беспокойный, веселый паренек, жил, не зная ни страданий, ни забот, ни горя, ходил, закатав до колен штаны, по берегу с удочкой в руках, замороженным взглядом следил за поплавком; когда падали с синей выси стонущие клики журавлиных клиньев, он, приподымая лицо, еще обсыпанное ребяческими веснушками, обметанное серебристым пушком, следил за полетом птиц и содрогался от радости: жизнь только начиналась, впереди такие дали, что дух захватывает! Столько можно сделать — только не ленись!.. Поздно вечером, возвращаясь из школы рабочей молодежи, он заходил в городской парк и, засунув тетради и учебники за пояс, танцевал с девушкой... Потом шел ее провожать по тихим улицам. Они молчали, глядя на свои тени, такие четкие в лунную зеленоватую ночь, и пожатия рук заменяли им слова и мечты о будущем, о счастье... Тяжкий час испытаний оборвал мечту и заглушил счастье. Паренек надел вот эту солдатскую пилотку, и она преобразила его юно-

шески-мягкие черты, отметив их мужеством и силой. Он сказал подружке, чтоб ждала его, что вернется он с победой. И вот вражеская пуля ужалила юношу с Суры или Ветлуги, и поникла его белокурая голова, уронив пилотку в воды Днепра...

Чертыханов поднял ее, крутанул, выжимая в своих громадных ручищах, затем положил на валун, другим камнем придавил сверху.

— Много полегло от бомбежки,— сказал Шукин тихо; сняв каску, он по привычке в раздумье причесал желтовато-белые жесткие волосы расческой с обломанными зубьями.— Тяжело для ребят, хотя они и видали виды... А вообще ведут себя уверенно...— Он опустил взгляд, как бы не договаривая того, что, мол, им, как и нам с тобой, известно: уйти отсюда живыми едва ли кому удастся.

Мы поднялись по пологому откосу, отделявшему реку от нашего обрыва. Вставшее над землей солнце щедро плескало свет на равнину, с беспощадной отчетливостью озаряя место гибели людей, и как бы кричало нам: смотрите, запоминайте!.. Рассеявшийся дым и осевшая пыль открыли свежие и черные оспины воронок; между ними на дороге чадили, догорая, исковерканные машины; торчали среди кустов отброшенные взрывными волнами пушечные лафеты; валялись лошадиные туши с задранными копытами, а на зеленой траве в беспорядке, в неудобных и трагических позах лежали люди, которым никогда больше не встать. Раненые ползли по траве, огибая зияющие воронки, зубами рвали рубахи, накладывая на себя перевязки. Оставшиеся в живых выныри-

вали из-под кустов, торопились к неповрежденным машинам, втискивали в кузова раненых... Оборвавшийся поток забурился, с новой силой прорываясь к переправе. Бронетранспортер с зенитной установкой уже загредел досками на мосту...

Самолеты, разорвав круг, разделились на две группы: одна ушла вправо и стала кружиться над холмами, вторая повисла над левым берегом. Первые бомбы легли левее дороги, по которой отходили войска, в осинник, где были укрыты наши тылы. Тотчас за вторым разрывом выметнулась обезумевшая белая кобылица капитана Суворова. Телугу она где-то потеряла и с одним передком неслась к мосту. Почти на середине моста она налетела на бронетранспортер, взвилась на дыбы, кинулась вбок и, испустив дикий, предсмертный визг, ломая оглобли, своротив перила, рухнула вниз, в воду. Печальный конец красавицы-лошади больно напомнил мне об отчаянной гибели ее хозяина. Я отвернулся...

Из-под моста вынырнул перепуганный Оня Свидлер.

— Видали? Наша лошадь! — крикнул он еще издали, взмахивая в сторону переправы рукой, почти по локоть высовывавшейся из рукава гимнастерки.— Тылов у нас больше нет! — У него был такой растерянный и осиротелый вид, точно без этих жалких тылов жизнь дальше невозможна; обросший за сутки темной и жесткой щетиной, он удивленно глядел на нас черными, горячо мерцающими глазами: как можно оставаться спокойным при свершении такого ужасного события!..

— Ничего, Оня,— успокоил его Шукин своим учительским голосом.— Теперь вся Россия — наш тыл. И ты теперь начальник боепитания и брат милосердия. Припасай патроны и бинты...

Оня смотрел на тот берег, где он так надежно укрыл в осиннике две подводы и кухню, и готов был заплакать от досады и жалости: какие были лошади, какая каша приготовлена!..

— Почему они не бомбят переправу? — спросил Оня.— Разве не видят, что войска уходят за реку?

Прокофий Чертыханов осведомленно и авторитетно объяснил ему:

— Они желают оставить ее за собой целехонькую. Не дураки! — И прибавил, ухмыльнувшись: — Опять же тебя жалеют, ведь ты под мостом...

С бронетранспортера, перебравшегося на ту сторону, зенитный пулемет очередями встречал каждый самолет, снижающийся в пике для бомбежки, но огонь его не был таким счастливым: штурмовики, разрушая наши батареи, уходили невредимыми.

— У, сапожники! — с возмущением шептал Оня Свидлер в адрес пулеметчиков.— Мазилы!..

И вдруг точно стремительный, разящий радостью луч ударил в самое сердце, исторгнув из души иступленный вопль: глаза ослепили на миг алые звезды на крыльях наших «ястребков». Их было всего три, но казалось, что их много. Я поглядел вдоль обрыва на прыгающих, кричащих, машущих касками и пилотками бойцов, но как бы и не увидел никого: нас не было на берегу, мы все натолкались в тес-

ные кабинки истребителей. Мы ворвались в строй вражеских машин подобно буре и за несколько минут расшвыряли их. Мы предостерегали летчиков от опасности, указывали, по какому самолету бить. Один немецкий штурмовик, запылав, упал отвесно, словно камень; второй, простреленный, потянул было на свою сторону, но загорелся и, разматывая над рекой траурное шелковое полотнище, врезался в берег у самой воды, рассыпал в стороны огненные брызги.

Разогнав самолеты, проводив «ястребки»,— они металась в небе из конца в конец: им надо было всюду успеть, отразить наседавшие со всех сторон вражеские стаи,— мы спустились на свой берег. Настроение бойцов поднялось: там, за рекой, в глубине России, есть большая сила; в трудный час она явится на помощь, выручит, избавит от опасности от гибели...

С того берега прибежал повар Хохолков; юркий и сухонький, словно похудевший от постоянного недоедания, он мышкой прошмыгнул по мосту, сильно кренясь набок от тяжести ведра. Он поставил ведро, полное каши, у ног старшины.

— Вот все, что осталось,— доложил Хохолков и облегченно вздохнул, точно был очень доволен, что расстался наконец с кухней, с лошадьми. Оня Свидлер даже прослезился от умиления.

— Хохолок, дорогой!.. Уцелел!..— растроганно приговаривал Оня, ощупывая Хохолкова, стискивая ему плечи.— И кашу принес!..

— Я за водой бегал, когда ахнула бомба,— выпалил повар, чуть запинаясь, растирая ла-

донь, натертую дужкой ведра.— Меня обдало жаром и отшвырнуло легонько, словно я и не человек, мушка какая или шепочка... Полежал немножко, будто задремал, а потом встал; в голове до сих пор трещит что-то, скрипит... На месте стоянки, гляжу, яма, повозки набоку, колесо на оси еще крутится, лошади наповал, суворовской кобылы не досчитался... Кухню откинуло и перевернуло. Я выскреб из нее остатки каши и — сюда.— Он покосился на ведро, добавил тише: — Если на зубах захрустит, так это ничего, с песочком собирал...— Хохолков с решимостью пов рнулся ко мне.— Товарищ лейтенант, мне одному там (он пренебрежительно кивнул в сторону того берега) службы нет...— Было в нем, в этом маленьком поваре, что-то забавное, трогательное и задирское, как в молоденьком петушке. Я невольно улыбнулся ему; он ответил веселой, чуть смущенной улыбкой.— Отмахался половником, за гранату возьмусь...

— Помогай старшине,— сказал я.

Оня Свидлер тотчас заторопил его:

— Беги раздай кашу и тем же аллюром назад!..

Хохолко схватился за ведро. Прокофий, задержав его, попросил:

— Для меня оставь на дне ведерка. Не забудь, Хохолок... И считай меня за двоих...

8

Самолеты налетали еще два раза. Но бомбили давно переправившиеся через реку и отходящие в восточном направлении наши части,

стремясь истрепать их прежде, чем они займут прочные оборонительные линии... Вражеские штурмовики кружились и над холмами.

С высот короткими перебежками скатывались едва различимые фигурки людей. Они задерживались на минуту, стреляли, дымки вспыхивали белыми одуванчиками и исчезали.

С левого берега били еще уцелевшие пушки. Через наши головы летели, с воем ввинчиваясь в воздух, снаряды, рвались где-то за буграми.

В полдень, осторожно прокравшись по мосту, в роту пришел майор Языков, толстенький, запаренный; круглое, с туго налитыми щеками лицо его было, как и вчера, залито потом, и он, разговаривая, так же раздраженно встряхивал головой, разбрызгивая соленые капли.

— Как у вас? — Он с надеждой поглядел бледными навывкате глазами сперва на меня, затем на политрука Шукина.

— Нормально.— Шукин кивнул на бойцов, прижавшихся к земляной береговой стенке.

Наши войска, скатившись с холмов, отступали к реке.

— Переправу оборонять до последнего вдоха!..— выпалил майор Языков, остановив на мне взгляд.— Вас будут поддерживать две батареи.— Вздрогнув от близкого разрыва мины, он, привстав на носки, ткнулся мокрым лицом мне в ухо, прошептал сдавленно: — В случае чего переправу взорвать! Хотя у меня на том берегу и подготовлены подрывники, но всякое может случиться...

— Чем взрывать? — Отодвинувшись от майора, я показал на пустые ящики из-под патро-

нов, на несколько гранат, оставленных Оней Свидлером про запас.

Майор, стряхнув с тугих щек едучие капли, вдруг возвысил как-то сразу отвердевший голос:

— Чем хотите — злостью своей взрывайте! — Он как будто вырос на наших глазах. — Переправа не должна достаться врагу исправной. Уходить будете последними! — выкрикнул он резко и визгливо, как бы заглушая в себе жалость к нам: знал, мы были обречены на гибель.

По мосту, белея повязками, прошли раненые. А вслед за ними повалили красноармейцы, выбитые с высот.

— Гляди, удирают на рысях! — с насмешливым осуждением заметил Чертыханов и на всякий случай снял с шеи автомат.

— Задержи их, — сказал Шукин спокойным, почти равнодушным и каким-то осевшим голосом. — Всех положить в оборону.

— Да, в оборону! — подхватил майор Языков; он вскарабкался в порыве решительности по насыпи, выскочил на настил и торопливо выхватил из кобуры пистолет. Чертыханов с автоматом и повар Хохолков с гранатой встали рядом с ним.

Бойцы, с такой надеждой стремившиеся к спасительной переправе, вдруг наткнулись на непредвиденный заслон, остановились в недоумении.

— В оборону! — срывающимся, отчаянным голосом крикнул майор Языков, расходуя последние остатки своего мужества и подкреп-

ляя слова выстрелом вверх.— Марш в оборону! Все! Живо!

Подбежавшие к мосту красноармейцы растерянно оглядывались то назад, где по всей пойме рассыпались люди и трескуче хлопали мины, то на майора, стоявшего между Хохолковым и Чертыхановым в самой беспощадной решительности, то на цепочку бойцов, приткнувшуюся к обрыву, на Суздальцева и Бурсака за пулеметом, угрожающе направленным на них, в лицо. Они не знали, что предпринять: кинуться ли на мост и, отшвырнув майора с двумя бойцами, перемахнуть на тот берег или встать в цепь.

Коренастый, крепкий парень с широкими скулами и мрачным взглядом больших темных глаз переложил винтовку из левой руки в правую и, протолкавшись сквозь кучку бойцов, подступил к майору.

— Почему не пускаете? Вы идите туда,— резким жестом, не глядя, ткнул в сторону высот,— там фашиста не пускайте!

Мы с политруком Шукиным поспешили на помощь майору: толпа жаждущих перебраться на спасительный берег все увеличивалась. Я взглянул в темные, налитые тоской и страхом глаза коренастого бойца, на его широкие скулы, туго обтянутые коричневой, точно обожженной кожей, на белые от сухости и жажды губы в трещинах и подумал с жалостью и сочувствием: «Ох, повидал виды парень!..»

— Вы там стояли, а мы стояли в другом месте и здесь собираемся постоять!..— Я с усилием усмирлял в себе волнение. Боец смотрел

на меня в упор, но, казалось, не видел меня и не понимал, что я ему говорил. Он вдруг рванулся с места, перемахнул через перила, съехал на заду по насыпи и, бросив винтовку, метнулся к реке.

Сержант Сычугов, злой, как черт,— очевидно, еще сильнее болели зубы,— пересек ему путь, обхватил его поперек туловища и приподнял.

— Куда?

— Пусти! — взмолился боец, сдавленный, как обручем, невероятной силы руками Сычугова.— Дай глоток воды!.. Умру!..

Сычугов на секунду растерялся, удивленно пошевелил лохматыми бровями, понял смысл просьбы и, позабыв выпустить бойца из рук, пошел с ним к реке. Боец забрел по колено в воду и, наклонившись, сложив ладони ковшом, жадно, по-собачьи стал пить; при каждом глотке сильное тело его сотрясалось; оставшуюся в пригоршне воду он плескал себе на лицо и голову, с облегчением отдувался и фыркал... Сычугов мрачно, с сочувствием наблюдал за ним. Боец распрямился и вздохнул, точно сбросил тяжкую кладь, и, чуть покачиваясь, слабо и смущенно улыбаясь — трещины на губах мешали смеяться,— вышел на берег, подобрал винтовку.

— Ты думал, я бежать хотел? — спросил он Сычугова.— Не того десятка!..— И тут же крикнул на мост, где столпились в нерешительности красноармейцы: — Чего стоите, как бараны, хотите мину заполучить? Расходись в цепи! А туда поплывете, мою пулю с собой прихватите!..

Люди с неохотой встали между бойцами нашей и соседней рот в оборону. Кое-кто из них, отойдя на правый фланг, пускался через реку вплавь.

Мы сбежали с насыпи, оставив на мосту одного Хохолкова.

Коренастый боец оживленно обратился к Сычугову, Суздальцеву и подошедшему к ним Чертыханову:

— Отгадайте загадку: «Справа огонь, слева огонь, с неба огонь, в середине сталь».

— Танк.

— Снаряд.

— Как бы не так! Это я, Банников. Вы думаете, я человек простой? Я весь из железа, из брони. Меня, живого, можно ставить на гранит вместо бронзового памятника — просто тыщу лет, а то и больше... Знаете, что там было? — Он кивнул на высоты, прикрыв глаза, в сокрушении закачал головой. — Мины сплошь покрывали каждый метр земли; а танков лезло, ребята!.. Мы их бьем, а они лезут, откуда что берется!.. А над головой черно, туча, самолеты прямо брили; летчики, сволочи, ручными гранатами нас закидывали!.. Бугры раскалились, как в печке обуглились... А вот я уцелел, живой! Видите, и голова цела, — Банников в радостном исступлении начал ощупывать себя, выкрикивая, — и шея цела, и плечи, и руки, и ноги целы, смотрите! — Наигрывая плясовую, он в неестественном возбуждении прошелся по кругу, пристукивая и притопывая каблуками. Суздальцев грустно и снисходительно улыбнулся, глядя на этого чудачковатого, быть может немножко тронутого

парня; щеки Чертыханова расплылись вширь в глуповатой ухмылке; Сычугов мрачно молчал, плотно сжав рот. Долговязый Чернов, подойдя к Банникову, тоже весело притопнул каблуками.

— Так мы и сами умеем,— засмеялся он.— Не удивишь! После боя потягаемся. А теперь хватит, дружок!

Банников обнял Чернова за плечи: уж очень был рад, что живым выбрался из ада, что за холмами.

— На «после боя» не рассчитывай! Одну ногу отхватят, на другой не поскачешь... А тут вот они — обе целы!.. — Он еще раз дробно пристукнул каблуками и уже серьезно, по-деловому обратился к Сычугову.— Ставь куда хочешь...— Увидел приставленное к обрыву бронебойное ружье.— Чья бронебойка?

— Моя,— сказал Прокофий.— Понравилась?

— Слушай, будь другом, отдай ее мне. Я хоть раз достойно встречу с танком. С трехлинейкой-то можно только вальс «На сопках Маньчжурии» тянуть. Танк свободно заглушает такую нежную музыку. В него стреляешь, а он идет, Пули — как от стенки горох... Отдай!

— Ладно, бери,— согласился Чертыханов с важностью и тут же сожалеюще зачмокал губами, давая понять, что ему крайне трудно расставаться с ружьем и он это делает лишь из уважения к нему, Банникову.— Стрелять умеешь или показать?

— Я бронебойщик! — Банников подбежал к ружью, видно было, что оно попало в умелые и ловкие руки.

Защитники высот, скатившись на равнину, отхлынули к реке. Часть бойцов прорвалась через мост на левый берег, часть кинулась вплавь, но многие закрепились на линии нашей обороны. Минные взрывы плескались по всей пойме, все ближе подступая к нашему обрыву; с холмов немцы хорошо просматривали и пойму, и реку, и заречные дали. Наблюдая бросающихся в воду людей, они, очевидно, решили, что воля противника сломлена, и спешили захватить переправу.

На дороге, по которой утром уходили наши войска, первыми показались, конечно, танки. Развернувшись по пойме веером, подминая кусты ивняка, они шли на больших скоростях прямо к переправе. За башнями, на неуклюжих хребтах их, налепились солдаты; многие из них демонстративно, во весь рост, стояли, держась за башни, смотрели вперед, как бы отыскивая свою заветную цель, — возможно, им виделась моя Москва — и с лихорадочным нетерпением рвались к этой цели, презирая нас, своих противников, презирая опасность и самую смерть. И было в этом стремлении что-то подавляющее, неотвратимое... Равнина все шире заполнялась гулом, поднимавшаяся от гусениц пыль занавесила идущие сзади машины.

Первые разрывы снарядов наших батарей мгновенно разъединили пехоту с танками — солдаты бежали рядом с машинами, приближаясь к реке.

Щукин прислонился к моему плечу, отыскал руку и больно стиснул ее.

— Держись, старина! — проговорил он негромко и сглотнул слюну. — Я побежал на правый край.

Я взглянул ему в лицо, похудевшее, необычайно серьезное, необычайно спокойное и красивое мужественной и какой-то трагической, жертвенной красотой, и молча, понимая кивнул ему, прощаясь. Причесав расческой волосы, он накрыл голову каской и тяжеловато потрусил вдоль берега. Я окинул взглядом бойцов. Лица их отпечатывались в памяти с поразительной ясностью.

Юбкин, страшась не столько танков, сколько их рева и лязга, все ниже вбирал в плечи свою птичью головку, с надеждой оглянулся на тот берег, потом перевел взгляд на гранаты у ног и беспомощно, недоуменно развел руками, как бы спрашивая: «Да что же это такое?» Сержант Сычугов выглядел повеселевшим, должно быть, боль в зубах утихла, отступила перед надвигающейся грозой, и он чувствовал большое облегчение; приподняв руку, сержант требовал внимания Суздальцева. В белокуром пулеметчике было что-то хищное и устремленное, как в положении зверя, приготовившегося к прыжку. Бурсак высовывал голову вверх, поглядывая на приближающегося врага и проверяя уже десять раз проверенную ленту. Веселый боец Банников медленно поводил длинным стволом ружья, отыскивая уязвимое местечко в накатывающейся стальной глыбе. Под мостом Хохолков почему-то торопливо и деловито закатывал рукава гимнастерки, словно собирался выйти на кулачный поединок. Старшина Оня Свидлер, открыв сумку с крестом,

считал индивидуальные пакеты с таким озабоченным и поглощенным видом, точно решал шахматный ход; изредка он приподымал голову, прислушиваясь к приближению стальной, тяжелой волны. Ефрейтор Прокофий Чертыханов удивленно зацокал языком и как будто с восхищением произнес:

— Эх, черт, как прет!.. Наденьте шлем, товарищ лейтенант.— Он накрыл меня тяжелой и неудобной каской.— Хоть шальную пулю отгонит...

О чем думали они, бойцы, каждый из них, в этот короткий, и, может быть, последний миг жизни? Быть может, перед глазами возник, озарив радостно, больно ударив по сердцу, вызвав тоску, образ матери или невесты? Или встала родная изба с дымком из трубы, с березой, закиданной грачиными гнездами?.. А скорее всего все это отдалилось, упало на дно души, уступив место ненависти к врагу — вот он, перед глазами, его надо убить, чтобы он не убил тебя.

Два танка остановились, напорвшись на разрывы снарядов наших батарей. Немецкие пехотинцы подбежали уже совсем близко, на расстояние ста метров. Они на ходу стреляли, бесприцельно поводя приставленными к животу автоматами. Захлопали выстрелы соседней роты. Сержант Сычугов рывком опустил руку, сжав пальцы в крепкий кулак. И тут же задрожал, захлебнулся пулемет Суздальцева.

Банников все еще вел длинным стволом ружья. Вдруг оно дернулось, сильно ударило его в плечо, а он весело, злорадно закричал

что-то. Сбоку танка вспыхнул небольшой фитилек, он все расширялся, расширялся, затем вымахнул багровым снопом пламени. Но Банников уже отыскал новую цель и через секунду снова получил в плечо ответный рывок.

Суздальцев выпускал то продолжительные, kloкочущие в ярости, то короткие, отрывистые очереди, словно по своеобразной азбуке Морзе посылал слова проклятий. Стрелял весь берег, лихорадочно, без передышки: бойцы боялись остановиться...

Фашистов осадил, как осаживают на полном скаку взбесившегося коня. Не ожидая в таком неподходящем месте сопротивления, гитлеровцы залегли, поныряли в воронки, сгруппировались в кустах. Вскоре их не стало видно совсем. Танки, развернувшись, огибая копящие, подбитые машины, стали отходить. Батареи не переставали бить по равнине. Утром, когда на это место, на колонну отступавших войск падали вражеские бомбы, каждый взрыв обжигал и сотрясал душу; теперь же, считая черные густые фонтаны, вздымавшиеся по пойме то там, то тут, я страдал от того, что фонтанов этих мало, им не залить огня, который должен опрокинуться на нас.

Пулемет Суздальцева не умолкал. Чертыханов подбежал к Суздальцеву и толкнул его в плечо.

— Думаешь, у тебя за спиной горы патронов?..

Я спустился под мост к Оне Свидлеру. Хохолок привел с фланга раненого; усадив его на разостланную плащ-палатку, повар обеспокоенно сказал старшине:

— Там еще один неперевязанный... Куда будем девать? Туда бы их...— Он робко кивнул в сторону левого берега.— Только как?.. Лодку бы!..

Оня в затруднении пожал плечами и вопросительно взглянул на меня своими черными, расширенными, сухим блеском отсвечивающими глазами.

— Надо взорвать мост,— сказал я.— Скоро немец пойдет в атаку, тогда уж не до моста.

Глаза старшины расширились еще больше, он машинально закатал до локтей рукава гимнастерки.

— Как взорвать?..— Он взглянул на раненого, потом на бойцов, растянувшихся вдоль берега.— Я же не умею плавать...

— Без приказа отсюда не уйдем,— ответил я, угадывая его мысли. Оня вдруг повеселел, словно в эту минуту прояснилось его будущее и он был доволен тем, что его ждет.

— А что вы думаете, уйдем? Конечно, нет! И в конце концов какой берег удобней для могилы, левый или правый, я еще не выяснил. Вы командир роты, я старшина, для меня сила — ваш приказ. Но можно поинтересоваться, чем мы будем взрывать мост? Противотанковые гранаты тратить на эту рухлядь, на щепки, неостроумно...

— Его надо поджечь,— подсказал Хохолков.

— Чем? — опять спросил старшина.— Твоим темпераментом?

— Бензином. Я видел на том берегу, возле нашей кухни, двадцатилитровый бидон, его, наверно, из машины вышвырнуло.

Старшина оживился.

— Принести можешь?

Хохолков потупился, подумал, прислушиваясь к свисту и шелканью пуль, в щепки дробивших перила: гитлеровцы, кроясь в кустах и воронках, ни на секунду не прекращали автоматной стрельбы.

— Принесу, если не подстрелят, конечно.— И сам себя успокоил: — Не подстрелят, я маленький, прошмыгну, как заяц... Винтовку я не возьму, товарищ лейтенант, она только мешать будет... Одной лимонки хватит...— Он долго еще топтался на месте, искал что-то потерянным взглядом, улыбнулся раненому бойцу, застегнул пуговицу на гимнастерке Чертыханова, — ему, видимо, страшно, боязно было вылезать из укрытия на секущий, неистовый огонь.

— Сходите к раненому, товарищ старшина, — попросил Хохолков. — Ведь он еще неперевязанный...

— Схожу. Иди, не топчись! — крикнул Оня Свидлер, отводя глаза: ему жаль было маленького повара и эту свою, не ко времени явившуюся жалость хотел прикрыть строгостью и раздражением.

Хохолков поежился, как человек, которому надо нырять в ледяную воду, и, решившись, наконец, сунулся к насыпи. Он быстро, позаячьи взбежал на нее, прижался грудью к земле, прислушиваясь, потом выскочил на мост, упал. Разрывные пули шелкали над самой головой. Юбкин, следивший за Хохолковым, сжался в беспомощный комочек, испуганные, грустные глаза укоряюще застыли; гранаты по-прежнему валялись у ног, винтовка не-

удобно лежала на низеньком рыхлом бруст-
вере, вскинув дуло вверх; он, кажется, ни разу
и не выстрелил из нее. «Берут же в армию та-
ких! — с презрением подумал я про Юбкина.—
Только числится, что боец...»

Плотно, впритирку прижимаясь к настилу,
Хохолков переползал мост. Вскоре он достиг
берега, кубарем скатился там с насыпи, не-
сколько метров пробежал по канаве и, выско-
чив из нее, нырнул в осинник.

10

Совсем недавно я возмущался тем, что нам
приказывают отступать, теперь же с нетерпе-
нием ждал такого приказа, часто с надеждой
поглядывал на ту сторону, не появится ли связ-
ной от майора Языкова. А момент для отхода
был подходящий: пользуясь передышкой, при-
крываясь огнем все еще не смолкавших бата-
рей, мы переправились бы с незначительными
потерями... Но желанного приказа не посту-
пало, связной не появлялся. Майор Языков, вер-
нувшись на свой берег, кажется, забыл о нас...

Немцы тем временем вызвали самолеты, их
я боялся больше всего. Они развернулись над
равниной и пошли вдоль реки против течения.
«Сейчас они изроют весь берег,— с тоской по-
думал я.— Хоть бы до вечера продержаться!..»
Я видел, как бойцы вдавливались в земля-
ную стенку, а те, кто стоял поближе к мосту,
поспешили под настил, точно прятались от
дождя. Только Юбкин остался на месте; отрешенный и безучастный, он с любопытством сле-

дил за самолетами круглыми и неподвижными глазами, занимавшими пол-лица.

Самолеты прочертили из пулеметов несколько строчек. Чертыханов, выбежав из-под моста, привстал на одно колено и выпустил очередь из автомата по снижающемуся штурмовику. Летчик, как бы рассердившись за эту дерзость, швырнул бомбу. Она врезалась в илистую кромку у самой воды, разбрызгивая грязь. Увесистый шматок грязи залепил мне глаз, едучий ил расплылся по всему яблоку. Я вскрикнул от боли и присел — решил, что глаз выбило совсем. Надо ж случиться: не пуля, не осколок, а именно грязь угодила. И в такой момент! Я попросил Оню поскорей забинтовать глаз, чтобы хоть вторым можно было смотреть. Но Прокофий решительно отстранил Свидлера.

— Нельзя так. Ты забинтуешь, а в глазу сор, зараза... Критический момент настает, а командир кривой. Несolidно. При таком деле надо глядеть в оба!.. Моя бабка в подобных случаях проводит такую операцию...— Чертыханов крепко стиснул мои виски лопатистыми ладонями, приблизил к моему глазу лицо, точно хотел поцеловать или сказать что-то по секрету, и не успел я откачнуться, как язык его уже ловко очищал яблоко от грязи.— Держите его сзади, чтобы не брыкался,— попросил он, выплевывая ил.— Ноги спутайте, чтобы не колотил меня по коленкам, как футболист...

Через минуту операция закончилась, и я мог смотреть; острая ломота в виске прошла, лишь легкое пощипывание гнало обильную слезу. Чертыханов вытянулся и, кинув ладонь за ухо,— сделал он это нарочно, зная, что я тер-

петь не мог этого нелепого жеста, — отрапортовал с непроницаемой и глуповатой ухмылкой:

— Все в порядке, товарищ лейтенант! Теперь вы можете взглянуть на вторую стаю птичек — гостинцев нам везут...

Второй заход был деловитей и серьезней. Бомбы покрывали не только берег, где зацепились наши роты, но и реку и, самое главное, огневые позиции наших батарей. Налет продолжался минут десять. Когда же волна схлынула, я вышел из укрытия и взглянул вдоль берега. В одном месте был отхвачен и опрокинут вниз огромный кусок берегового обрыва. Боец лежал, полузасыпанный землей; второго отбросило к самой воде. Оня Свидлер, схватив кожаную санитарную сумку, побежал оказывать помощь раненым. Вскоре он вернулся под мост, молча сел на плащ-палатку, обхватил острые колени руками и замер, оцепенелый.

— Шесть человек убитых, один легко ранен! — вырвалось у него, как глухое рыдание. — Одному оторвало голову... Какой ужас!..

— Политрук жив? — спросил я; Оня как будто не расслышал меня, не ответил, потрясенный увиденным. Я потрянул его за плечо. — Шукин жив, спрашиваю?

— Я же сказал, жив... Какой ужас! — повторил он и, как бы вспомнив что-то, торопливо отстегнул ремни большой парусиновой сумки, в какие укладывают парашют, достал из нее бидон со спиртом и прямо из горлышка стал пить отрывистыми глотками; на тощей и длинной шее вверх и вниз двигался остро выпирающий небритый кадык. Оторвавшись, Оня поставил бидон между ног и печально, с немой

болью обвел черными потускневшими глазами окружавших его красноармейцев, — они впервые видели, как пьет старшина.

— Товарищ лейтенант! — Оня встал и шагнул ко мне. — Разрешите влить огонька в солдатскую душу?.. Поднесу я ребятам по стопке — не пропадать же добру... — И, не дожидаясь ответа, перекинув через плечо парашютную сумку, не пригибаясь, побежал вдоль обрыва, на минутку задерживаясь возле каждой стрелковой ячейки.

Самолеты снова вернулись, сбросили еще несколько бомб. На месте их падения выростали разветвленные, подбитые снизу огнем, уродливые и большие кусты из земли и дыма; из реки, с самого ее дна, вырывались ввысь, подобно гейзерам, стремительные струи. Я молил, чтобы пришли наши «ястребки», разогнали стаю стервятников, отвели от нас смерть; но «ястребки» не появились, а в роте не стало еще восьми бойцов...

С правого фланга Оня Свидлер нес на спине тяжелораненого красноармейца. Ноги раненого тащились по земле, оставляя две ломаные черты. Когда Оня положил его на плащ-палатку, чтобы как следует перевязать, боец уже не дышал; юное, с ясными чертами лицо его было преисполнено мужественного и вечного спокойствия. Оня протяжно и сожалеюще застонал, точно был виноват в смерти этого человека.

— Какой ужас!.. — Краем плащ-палатки он закрыл лицо убитого.

Самолеты скрылись за холмами. На равнину снова вылетели на полном ходу танки, устре-

мились прямо к переправе, ведя огонь из пушек и пулеметов; и снова встала и пошла пехота.

Передний танк шел напрямиком на переправу. Разрывов на его пути становилось меньше: одна батарея, очевидно, была подавлена. Банников три раза выстрелил из противотанкового ружья, но или промахнулся, или пули не пробивали брони. Сержант Сычугов бросил на встречу противотанковую гранату, она разорвалась, когда танк уже сполз с откоса и гусеницы коснулись деревянного настила; доски и бревна закричали и застучали под тяжестью стальной машины. Танк выскочил уже на тот берег, скрылся, огибая осинник, стреляя на ходу.

Я ужаснулся: враг может овладеть переправой, прошел один танк, пройдут и другие. Я подбежал к Банникову, с силой рванул его за плечо:

— Не можешь стрелять, так не берись! — Бронебойщик непонимающе взглянул на меня — в глазах стояли досада, злоба и упорство, — вырвался и опять взял ружье, поторопился выстрелить в надвигающийся танк и опять промахнулся. Взревел, словно от ужасной боли.

— Целься лучше, дурила! — посоветовал Чертыханов, припадая на одно колено рядом с Банниковым. — Руки дрожат, будто кур воровал!..

Банников выстрелил еще раз, и танк задымился. Боец повеселел, успокоился, поджидая следующую машину.

Артиллеристы, пулеметчики и стрелки все-таки отделили пехоту от танков. На лбу Суздальцева высыпал крупный, росистый пот, как

от тяжелой работы. Он стрелял, оскалив зубы, бился в яростной дрожи вместе с пулеметом.

Мина разорвалась совсем рядом. Суздальцева отшвырнуло от пулемета, окатив землей; широко открывая рот, он глотал воздух, подобно рыбе, выброшенной из воды; синие глаза смотрели в небо, не мигая; вскоре они заledenели... Бурсак прикрыл лицо ему пилоткой. Заправив новую ленту, Бурсак застрочил, сердито шепча что-то, должно быть, ругался.

В это время прорвался к переправе второй танк. Я взглянул на Банникова — опять промазал! Бронебойщик сидел, уткнув лицо в землю, не двигался.

— К ружью! — крикнул я Чертыханову.

Танк был уже в тридцати метрах, в двадцати... Необычайное волнение остановило дыхание: Юбкин вскарабкался на насыпь и пополз навстречу танку. Шагов за пять от него он встал, щупленький, в длинной, почти до колен, гимнастерке с засученными рукавами, сделал несколько несмелых шагов, туго прижимая локти к бокам, — держал у груди гранату... Мне не раз потом приходилось видеть такие поединки человека с огромной бездушной, грохочущей машиной, когда юноша-воин за эти несколько роковых шагов взрослеет, мужает, стареет и голову покрывает седина...

Человек и машина сблизилась. Юбкин, словно молясь, опустился на колени и, протянув обе руки, положил под гусеницу гранату. Вырвавшийся огненный клубок подбросил бок танка... Я с силой надавил кулаками на глаза, как бы задерживая крик отчаяния, боли и сожаления. Какое великое мужество хранилось в душе

этого маленького трогательного человека! Переведутся теперь королевы в маленьком городке Горбатове...

Оня Свидлер схватил меня за плечо:

— Смотрите, Хохолков!

На том конце моста, пригибаясь, шел повар. Он нес с трудом бидон из белой жести — ползти с тяжелым грузом, должно быть, невозможно. Хохолков часто приседал, пережидая огонь, и опять шел... На середине моста он выронил бидон и, взмахнув руками, опрокинулся навзничь. Бензин запылал, подожженный пулей. Все шире расплываясь по настилу, он потек между досок. В воду падали огненные капли, точно горящая кровь бойца. Пламя все жарче охватывало мост...

Прокофий Чертыханов подбил еще один танк. Раненых и убитых на берегу все прибавлялось. Чернов, делая длинными ногами саженные прыжки, ринулся под мост за патронами; когда он возвращался к пулемету, то его как будто кто-то сильно-сильно толкнул в спину. Чернов сделал по инерции несколько неверных прыжков и упал, не выпуская из рук коробок, и Бурсак с трудом разжал ему пальцы... Пулемет стучал, не умолкая, настойчиво, наперекор всему, и мне все время казалось, что если оборвется его непокорный голос, то оборвется и наша жизнь — нас захлестнут, задавят.

Три раза фашисты из-за горящих танков бросались в атаку, и три раза их отбрасывали назад. Пулемет умолк. Остатки уцелевших гитлеровцев рванулись в последнюю атаку. Бурсак лежал, раскинув руки, с лицом, залитым кровью, рядом со своим дружкой Суздальце-

вым. Заменить Бурсака уже некому. К пулемету встал я. Я уже различал лица врагов, их открытые, кричащие рты. Плечи мои задрожали в крупной, ознобной дрожи; пулемет бешено, оглушающе зарокотал. Я видел, как одна за другой падали, точно споткнувшись, серо-зеленые фигурки: может быть, они подсечены пулями, а может быть, опасались быть подсеченными и залегли; живые уползали к кустам, к воронкам, вскоре фигурки совсем перестали маячить перед глазами... А пулемет все еще стучал, распаленно и надсадно, пока не захлебнулся и не затих сам: кончилась лента; от кожуха бил в лицо жар.

Я выпрямился и, оглянувшись вокруг, испугался одиночества; так пугаются во сне, когда сновидение заводит тебя в странный и чуждый мир, где только что прошла смерть, оставив после себя горе и опустошение: живых вокруг меня никого не было. Все те, с кем я за эти несколько дней — дни, равные годам! — сроднился, лежали вдоль берега в скорбных, беспомощных и каких-то молящих положениях. Синеглазый, похожий на Есенина пулеметчик Суздальцев мечтал увидеть Победу, прекрасную и желанную, но отдал жизнь за то, чтобы ее увидели другие. Неподалеку от него — сержант Сычугов, хмурый и сердитый, словно у него и сейчас болели зубы; высохшая на солнце кровь покрывала щеку коричневой коркой. Чуть дальше распластался, разметав руки, лихой и веселый Чернов. И весельчак Банников исполнил здесь, на этом косогоре, свой последний танец. Там, у моста, вблизи поверженного им огромного железного чудовища, лежал малень-

кий Юбкин. А на мосту погиб, охваченный огнем, Хохолков... Вечная вам память, герои!..

Почерневшие, омертвелые танки испускали колеблемое ветром чадное курево. По реке, подобно туману, тянулся сизый дым — пылал мост. Доски настила коробились, вздымались и падали в воду, рассыпая искры. Середина моста уже прогорела и обрушилась, огненная щель все более расширялась — вражеским танкам не пройти!

Солнце, клонившееся к закату, светило ярко и сильно. Справа от меня одиноко торчал из ниши шлем Прокофия Чертыханова. Ефрейтор вынул затвор и отбросил в сторону, потом размахнулся и закинул ружье в воду: не стало патронов. С правого фланга по песчаной кромке у воды устало шел политрук Шукин. Обрадованный его появлением, я хотел бежать навстречу ему, но в это время сзади что-то стукнулось в бруствер. Я быстро повернул голову — упала граната! Она шипела, чертя длинной деревянной ручкой полукруг. Сейчас взорвется! Я пригнул голову. На спину мне обвалился пласт земли, потом что-то тяжело придавило. «Должно быть, пулемет», — догадался я, теряя сознание.

Я очнулся, когда вода коснулась лица: Чертыханов затащил меня в реку.

— Проснулся! — Прокофий обрадовался. — Плыть можете?

До берега оставалось несколько метров. Я тихо плыл на боку, сберегая силы. Прямо перед моими глазами с цоканьем взбилась цепь фонтанчиков: немцы, придвинувшись вплотную к реке, обстреливали переправлявшихся. Сей-

час фонтанчики захлестнут и мою голову... Нырнуть бы!.. Но руки и ноги онемели. Если скроюсь под водой, не выплыву.

Сзади, шумно отдуваясь, плыл Прокофий Чертыханов. Он что-то промычал: в зубах его была зажата веревка, за нее он тянул поклажу, завернутую в плащ-палатку. Силы окончательно иссякли, когда я почувствовал сзади облегчающий, спасительный толчок; Прокофий понял, видимо, что я вот-вот пойду ко дну. Вскоре колени коснулись грунта. Я с трудом выполз на илистый берег, лег прямо в грязь и закрыл глаза от мучительной усталости. Неподалеку от меня вышел из воды Шукин...

— Надо уходить! — крикнул Шукин; немцы все еще стреляли.— Вставай! — Я не двигался. Шукин крикнул настойчивей, над самым ухом: — Вставай!!

Я заставил себя подняться. Качнуло. Одежда, намокнув и отяжелев, прилипла к телу, мешая идти. Я оглянулся на тот берег. Немцы, прекратив стрельбу, застучали топорами на мосту, пилили, обрезая путь огню, скоро они наведут переправу и хлынут на Смоленск... Несколько человек ходили по берегу с носилками и убирали убитых — своих и наших.

— Кто сказал, что Оня Свидлер плавать не умеет? — заметил Чертыханов небрежно, с насмешкой.— Захочешь жить, так не то что поплывешь — гусакom полетишь! Видишь, зацепился за бревнышко и гребет. Вон куда отнесло его течением! Выгребет,— заверил Прокофий.

Я не нашел среди плывущих Свидлера. В голове звенело нестройно, дребезжаще, нехорошо: разрыв гранаты сказывался...



**ЧАСТЬ
ВТОРАЯ**

1

Мы вступили в осинник, где стояли недавно наши тылы. Здесь все было разбито и разметано — пусто. Чертыханов, зайдя за перевернутую повозку, поспешно снял с себя гимнастерку и штаны, выжал их, затем скрылся куда-то и вскоре вернулся с тремя парами сапог — снял с убитых.

— Выбирайте, кому какой калибр по размеру, — деловито сказал он, бросая перед нами сапоги. — Я пойду похороню погибших. А вы пока одежду выжмите. Не беспокойтесь, немцы, если переправятся, сюда не пойдут, они любят по гладенькой дорожке катить... — Он отыскал возле телеги лопатку и ушел.

Мы остались вдвоем со Щукиным — командиры без войск. Горькая, отчаянная вина легла на душу. Было тяжело оттого, что потерял всю роту, а сам остался цел и невредим. И в то же время в груди настойчиво, неумолчно, почти ликующе запела знакомая струна: жив, здоров, уцелел!

— Ну, что голову повесил? — сказал Щукин, выжимая гимнастерку. — Устал? Не ко времени. Завинчивай гайки до предела, пока

сердце выдерживает. Иначе конец. Что будем делать?

Я промолчал. Что можно сделать троим почти безоружным людям? Шукин уже надел гимнастерку и примерял сапоги.

— Хороши, точно на меня сшиты. Эх, отходили чьи-то ножки по стежке-дорожке!..— Он пододвинул мне вторую пару.— Надевай, эти, кажется, побольше...— Мне не хотелось двигаться, только бы забыться, хоть на минуточку!

Появился Прокофий Чертыханов, по-прежнему расторопный, неунывающий и до бесстыдства оживленный.

— Захоронил, товарищ лейтенант,— доложил он бодрым голосом.— Всех четверых уложил, родименьких, в одну постельку: спите, товарищи, на вечные времена.— Он присел на корточки возле меня.— Не по себе, товарищ лейтенант? Такой бой слона укатает!.. Ничего, сейчас я вас вылечу...— Прокофий развязал свою плащ-палатку. Все было запаковано с умом: два немецких автомата с запасными магазинами, краюха хлеба, несколько пакетов для первой помощи, ботинки с обмотками, бинокль и две фляги. Отвинтив у одной пробку, он понюхал, крикнул от предвкушения.— Не лекарство — поэма, как говорил мой покойный друг Суздальцев. Хлебните-ка...

Это был спирт. После двух — трех глотков сразу зажгло, засосало внутри; захотелось есть. Я потянулся было за хлебом, но Чертыханов поспешно спрятал его.

— Вот отойдем немного от дороги, поужинаем,— пообещал он и, словно только что

вспомнив, сообщил как бы между прочим: — Когда я ребятам рыл могилу, прошел мимо старший лейтенант, остановился возле меня. «Роешь?» — говорит. «Рою». — «Молодец, — говорит, — хорошо роешь. Потом мне выроешь поглубже, чтобы я топота этих гадов не слышал». У меня даже лопатка выпала из рук. «Что вы, — говорю, — живому-то!» Гляжу, не то он пьяный, не то очумел, — глаза ничего не видят... «Не здесь, — говорит, — так в другом месте выкопаете, — все равно нам живыми отсюда не выбраться. Окружены. Помечемся немного, как зафлаженные звери, — и конец, гибели, — говорит, — не миновать». И ушел.

Я хотел было встать, но, услышав страшное слово «окружение», опять обессиленно сел, ужасаясь.

— Выходит, все бои, все жертвы впустую, — проговорил я. — Пока мы отбивались от наседавших немцев здесь, их пропустили в другом месте: фланги замкнули кольцо! Не лучше ли было отойти без боя?

— Нет, — возразил Шукин, — не лучше. Все подожженные нами танки, убитые солдаты, — а их мы положили намного больше, чем своих, — дальше не пойдут. Урон, который причинила им наша рота, хоть на шаг да удлинит им путь на Москву. А сколько таких рот, сколько шагов! Полк наш разбит, роты не стало. Ты остался один. Теперь твой командир — твоя совесть, твоя честь, твоя ненависть к врагу и твоя любовь к матери-Родине. Их приказ — закон. Что они прикажут, то и выполняй до последнего удара сердца. — Глаза его глубоко запали, скулы туго обтянулись

сухой, обожженной кожей, уголки губ скорбно опустились.— А зря ты, Прокофий, не вырыл могилу тому старшему лейтенанту: меньше было бы посеяно страхов и паники на земле.— Шукин встал.— Где ты там облюбовал место для привала, Чертыхан? Веди.

Солнце, склоняясь, коснулось холмов за рекой и, как бы проткнутое острыми пиками елей, огненной лавой хлынуло на землю, осины побагровели и казались окровавленными. Листья их беспокойно трепетали, рассыпая красные брызги света, хотя было тихо и глухо кругом. И что-то до глубокой, неминуемой тоски гнетущее слышалось в этом неотвязном шелесте. Скорее бы кончился сырой осинник с его гнилым запахом!

— Мы уже у цели,— известил ефрейтор, двигаясь впереди нас своим неустанным, спорым шагом.— Слышите?

Сквозь монотонный шум осин невнятно доносилось глухое, жестяное громыханье. Прокофий вывел нас на поляну с желтоватой, жесткой травой на высохших кочках. На ней, брэнча консервными банками, привязанными за шею, паслись две коровы — рыжая и белая в черных заплатках. Они посмотрели на нас печальными, укоряющими глазами, пестрая жалобно замычала, точно простонала: им, брошенным или забытым хозяевами, должно быть, тяжело и больно было носить раздутые, полные молока вымена.

Чертыханов приблизился к ветхому, сплетенному из сухих прутьев шалашику, какие на скорую руку ставят по весне охотники. Он бросил в шалашик на почерневшую солому

плащ-палатку, поставил автоматы и взял котелок.

— Располагайтесь, товарищи. Сейчас будем пить молочко...

Он отломил кусок хлеба, приблизился к пестрой корове, сытой и молодой, и угостил ее мякишем. Затем, наклонившись, ощупал ей вымя и вернулся к шалашику, озабоченный. Корова опять жалобно застонала.

— Вымя бы помыть... Воды нет...— Постоял немного, нахмурился, соображая.— Протру спиртом. Вот будет дезинфекция!— Схватив флягу, он опять подбежал к корове, присел на корточки, и локоть его задвигался. Корова, вскинув голову, с изумлением поглядела на странную доярку, с беспокойством переступила ногами и хлестнула Чертыханова хвостом по голове.

— Стой, Пеструшка! — предупредил Прокофий.— Сейчас я произведу такой массаж, что тебе от роду не снилось. Потом подою, как по нотам, дурочка, тебе будет сладко, и нам сытно...

Но Пеструшка, вдруг взревев дурным голосом, со всей силой взбрыкнула задом, ударила Чертыханова так, что он откатился от нее кувырком, и что есть мочи понеслась по поляне, точно колокол, раскачивая вымя из стороны в сторону,— очевидно, спирт пламенем охватил ей вымя, и она, обезумев от боли, ринулась в осинник, ломая сучья. Вторая корова тронулась было следом, но остановилась: тянуло вымя. Чертыханов, вскочив на колени, ошалело глядел вслед взбесившейся Пеструшке, держа в руках флягу.

Щукин рассмеялся.

— Вот тебе и молочко от бешеной коровки!
Отдай флягу...

Чертыханов понял свою ошибку. Ко второй корове, настороженно и сердито уставившей на него острые рога, он подкрадывался с мягкостью и осторожностью кота, с воркованьем голубя.

— Буренушка-матушка, кормилица наша, поилица! — ласково приговаривал он, тихо приближаясь к корове. — Я ведь не волк, не медведь — не съем. Я только подою тебя... Мы только что из боя вышли, как по нотам... Живы остались, мы хотим кушать, молочка хотим... Дай нам молочка, Буренушка!..

Корова, еще ниже нагнув рогатую морду, угрожающе двинулась на Прокофия. Он отскочил, рассерженно вскрикнув:

— Ах, зараза! Сейчас я тебя!..

Торопливо отстегнув ремень, он одним прыжком очутился возле Буренки, накинул ремень ей на рога. Корова взмахнула головой и как вкопанная замерла, покорная и податливая: где уж ей, мирной, доброй, отяжелевшей, полной даров, тягаться с таким проворным и настырным парнем; делай, что хочешь...

— Вот так-то лучше, неразумная скотина, — заговорил Чертыханов, поглаживая ее по шее; потом он, ласкательно произнося что-то, присел у вымени. Поплевав на ладони, он вытер их о грудь гимнастерки и начал доить. Тонкие струйки молока с нежнейшим звоном ударились о дно котелка. Солнце село за холмами, и на поляне сейчас же сгустились сумерки. На траву легла обильная роса; в сы-

ром воздухе, приятный и аппетитный, разнесся запах парного молока. Сразу же мучительно и тоскливо заняло в груди; опять вспомнилась мать: вот так же звенело каждый вечер ведро во дворе, когда корову пригоняли из стада; я всегда ждал мать, сидя на заднем крылечке; она проходила мимо с ведром, полным молока, мягко белевшим в сумраке; за ней, мяукая, кралась кошка; я тогда не любил парного молока, оно было теплое, густое, пахнущее сытым коровьим дыханием. Теперь же у меня все пересохло во рту, желудок жег голод...

Чертыханов, осторожно ступая, принес котелок, до краев налитый молоком. Поставил на землю у моих ног.

— Ох, люблю я молоко, товарищи! — заговорил он, разрезая краюху финским ножом, вынутым из ножен на поясном ремне. — Лучше других напитков люблю. Коза меня пристрастила к молоку. Не помню, как я сосал материну грудь, а как сосал козье вымя, помню. Вышло это так. Ушла мать на огород, оставила меня с козой в сенах. Подошла она ко мне, коза, — я в то время еще не наладил дело с ходьбой, ползал, увидел две титьки перед собой, не сплеховал, да и цап. Насосался и отвалился. И козе это по сердцу пришлось, — сама стала подходить в определенные часы и минуты... Растолстел я так, что мать подымала меня, как двухпудовую гирию. А на козу жаловалась: что это она скупа стала на удои? И какое я только молоко не пробовал! И овечье, и кобылье, жиденское, синеватое, кисло-сладкое, очень, говорят, поль-

зительное... А однажды у нас собака окутилась, шесть штук принесла, а они, кутята, все померзли. Собака мучилась, скулила... Я взял да и подоил ее для облегчения. Хотел было попробовать молоко на вкус, но раздумал. Забоялся: еще сбесишься, залаешь кобелем. Был у нас в деревне один тронутый, все лаял...

— Может быть, ты помолчишь? — сдержанно сказал Шукин.— Дай хоть поесть...

Котелок ходил по кругу, отхлебывали по очереди. Никогда еще молоко не казалось мне таким сладким и сытным.

— Вы ложитесь, отдыхайте, а я пойду надою еще, на утро...— сказал Прокофий, взяв у меня пустой котелок.— Спите спокойно, немцы сюда не пойдут.

Мы лежали на плащ-палатке, накормленные заботливым и смекалистым солдатом. Чертыханову явно нравилось опекать и покровительствовать нам. Я тоже все сильнее привязывался к нему, он всегда был под рукой, ко всему готовый, никогда не теряющий здравого рассудка...

Стало совсем темно. На блеклом небе несмело проступили звезды, мелкие и колючие, пугливо мигали на багровый разлив пожарища, захлестнувший горизонт, розовели, словно накаляясь, и, сорвавшись, падали в пламя, сгорали. Предсмертным криком огласила поляну какая-то ночная птица, и опять все смолкло. Только по-прежнему беспокойно шумел осинник, да оттуда, из жуткой красноты, доносились удары молотков и топоров, как бы напоминая о приближении рокового часа: немцы торопились навести переправы. Я уже

не слышал, как они, починив мост, катили по большаку на восток... Сколько еще дней и ночей предстоит провести так же, а может быть, хуже, опасней! Надо сохранять силы, слабому и безвольному тут не выдержать..

2

Я проснулся от студеной сырости, от надоедливого и упорного стрекотания сорок. Они перелетали с ветки на ветку и кричали, раскатисто грассируя. Чертыханов сказал вчера, что сороки — птицы с предательскими наклонностями: где они беспокойно и непоседливо вьются и неумолчно, противно скрежещут, значит, там кто-то затаился,— иди и вылавливай беглецов. Отныне они всюду станут сопровождать нас, трещать над нашими головами, накликать беду, наводя наблюдательного человека на наш след. Я возненавидел сорок! Схватив комок глины, я швырнул в них. Они, нещадно бранясь, отлетели на соседнее дерево, но тотчас вернулись, блестя белыми боками и помахивая длинными ленивыми хвостами, подозрительно, с наглым любопытством оглядывая нас.

Тело, налитое сыростью, ломило от неудобного и жесткого лежания на земле, суставы неприятно хрустели, голова казалась чугуновой, дурманной. Уже рассветало. Листья осин, искупанные в тумане, сочно лоснились. Я провел руками по росистой траве и прохладные, влажные ладони приложил к лицу, стирая остатки сна. Щукин и Чертыханов еще спали,

прислонившись друг к другу спинами, подтянув колени к самому подбородку,— укрыть их было нечем. Возле шалашика стоял котелок с молоком, накрытый зеленым лопухом,— Пеструшка и Буренка, судя по глухому дребезжанию колокольцев, паслись где-то близко.

По гулу, идущему от большака, я догадался, что немцы, наведя за ночь переправы, двинулись на Смоленск. Мне жаль было будить своих спутников: дорога предстояла трудная, и они должны хорошо отдохнуть. Потянуло взглянуть на вражескую колонну... Неслышными шагами ступая по кочкам, я осторожно пробрался через осинник. Листья, стряхивая капли, осыпали словно дождем. Под ногами, среди травянистых кочек, заманчиво рдели бело-розовые крапины брусники. Вскоре высокие деревья оборвались, дальше стлался мелкий кустарник с красноватыми, чахлыми листочками. Я пополз. Залег в тридцати метрах от придорожной канавы.

В пыли, в грохоте, с демонстративным вызовом, презирающим преграды и опасности, катилась бронированная фашистская рать, подавившая своей тяжестью многие народы Европы. Сотрясая землю, шли тяжелые танки с высокими башнями и желтыми крестами по борту. Мчались грузовики с пехотой; солдаты сидели в кузовах аккуратными рядами — два ряда спинами друг к другу, два ряда лицом к лицу, как на параде. Неслись, обгоняя грузовики, легкие офицерские, штабные вездеходы. Тягачи и бронетранспортеры везли пушки и минометы. Летели, сигналив, санитарные автомобили. На фоне стремительного

движения машин кони-тяжеловозы с мощными шеями, широкими, развалистыми крупами, сильными, мохнатыми у копыт ногами и кучьими хвостами, казались медлительными; они тащили крепко сбитые линейки и крытые фургоны. Шли нестройными группами солдаты в серо-зеленых формах с закатанными по локоть рукавами, с воротниками нараспашку, без касок. Явственно слышалась чужая, опаляющая слух гортанная речь. На одной из линеек был включен радиоприемник. Красивая, мягкая танцевальная музыка оглашала унылую, скорбно примолкшую местность, окропленную жиденькими лучами восходящего солнца. Солдаты оживленно смеялись, подпевали и пританцовывали на ходу — не война, а раздольная, веселая прогулка!.. Весь этот нескончаемый и неуправляемый железный поток алчно и нетерпеливо стремился, жадно пожирая километры, в глубь моей земли, к сердцу Родины — к моему сердцу.

На минуту движение прервалось, пыль осела. Я увидел на том краю дороги мальчика лет шести или семи. Он стоял на самой кромочке у канавы в длинном, до пят, должно быть, отцовском поношенном пиджаке. Руки его были подняты вверх. Один рукав сполз к плечу, оголив худенькую белую ручонку, второй, закрыв кисть, тряпкой свисал книзу. Мальчик сдавался в плен на милость победителей. Неподалеку от него, в кювете, неподвижно лежала женщина в пестренькой полинялой кофте, очевидно, его мать, раненая, обессиленная или убитая. Горькая свинцовая спазма намертво сдавила мне горло. Глухой,



отчаянный крик вырвался из груди. Я поднялся и, не пригибаясь, пошел от дороги прочь.

Я плакал. Никогда не изгладится из моей памяти этот мальчик в отцовском пиджаке, с худеньким личиком, отмеченным недетской суровостью и скорбью, молящий о пощаде и помощи. Он будет стоять перед глазами как живой укор, и в минуту усталости заставит собрать последние силы и встать, чтобы насмерть биться с врагом.

Над шалашиком по-прежнему звучала немолчная и скрипучая сорочья трескотня. Щукин и Чертыханов давно проснулись, позавтракали, оставив мне мою долю молока, и ждали, недоуменно гадая, куда я мог исчезнуть, не предупредив их.

— Да вот он! — обрадованно воскликнул Прокофий, когда я из осинника вышел на по-

ляну.— Явился, как по нотам! Я говорил вам, товарищ политрук... А вы подумали...— Он не сказал того, что думал политрук, осекся, смущенный, сел и стал укладывать и увязывать вещи в плащ-палатку.

— Что ты подумал?— спросил я Щукина, садясь с ним рядом. Политрук чистил носовым платком пистолет.

— Что я подумал?..— Щукин, прищутив левый глаз, смотрел в канал ствола; он не пытался увиливать или хитрить.— Знаешь, Митя, сейчас такое время, когда человек вдруг так повернется, что только ахнешь... Помнишь Смышляева?..

— Нет, не убегу,— сказал я спокойно, почти безразлично, давая этим понять, что об этом не только говорить, но и думать нелепо.— Некуда бежать, дружище, кругом фашисты...

— А что я вам говорил!— опять вмешался Прокофий; он был настолько безмятежно спокоен, его лицо с облупленным носом так сияло, словно находился он у себя на калужской земле, в беззаботном путешествии, а не затерянный во вражеском обруче где-то на границе Белоруссии и Смоленщины.— У меня, товарищ лейтенант, собачий нюх на людей. Я еще издали чую, чем от кого тянет. От одного барской заносчивостью пахнет: «Как стоишь перед командиром? Устава не знаешь! Я тебя научу!..» Война идет, а он собирается меня учить, как стоять!.. От другого хвастовством разит за три версты: «Я, да у меня!»— одним махом семерых убиваю. От третьего трусостью воняет. Не просто трусость,—с кем такого греха не случается...—

а трусость с расчетом другого послать, а самому за его спину спрятаться... Вы, товарищ лейтенант, не такой...

— Помолчи, Прокофий,— попросил его Щукин тихо.

— Слушаюсь,— с готовностью отозвался Чертыханов, ничуть не обидевшись, и занялся своим делом. Щукин, видимо, был обеспокоен моим удрученным, подавленным видом.

— Где ты был?

Я сказал, что ходил к дороге, наблюдал за движением вражеской колонны и видел мальчика рядом с лежащей матерью. Волнение не давало мне говорить.

— Понимаешь, какая судьба ожидает этого мальчика? Рабская судьба. Они с корнем вырвут из него достоинство человека. На голой спине плетью напишут рабский его удел. А ты говоришь — убежать!.. Разве позволит мне этот мальчик убежать? Он всю жизнь проклинать меня будет за то, что я позволил фашистам сделать из него раба!..

Щукин посмотрел на меня внимательными синими глазами, улыбнулся сдержанно и криво, одним уголком губ — трещина мешала улыбнуться широко.

— Извини, что я так подумал,— проговорил он и, скупно выказывая товарищескую привязанность, подал мне котелок.— Ты слишком расточительно расходуешь свои духовные силы. Успокойся. Выпей молока. И договоримся раз и навсегда: ни шагу самовольно. А то кто знает, ушел ты на разведку, или тебя выкрали и убили, и где тебя искать...— Он помолчал, прислушиваясь к слитному

шуму проходящей по большаку вражеской колонны.— Думаю, идти нам придется ночами. Сейчас немцы текут рекой, потом они разольются вширь, затопят деревни...

— Товарищ политрук, разрешите сказать,— обратился Чертыханов к Шукину; тот кивнул.— Вы решайте ваши задачи, как идти, куда идти... А меня произведите в должность начпрод... Я буду снабжать вас, как по нотам. Рацион, конечно, летний, легкий и полезительный: морковь в сыром виде, репа, огурцы, если подспеют, брюква, простокваша...

— Да, щедрый начпрод! — оценил Шукин с беззлобной иронией.— Твой рацион сразит нас вернее фашистской пули — быстро ноги протянешь.

Прокофий рассмеялся, нос утонул между пухлых щек.

— Не думайте, товарищ политрук, что я от барашка откажусь или курочку не сцапаю, ошибаетесь. Я на кур, как гипнотизер, действую: как гляну строго, так она покрутится, покрутится на месте, бедняжка, и сядет, раскрывится и клюв раскроет — бери ее голыми руками, ошипывай, как по нотам...

— Жаль только, что не жареные,— заметил Шукин.

— Верно, жаль! — опять рассмеялся Чертыханов.— Сколько я у колхозников кур перевел!.. Страсть! Едем с трактористами в поле — я одно время в прицепщиках состоял,— завидим кур, которые сломя голову разлетаются от машины, трактористы ко мне: «Ну-ка, Проня, у тебя глаз вроде снайперской вин-

товки, положи парочку». Я положу — и, смотришь, обед как в ресторане.

Я поражался, прислушиваясь к Шукину и Чертыханову: рядом, в двух километрах, движется сама смерть, а они ведут беседу о каких-то курах, трактористах, начпроде... Я встал.

— Отдохнули и хватит.

— Да, пора в дорогу, ребята,— отозвался Шукин и тоже встал, расческой с обломанными зубьями причесал волосы на пробор, подтянул ремень; проверил автомат, гранаты, пистолет. Я еще раз взглянул на карту: зеленые разводы, обозначавшие лесные массивы, чаще всего прерывались у деревень,— тут придется или пробираться по открытой местности, или, огибая поля и населенные пункты, двигаться опушкой леса. Это дальше, но безопасней.

— Как решил идти? — спросил Шукин, прислоняясь плечом к моему плечу и заглядывая в карту.

— На месте легче решать, куда и как идти,— ответил я.— Обстоятельства подскажут.

3

Мы тронулись в путь, держась по левую сторону от немецкого потока. Лесные заросли, где совсем редкие, где густые, скрывали нас от постороннего взгляда. Сумеречная прохлада сохранялась здесь долго, пока отвесные лучи подкатившего к зениту солнца не пробили жидкой листвы.

Мы обогнули три деревни, хотя в них, по всей видимости, еще не появлялось ни одного немца. Метрах в трехстах от одной из них задержались. Над трубой избенки трепетал едва уловимый, тающий в зное дымок. Сразу захотелось есть, а особенно пить: почудилась даже дрожащая в ведре вода, поднятая из глубокого колодца, синеватая от чистоты, обжигаящая зубы ледяным огнем,— во рту было вязко от полынной горечи. Но заходить не решились: опасно...

— Давайте переоденемся в гражданское,— предложил Чертыханов таким тоном, словно сделал великое открытие,— и будем шеголять... И скрываться легче и в селении приземлиться способнее — сойдем за местных жителей.

Шукин вопросительно взглянул на меня, скрывая в синих усталых глазах насмешку...

— То есть как это в гражданское? — переспросил я ефрейтора.

Тот поглядел на меня, как на младенца, удивленно пожал плечами.

— Обыкновенно. Зайдем у колхозников штаны и пиджачки, после мобилизованных остались небось. А форму в сумку, а то так закопаем, вроде как похороним...

— Похороним?! — Он уловил в моем голосе угрозу и тихо отступил за спину Шукина.— Но ведь ты военный, ты присягу давал, что никогда не изменишь воинскому долгу...

— Долг от одежды не зависит, товарищ лейтенант,— не очень смело возразил Чертыханов.— Можно ходить в лаковых сапогах и

долга не признавать, а можно и в лаптях топтать, а за долг горло грызть...

— Расстаться с формой — значит наполовину капитулировать перед врагом. — Я повысил голос. — И чтоб мыслей таких не держал в голове! Слышишь!

Прокофий вдруг обиделся, щеки и лоб побагровели, подбородок задрожал.

— Мне это зазорно слышать от вас такое обо мне мнение. Я, товарищ лейтенант, нагишом останусь, а не капитулирую. Это уж будьте покойны. Подтвердите, товарищ политрук.

— Подтверждаю. — Шукин внимательно присматривался к деревне, — намертво легла на ее улицы тишина.

— Вот видите! — вскрикнул ободренный поддержкой Чертыханов, заглядывая мне в лицо. — Товарищ политрук меня знает. Не нравится гражданский пиджачок, что я сморозил, так шут с ним! Буду ходить, в чем прикажете, хоть в поповской ризе... — Я улыбнулся; Прокофий тотчас просиял, рука несмело дернулась, задержалась, но потом лопатистая ладонь все-таки полетела за ухо. — Разрешите, товарищ лейтенант, я подкрадусь к избенке? Разнюхаю, чем там можно воспользоваться бездомному путнику... Товарищ политрук!

Мы рискнули отпустить: хотелось побыть среди людей, поесть и отдохнуть. Чертыханов отделился от нас, пересек заросшую сорной травой пашню, крупно зашагал по борозде между картофельных грядок, нагнувшись подлез под жерди и скрылся на огороде.

— Пока морковь и репу не обшарит, не вернется,— заметил Шукин, улыбаясь. Он привалился к молоденькой, слезящейся светлыми потеками смолы елке, приклеился к ней спиной и закрыл глаза. Усталость и озабоченность отметили его лицо страдальческими морщинами, отодвинули глаза вглубь; подбородок, заросший рыжеватой щетиной, выступил и заострился.

— Долго ли, нет ли придется нам тащиться в немецком обозе? — вслух подумал я.

Шукин не пошевелился, не открыл глаз, обронил после долгой паузы:

— Пока пойдем... Там видно будет...

Я кинул нетерпеливый взгляд в сторону деревни. Чертыханов уже стоял возле городьбы и махал нам обеими руками, приглашая к себе. Тронув Шукина, я встал, обрадованный, но, пройдя полпути к избе, вдруг затосковал: что-то подсказывало вернуться.

— Иди, иди,— подтолкнул меня Шукин, и я, пересилив себя, побрел по картофельной борозде, нехотя, с тяжелым чувством. Прокофий подал мне руку, когда я перелезал через жерди изгороди.

— Все в порядке, товарищ лейтенант,— картошка на столе, разварная, рассыпчатая. Фашистским духом не пахнет. Поедим, подождем, когда день остынет...

В тесной избе с крохотными оконцами было полутемно, тесно и действительно прохладно, как в шалаше. На столе с неровными, выскобленными досками исходил паром чугунок с картошкой, на тарелке несколько ломтей

хлеба и кислое молоко в крынке. Женщина молча смахнула с лавки крошки.

— Закусите на дорожку,— пригласила она и отодвинулась к подтопку, смотрела на нас укоряюще и с жалостью.— Сколько вас идет...— Она сокрушенно покачала головой.— И ночью и днем. Картошку сварила, знала,



что придете, не вы, так другие... Как же это вы, родненькие, сплеховали?.. Неужели вы хуже их? Все такие молодые, здоровые...

Мы со Щукиным сделали вид, что не слышали ее вопроса — стояли над ведром и по очереди пили студеную воду из железного ковшика. Чертыханов не удержался, чтобы не разъяснить ей:

— Это, мать, стратегия такая, военная хитрость: мы сейчас их все заманиваем, заманиваем — отступаем...

Женщина улыбнулась с горечью:

— Эх ты, заманивальщик... Ты откуда будешь?

— Калужский.— Он уже сидел за столом и очищал картофелину, перекидывая ее с ладони на ладонь.

— Вот и заманивал бы ты их к себе в Калугу...

— Погодите, мамаша, не торопитесь, заманим и в Калугу.— Он засмеялся над своей глупой и нелепой остротой. Хозяйка опять улыбнулась.

— Эх, голова садовая! Видно, горе-то мимо тебя проходит, не задевает...

— Нет, мамаша,— возразил Прокофий, отхлебнув из кружки кислого холодного молока.— Мы мимо него проходим. Оно, горе-то, по большаку прет на всех парах, а мы его огибаем леском, глухими деревушками, задворками... Садитесь, товарищ лейтенант, а то от обеда останутся рожки да ножки.

Есть не хотелось, да еще горячей картошки. Но к столу мы сели. Чертыханов налил мне в кружку кислого молока.

— Чесночку хотите? — Он отломил от большой луковицы несколько долек.— Чеснок — «смерть микробам», от одного духа любая зараза ляжет замертво.

— Чесночку попробуем,— согласился Щукин и стал растирать дольку на корке черного хлеба.— Свидание нам не предстоит...

— Да,— подхватил Прокофий,— однажды я, товарищ политрук, вышел на улицу после ужина с чесноком... Так, знаете ли, люди огибали стороной, даже лошади отворачивались...

Я как будто и не слышал, о чем говорили Щукин с Чертыхановым; все время я ощущал

какую-то неловкость, беспокойство — прислушивался, поглядывая в оконце на улицу, и все мне казалось, что к нашей избенке кто-то подкрадывается... В сенях упало с дребезжащим громом ведро. Я вскочил и выхватил пистолет. Шукин сделал то же. Лишь Чертыханов остался спокоен, только переложил автомат с лавки на край стола. В полумраке двери встал человек с рукой на перевязи.

— Свой: сержант Корытов, — назвался он негромко и шагнул через порог. Мы опустили оружие. Оглядев нас, он грохнулся на лавку и выдохнул: — Устал чертовски! Ну и жара... Хозяюшка, дай водички, пожалуйста. — Сержант был молодой, но весь какой-то полный, обмяклый, точно глиняный; из-под пилотки катился пот, глаза смотрели пугливо, как бы опасаясь встретиться с взглядом других глаз. Пошевелив пальцами раненой руки, он поморщился. — Товарищ лейтенант, руку не перевязете?

Прокофий отодвинул от себя стол, расплескивая молоко.

— Давай я.

— Погоди, поплю сперва...

Рукав его гимнастерки был распорот от плеча до обшлага. Повязка туго обхватывала предплечье. Чертыханов, развязав свой узел, извлек аптечку; громадные ручищи его с толстыми, протертыми спиртом пальцами сделались вдруг осторожными, почти нежными. Сержант коротко вскрикнул, когда Прокофий отодрал повязку, обнажив сквозное пулевое ранение. Хозяйка, наблюдавшая за перевязкой, страдальчески всхлипнула: ей было поматерински жаль нас всех... Через несколько

минут на рану была наложена свежая повязка. Сержант облегченно вздохнул.

— Спасибо, приятель... И ломота вроде утихла...— На пристальный, вопросительный взгляд Шукина Кобытов проговорил, точно оправдываясь: — Из-под самого Минска иду. Полк истрепали в первых же боях. Держался полк стойко... Но он, сволочь, навалился всей тяжестью, фашист проклятый!.. И вот я, как волк, по лесам рыскаю... Прямо одичал...

«Стойко,— подумал я, глядя на него с неприязнью.— Небось бежал, как заяц, при первом выстреле. Увалень!» Сержант выглядел раскисшим и несчастным.

— Куда же ты идешь? — спросил Шукин.

— Из кольца хочу вырваться, к своим. Вы ведь тоже к своим идете?..

— С нами пойдешь? — допрашивал Шукин настойчиво.

— С вами? — Кобытов нехотя, через силу улыбнулся, ответил уклончиво: — Можно и с вами...

«Странный тип какой-то,— подумал я.— Может быть, он вовсе и не сержант Кобытов... Надо проверить его...» Я решил потребовать у него документы. Но в это время в избу вбежала девочка, которая приносила нам воду. Споткнувшись о порог, она упала и заголосила что есть мочи:

— Едут, едут!..

Сержант Кобытов подпрыгнул и левой рукой выхватил из кармана «лимонку».

— Кто едет? — закричал он.

С улицы послышался нестройный, неистовый треск. За окном, вдоль порядка, промчались

трое немецких мотоциклистов. Они остановились напротив, три молодых немца, пыльные, утомленные, но добродушно веселые, как все удачливые люди. Критически оглядев нашу избу, заметив дымок, выходящий из трубы, они засмеялись и, застрекотав моторами, развернулись и подкатили прямо к окнам. Сержант Кобытов бросился к двери.

— Бежим!

— Спокойно,— сказал я.— Иначе в тебя первого всажу пулю.

Женщина, обняв девочку, в ужасе замерла возле подтопка.

Чертыханов сразу весь подобрался — куда девалась его добродушная, хитрая ухмылочка! — и по-медвежьи грузно выкатился в сенцы. Мы неслышно метнулись вслед за ним. За таились за дверью, за ларем с мукой, в полумраке; опасность, которую я предчувствовал, подступила вплотную, ее скрюченные пальцы тянулись к самому горлу.

Двое немцев — третий остался у машин, — бодро и по-хозяйски стуча каблуками по скрипучим половицам, вошли в сени: тогда они входили в дома без опаски. Перешагивая порог, первый ударился лбом о низенький косяк, громко вскрикнул и, должно быть, выругался. Второй рассмеялся, пригибаясь.

И следом за ними, так же стуча каблуками, держа наготове автомат, в избу вошел Прокофий Чертыханов — скрываться теперь не имело смысла.

— Охраняйте крыльцо,— сказал я Шукину и Кобытову, стоящему у двери во двор, и тоже вошел в избу.

Немцы что-то оживленно говорили и смеялись между собой и с хозяйкой. Вдруг смех словно обрубил: они увидели на лавке пилотку Чертыханова и плащ-палатку с заплочными лямками. В тишине удивительно спокойный и весомый прозвучал голос:

— Пардон... Я забыл головной убор.— Тихий голос этот поразил, как гром. Немцы даже не успели схватиться за оружие. Девочка пронзительно взвизгнула, когда они грохнулись на пол, сотрясая подтопок. Вслед за нашими выстрелами за окном громыхнул взрыв: Щукин, выбежав из сеней, швырнул гранату в оставшегося на улице мотоциклиста. Волна высадила раму, брызнули осколки стекла. Девочка опять взвизгнула, ткнулась лицом в живот матери; женщина оцепенело стояла, шевеля бескровными губами. В дверь заглянул Щукин.

— Уходи! — крикнул он.

— Да, пора,— отозвался ефрейтор Чертыханов, прихватывая пилотку и сумку, и торопливо направился к выходу. Женщина, очнувшись, топталась на месте, страхась перешагнуть через убитых.

— Через двор бегите. Скорее!..

— И вы уходите,— сказал я ей.— Прячьтесь немедленно.

Мы выбежали дворовой калиткой в огород, перемахнули через изгородь, миновали картофельное поле и уже приближались к опушке, когда в деревне открыли нам вслед бешеную беспорядочную стрельбу. Пули пролетали мимо уха со злым, едким посвистом. Впереди меня бежал, часто оглядываясь назад, сер-

жант Корятов; он шумно дышал, тяжело неся свое разбухшее тело, не приспособленное к таким пробежкам. Вдруг он точно споткнулся и, неверно тыкая в землю длинными ногами, сделал с разбегу несколько шагов, потом упал,— пуля ужалила его под левую лопатку. Я приостановился, но Чертыханов подтолкнул меня.

— Не задерживайтесь!..

Сержант Корятов перевернулся на бок и тихо, жалобно произнес:

— Не бросайте... Товарищи! Донесите...

Я склонился над ним. Лицо его покрыла желтоватая, неживая бледность. Трясущими руками я разорвал ворот его гимнастерки и охнул: тело его было плотно обмотано красной бархатной материей.

— Знамя! — вскрикнул Прокофий.

Я поднял Корятова под мышки.

— Прокофий, бери за ноги. Унесем в лес.

Нести было тяжело и неудобно. Выбиваясь из сил, спотыкаясь и обливаясь потом, мы дотащили сержанта до лесной опушки; он был уже мертв. Мы осторожно сняли с него полотнище знамени — душу и честь разбитого в неравной битве полка. Оно было в нескольких местах влажное от крови. Сняв гимнастерку, я обернул им себя так же, как раньше сержант Корятов. Теперь нам во что бы то ни стало нужно дойти до своих!..

Я стоял над могилой сержанта молча — волнение мешало вымолвить слово — и мысленно просил у него прощения за то, что при встрече подумал о нем плохо. Потом я коротко и сбивчиво сказал о воинском долге, о

преданности Родине, о верном и горячем сердце русского солдата. Прокофий громко и прерывисто всхлипывал; слезы оставляли на щеках светлые полоски...

И еще одной вехой отметили мы свой горький и жестокий путь на восток, к родным очагам...

Мы не так далеко отошли, когда сумерки как бы испуганно шарахнулись из деревни к лесу,— она уже пылала, подожженная должно быть с четырех сторон.

4

Мы решили теперь делать переходы ночами, а дни коротать где-нибудь в укромных местах. Одиноко и бесприютно было тащиться по глухой, как бы вымершей земле под холодными и бесстрастными звездами. Мы боялись света — не люди, а безмолвные ночные тени. Зато в ночной жизни было особое преимущество: нас все время тянуло к человеческому жилью, и мы могли прокрасться всюду незамеченными.

Пройдя километров шесть, мы опять натолкнулись на селение. В темноте трудно было определить, большое оно или маленькое. Мы приблизились к огородам и прислушались. Селение как-то странно гудело; шум возникал во всех концах одновременно; слышались неразборчивые громкие восклицания, гортанная и отрывистая немецкая речь, захлебывающееся, коклюшное тьякканье собачонки вблизи и трубный песий лай вдали; прорывались женский плач и причитания, прозвучало два или три пистолетных выстрела. Все это тонуло во мраке,

производило загадочное и тревожное впечатление.

— Разузнать? — спросил Чертыханов, перелезая через изгородь.

— погоди,— остановил я его.— Еще напорешься на патрули...

Выполняя обязанности начпрода, Прокофий принялся шарить по грядкам.

— Что же тут происходит? — проговорил Шукин, чутко прислушиваясь к плачу и выкрикам.— Наверно, штаб крупного соединения располагается и жителей выселяют из домов...

В это время в глубине села как-то разом занялся дом. Пламя прынуло ввысь и повисло над улицами густо-красной тучей, бросая вокруг дрожащие отблески; в окна изб вместо стекол, казалось, вставили раскаленные железные листы. «Горят, горят российские села»,— с болью подумал я, глядя на темные, изломанные фигурки людей, мечущихся перед огнем.

Неожиданно со двора на огород выскочил человек и бросился бежать, шурша лопухами и ботвой. За ним гнался второй. Этот второй выругался по-немецки. Мы со Шукиным присели и затаились. Бегущий впереди промелькнул мимо сидевшего в грядках Чертыханова. Поравнялся и немецкий солдат. Прокофий чуть привстал, коротко и стремительно взмахнул рукой. Солдат, вскрикнув, рухнул в темную густую растительность грядок. Чертыханов медленно распрямился и, сорвав ботву, вытер нож, шепотом спросил нас:

— Куда сгинул тот, первый?

Человек, за которым гнался солдат, добежав

до изгороди, упал и притаился. Он, должно быть, не понимал, почему фашист вскрикнул и остался позади.

— Кто здесь? — спросил Шукин, приближаясь к тому месту, где упал человек. Ответа не последовало. — Кто здесь? Отвечай, а то стрелять буду, — припугнул Шукин, щелкнув затвором автомата.

— Зажги спичку, — сказал я, отводя автомат Шукина в сторону.

— У меня есть фонарик, — прошептал Прокофий. Слабый огонек едва пробил лопухи. На дне канавки, заросшей бурьяном, сидел, сжавшись в комочек, худенький мальчишка лет четырнадцати. Огонек погас.

— Вылезай, — сказал я. Мальчик не шевелился.

— Вылезай, тебе говорят! — рассердился Прокофий. — Тут все свои... Не бойся...

Из лопухов вынырнула маленькая головка на худой вытянувшейся шее; на макушке торчал хохолок. Оглядев нас, склонившихся над ямой, мальчик сказал срывающимся голоском — перепуганный насмерть, он все-таки пытался выглядеть храбрым.

— Я не боюсь... — Улыбнулся и протянул обрадованно: — Правда, свои?..

— Ну-ка, вылезай скорее. — Прокофий подал ему руку и вытянул из канавы. Мальчик пугливо оглянулся на избу.

— А солдат где?

— Прикорнул тут, на грядке, — небрежно бросил Чертыханов. — Споткнулся.

Мы стояли на коленях возле изгороди.

— Как зовут? — спросил Шукин мальчишку.

— Вася... Вася Ежов. А ребята зовут — Вася Ежик.— Мальчик торопился объяснить все сразу.— Я только нынче из Орши прибежал домой, к маме. В Орше я в ремесленном учусь. На токаря...— Вася напоминал мне Саньку Кочегово, моего дружка, с которым мы учились в ФЗУ,— такой же наивный, по-мальчишески симпатичный и словоохотливый; глаза у него круглые, быстрые; по носу словно кто-то ловко ударил щелчком снизу вверх, загнул его и чуть расплющил, смешно открыв две круглые дырочки; улыбка возникала мгновенно и тут же гасла.

— Почему за тобой бежал фашист? — спросил Шукин.— Что у вас творится?..

— Немцы пришли. Ловят ребят и девок, в Германию отправляют, на работы. И про меня узнали. Я на чердак спрятался — нашли. Солдат зазевался, я юрк в дверь да на зады. Он за мной... Ну, и споткнулся...— взглянул на Прокофия и улыбнулся восхищенно.

— Много они словили девок и ребят? — спросил я.

— Много. Человек тридцать, а может, и боле. Всех согнали к школе. Слышите, как бабы голосят? К детям рвутся, а солдаты их прикладами. Скоро поведут на станцию.— Помолчав немного и приглядевшись к знакам различия на наших петлицах, он обратился к Шукину: — А вы куда идете? Из окружения? Я две ночи шел с двумя сержантами... Теперь жалею, что отстал от них...— Он опять умолк, передохнул, чтобы не выдать слез, прошептал: — Я не хочу в Германию... Возьмите меня с собой, товарищ лейтенант.— Он смотрел на меня

просительно, губы его дрожали.— Я вам в тягость не буду...

— Ты комсомолец? — спросил Щукин. Мальчик смущенно шмыгнул носом.

— Нет еще. Заявление подавал — не приняли, ростом, сказали, не вышел...— Только сейчас стояли слезы в глазах, а вот уж и улыбнулся.— Как будто для комсомола нужен саженный рост, ровно в гвардию полководца Суворова...— И опять улыбка сменилась мольбой: — Возьмите... Я тут все дороги знаю...

— А что ты будешь делать, если уйдешь отсюда?

Вася ответил уверенно:

— Выйду к своим и махну на Урал. На завод. Сейчас токаря, ого, как нужны!..

— Ну, а стрелять ты умеешь? — поинтересовался Чертыханов. Вася сожалеюще пожал плечами, кивнул на автомат в руках Щукина.

— Вот из этого или из пистолета не приходилось стрелять. А из мелкокалиберки стрелял. В яблочко редко попадал, но вокруг делал дырки. Да вы не беспокойтесь, я научусь, я способный... Они меня все равно угонят. А узнают об этом солдате, так шлепнут... Возьмите.

Я взглянул сперва на Щукина, потом на Чертыханова. Наступило долгое молчание — мы решали, как поступить с Васей Ежиком. Боясь отказа, он все говорил что-то быстро, сбивчиво и умоляюще. Из селения все так же неслись выкрики, собачий лай и причитания.

— Мать у тебя есть? — спросил Щукин.— Отпустит она тебя?

— Отпустит,— поспешно заверил он.— Она

сама мне сказала, беги, говорит, Вася, может, говорит, жив останешься. Отец у меня на войне, от него вестей нет... Можно, я за ней сбегаю? — Шукин молча кивнул, и Вася сунулся в сторону, зашуршал лопухами.

— Ну, что вы скажете? — спросил я.

— Надо взять, — решил Прокофий. — Живая душа.

— Не связал бы он нам руки — не на прогулку собираемся...

— Что вы, товарищ лейтенант! Не такой это парень, чтобы руки связывать.

— Да, похоже, что бойкий, боевой, — подтвердил Шукин.

Вася привел мать, еще молодую женщину, повязанную платком до самых глаз. Вася был уже в пиджачке, в кепке и с мешком за плечами, наскоро сделанном из белой наволочки, — он, по всей видимости, сам решил свою судьбу, готов был к походу. Мать, увидав нас, застонала:

— Что же это делается, ребята? Ведь ноги не держат — так страшно. Возьмите вы его, Христа ради. Уведите. Сохраните...

— Возьмут, мама, — успокоил ее Вася. — А не возьмут, так я сам за ними побегу, вон как собаки бегают: их отгоняют, а они все равно бегут.

— Я сама-то дом брошу, к сестре переберусь, за восемнадцать километров отсюда, — стонала женщина, встревоженно озираясь. — Найдут на огороде убитого, разве пощадят...

— Мы их тоже не щадим, — ответил Шукин. — Сына вашего возьмем.

Женщина всхлипнула, обняла мальчика.

— Вот, изверги, что наделали с нашей жизнью... Прощай, сынок. Держись их, не отбивайся...

Мальчик обнял мать за шею обеими руками, но тут же отстранился, словно боялся показать при нас свою любовь и жалость к матери. Прокашлялся и сказал:

— Уходи к тете Вере... Мишатку возьми. И щенка... Не оставляй им ничего...

Прокофий похлопал по его белому мешку.

— А мешок-то не военного образца. Он вроде мишени будет...

Я торопил своих. Мы оттащили солдата подалее от огорода и зарыли, закидали землей и ботвой место, где он упал. Я все время думал о девушках, согнанных в школу для отправки в Германию. Простившись с матерью Васи, мы обогнули село, выбираясь на дорогу, ведущую к станции. Ежик вел нас смело и безошибочно.

— Вот здесь их погонят,— сказал Вася, разгребая руками колосья ржи, в которой мы стояли. Плача из села уже не было слышно. Тихая и печальная, вся в заревах лежала полночь — наша спутница и сообщница. Только бы не застиг нас рассвет...

— Забирали всех без разбору,— объяснил Вася.— И своих, и чужих... Вечером прибились к нашему селу Жеребцову двое — парень и девка. Московские. Парень-то ушел с дядей Филиппом Сквородниковым, председателем сельсовета, в лес, а девку я отвел к Марье Сердовининой на отдых, у Марьи-то дочь, Катька, из Смоленска на каникулы приехала. Так обеих и забрали...

Я сильно стиснул руками плечи мальчишки.

— Как их зовут?

— Его знаю — Никита. А ее не знаю.

Я сел в рожь и притянул Васю к себе.

— Расскажи все, как было.

Я все время думал, что пути мои с Никитой и Ниной сойдутся. Чувства меня не обманули...

5

Никита Добров и Нина Сокол шли четыре дня, не отклоняясь от железной дороги. Ночевали в деревнях. Подолгу задерживались на вокзалах в надежде прицепиться к поезду. Им посчастливилось: на одной станции остановился пестрый — из зеленых пассажирских и красных товарных вагонов — эшелон. Остановился почему-то далеко от посадочной платформы, и к нему, спотыкаясь и падая на шпалах, побежали люди, роняя узлы и свертки.

Неся в левой руке чемодан Нины в новом и уже запыленном чехле, а за спиной свой мешок, Никита протиснулся к тормозной площадке товарного вагона. Она была забита людьми. Никита взглянул на Нину, как бы спрашивая, сможет ли она прицепиться как-нибудь. Нина поняла его взгляд. Неожиданно для Никиты она по-кошачьи, быстро и гибко, вскарабкалась на подножку, потом на буфер и, склонившись, протянула ему руку:

— Лезь сюда.

Никита взобрался к ней, встал на другой буфер. Паровоз загудел, оборвал продолжительный рев, как бы передыхая, опять загудел, и поезд тронулся. Натянулись сцепления, буфера

дрогнули под ногами. Какой-то мужчина с галстуком, съехавшим набок, идя рядом с подножкой, совал женщине, стиснутой на площадке, беловолосую плачущую девочку в голубом платьице. Мать не могла высвободить руки и принять ее и от этого всполошенно, панически голосила. Никита, свесившись, подхватил девочку, поднял к себе, затем передал матери. Отец кое-как повис на подножке.

Нина с Никитой стояли между вагонов. Стучали колеса, изредка звенели тарелки буферов. Безмятежная жизнь с рыбной ловлей, с солнечными пляжами, нежными стихами кончилась; время, сорвавшись, ринулось в неизвестность, точно в пропасть, закрутив толпы людей, как налетевший ураган метет и кружит листья, сорвав их с деревьев.

Стоять на буфере было неудобно, быстро уставали ноги, и Нина, неловко повернувшись, нечаянно столкнула чемодан с края площадки. Он рухнул в пролет, на проносящиеся внизу шпалы, и раскрылся от удара; на мгновение мелькнуло что-то розовое — и все пропало: любимый цветистый сарафанчик, блузки, легкие платьица, пилки для ногтей, туфельки на высоком каблучке, томик Блока... Темные продолговатые глаза Нины медленно и насмешливо сузились.

— Так будет лучше,— произнесла она тихо, как бы извиняясь перед Никитой за то, что не удержала чемодан, и вздохнула с облегчением.— Сама, добровольно, я никогда бы с ним не рассталась...— И Никита отметил в ней и выдержку и чувство юмора. Да, она, пожалуй, не будет в тягость...

Поезд тащился медленно и неуверенно, на каждой станции подолгу стоял, пропуская воинские эшелоны, и до обеда он покрыл всего километров двадцать. Эти километры были последними: на перегоне, в чистом поле, поезд настигли немецкие бомбардировщики.

Первая бомба ухнула впереди поезда, на полотне, разорвав рельсы, словно паутину. Машинист затормозил загодя, но паровоз, толкаемый сзади составом, жалобно и пронзительно визжа тормозами, прополз вперед и медленно свалился в яму, ткнулся лбом в край воронки, неуклюже вздернув тендер. Вторая бомба бухнула сбоку.

— Держись! — крикнул Никита Нине, когда вагон сильно тряхнуло горячей волной. Сцепление и буфера угрожающе заскрежетали, казалось, вагоны сейчас сомкнутся и расплющат всех. Нина едва не слетела вниз. Больно, мучительно ранил душу женский крик... Никита стащил Нину на насыпь. Схватив ее за руку, он что есть мочи побежал от поезда в поле, в рожь, — все дальше, дальше, не останавливаясь. Мешок бил его по лопаткам, лямки из проводов, врезавшись, жгли плечи, колосья колко били по лицу. Стебли ржи спутали Нине ноги, она упала. Никита остановился, переводя дух, помог Нине встать.

На линии началась беспощадная расправа с беззащитным поездом. Самолеты, низко и не спеша пролетая вдоль состава, прошивали вагоны очередями. Расстреливали бегущих от поезда людей — кощунственно, бесчеловечно, издевательски. Никита и Нина видели, как по насыпи мимо чугунных колес шла, спотыкаясь,

беловолосая девочка в голубом платье, та самая, которую Никита взял на площадку: она, очевидно, искала мать. Нина рванулась было к ней, но Никита осадил ее. Самолет, снизившись, небрежно, словно игрушку, кинул бомбу; полыхнул взрыв. Пыль рассеялась. Голубого платья не было. Вагон отшвырнуло, он загорелся. Нина зажала глаза кулаками, подкошенно села в рожь, простонав:

— О, Никита!..

Никита молча смотрел побелевшими от ненависти глазами на страдания, на гибель русских людей; кулак, захватив горсть колосьев, сжался до боли в суставах. Грудь до краев налилась тяжелым, точно свинец, чувством мести,— не продохнуть.

— Встань,— сказал он Нине. Девушка поспешно поднялась, прерывисто, со всхлипом вздохнула, сдерживая рыдания.— Идем! — Лицо у него было каменное, на скулах затвердели бугры, взгляд неподвижных глаз был сухим и неумолимым.

Они двинулись хлебами наугад. Позади, на высокой насыпи, цепочкой жарких костров пылал длинный состав вагонов.

— Сегодня вечером или завтра я отправлю тебя в Москву,— сказал Никита, прокладывая Нине дорогу в густой ржи.

— А ты?

— Я останусь здесь.

— Обо мне можешь не стараться, я останусь с тобой,— ответила Нина. Он не оглянулся, не замедлил шагов.

— Будет трудно,— произнес он после долгого молчания.

— Я не боюсь,— ответила Нина.

Вокруг стояла, купаясь в голубом текущем мареве, желтая поспевающая рожь; ласково, с нежнейшим звоном, шуршали ее колосья; вспархивали из-под ног прибитые оглушительными взрывами к земле жаворонки; трепеща крылышками, они взвивались свечкой, пели — испуганно и всполошенно. Далеко впереди, преграждая путь широкому ржаному разливу, вставал темной, хмурой стеной лес.

Никита молча и угрюмо шел впереди. За ним, ни на шаг не отставая, следовала Нина. Раза три он спрашивал, приостанавливаясь:

— Не устала?

Она тихонько подталкивала его.

— Иди, иди...

Они пересекли ржаной массив, миновали перелесок, прохладный и тихий, с густым, застоялым запахом трав, палых листьев и коры, и дорога вывела их опять в открытое поле. Далеко-далеко, казалось, на краю земли, тонул в синей мгле лесок, тоскливо и заманчиво влекущий путника.

— Отдохнем,— сказал Никита и снял с плеч мешок.

Они сели сбоку дороги на теплую, нагретую солнцем траву. В знойном безветрии зрели овсы, в зеленых стеблях стрекотали кузнечики. В небе недвижно застыли сахарной, ломкой белизны облака, должно быть, из них струились вниз песни жаворонков, такие осязаемо-ясные, что казалось, подставь кепку, и они звонкими, прозрачными хрусталиками натекут до краев. Нина не слышала ни песен, ни скрипа кузнечиков, даже василек, сияющий синей звездоч-

кой, не сорвала, а только примяла рукой. Она чутко и пугливо ловила другие шорохи земли, в широко раскрытых глазах ее как будто навсегда отпечатались испуг и боль,— картина бомбежки поезда неотступно преследовала ее. Никита с сочувствием улыбнулся ей.

— Сидеть с ножками на диване, у торшера, с книжечкой в руках куда приятнее... Из окна папиной библиотеки земля казалась нарядной, словно клумба цветов. А она, земля-то, вот какая! Загулял по ней огонь, полилась кровь...— Он растирал на ладони сухой, хрусткий листок: сильно тянуло курить, а табак давно кончился.

Нина вдруг встрепенулась, как вспугнутая птица, и вскочила: по дороге рассыпался характерный треск. Никита тоже встал. К ним, растягивая над овсом завесу пыли, мчался мотоциклист. Никита и Нина переглянулись: скрываться было некуда. Он чуть отодвинул девушку за свою спину, остро жалея, что безоружен.

Мотоциклист притормозил машину, уперся ногами в колею. Мотор сухо выщелкивал синий дымок. Гитлеровец, пыльный и утомленный, бесстрастно оглядел Никиту, потом Нину, едва заметно улыбнулся, медленно приоткрыв белый оскал зубов.

— Турист? — насмешливо спросил он.

Никита утвердительно кивнул. Немец ткнул большим пальцем себе в грудь и опять насмешливо произнес слово «турист». Затем он глухо, торопливо, с раскатистым «р» проговорил что-то, из чего Никита уловил лишь «деревня Журавка» — должно быть, спрашивал

дорогу. Никита махнул рукой в том направлении, куда ехал немец. Мотоциклист опять улыбнулся, снял фуражку, вытер лоб платком. Потом вынул пачку сигарет, прикурил от зажигалки. Никита с жадностью вдохнул запах дыма. Мотоциклист уловил этот вдох и протянул Никите пачку. Никита осторожно взял сигарету. Мотоциклист пробормотал что-то и показал Никите три пальца: бери, мол, три штуки. Тот взял. Прикурил от зажигалки, затянулся, прищурясь, глядя гитлеровцу в лицо: человек как человек, ничего зверского, «фашистского», не видно, лицо простое, даже приятное, разве только глаза, сине-белые, без блеска и тепла, выдавали его душу, холодную, равнодушную и безжалостную... Мотоциклист еще раз показал в улыбке белый оскал и уехал, затрещав мотором.

— Скажи, пожалуйста, какая гуманность! — усмехнулся Никита, провожая его взглядом.— Турист...

— Ты заметил, какие у него глаза? — сказала Нина обеспокоенно.— Мутные, словно мертвые. Ох, страшно попасться такому. Свернем с этого пути, Никита. А то возвратится — мы ведь не знаем, где эта Журавка,— тогда уж он покажет фашистскую гуманность...

К вечеру они достигли села Жеребцово, в семнадцати километрах от железной дороги. Над селом стояло затишье. Садилось солнце. Длинные темные тени легли поперек улиц. Куры отряхивались от пыли и тянулись во дворы. От избы к избе пробежали, что-то крича, два мальчика, и опять все смолкло. Никита и Нина обогнули прудик, затянутый зеле-

ной ряской; у берега прямо от воды вставали три молодых тополя. Путники поднялись на изволок к домам, свернули в проулок и постучали в окно. Женщина робко приоткрыла створку и торопливо объяснила, где сельсовет.

Сельский совет помещался в бревенчатой избе на площади, рядом со школой и магазином. На крыльце, занимая все ступеньки сверху донизу, сидел, полуразваляясь, громоздкий и ленивый парень с винтовкой между колен — Иван Заголихин, как потом узнал Никита. На подошедших к нему незнакомых людей он взглянул угрюмо и подозрительно.

— Что надо? — спросил он и пристукнул прикладом о ступеньку. — Кто такие? — Никита объяснил.

Иван нехотя поднялся и, сутулясь, прошел в сени, затем в избу. В окне появилась крупная лысая голова. Тут же скрылась. Иван, выйдя опять на крыльцо, мотнул головой, приглашая Никиту и Нину войти.

В избе находилось человек шесть мужчин — сельские коммунисты. Человек с широкой лысиной, с рыжеватой щеточкой усов, немолодой, грузный, спрятал бумаги в стол и оправил белую вышитую косоворотку, подпоясанную узеньким ремешком. Никита понял, что это и был председатель.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал Никита, проходя к столу и подавая руку сперва председателю, потом остальным; Нина присела на лавку у порога. — Нельзя ли у вас определиться? И вообще... обрести права гражданства...

Находившиеся в избе с удивлением, с затаенным недоверием смотрели на парня и на девушку. Невысокий, гладко выбритый, в кепке, с быстрыми черными глазами, инструктор райкома Мамлеев пересел к председателю, пригласил Никиту.

— Садись. Кто такие будете? Откуда? Куда?

Никита сел и положил на стол партийный билет, отпускное удостоверение, паспорт. Мамлеев и председатель тщательно просматривали документы. Коммунисты, подойдя, навалились грудью на стол, повертели в руках и паспорт и удостоверение.

— Кузнец, значит? — Мамлеев оторвался от документов, взгляд его стал пронзительным.

— Как же вас сюда занесло? — спросил кто-то с недоверием.— Почему не уехали в Москву?

— Может, ты там нужен позарез...

— И почему именно наше село тебе приглянулось?

Никита подождал, когда будут выложены все вопросы, потом обстоятельно объяснил, как он приехал в отпуск, как в деревне работал в кузнице, как узнал о начале войны, как шли они пешком, как разбомбили поезд и как он твердо решил остаться здесь партизаном. В неторопливом рассказе его коммунисты уловили правду.

— Как решим, товарищи? — Председатель Филипп Иванович Сквородников привстал, обдернул косоворотку.

Угрюмый, с черной ежистой бородкой и впалыми щеками человек глухо произнес:

— Если с чистым сердцем идет, без подвоха,

то пусть остается: в бойцах у нас нужда будет...

— Я тоже так считаю,— подтвердил Мамлеев и поглядел на Нину.— А это кто?

— Нина Сокол,— сказал Никита просто.— Она со мной.

Мамлеев оживился.

— Подойди-ка.— Нина приблизилась к столу, улыбнулась застенчиво и устало.— Воевать отважилась? Не боишься?

Нина поглядела сперва на Никиту: какой, мол, странный вопрос,— потом медленно перевела взгляд на Мамлеева.

— Я видела, как фашисты расстреляли девочку в голубом платье,— больше этого ничего не может быть...— Голос ее дрогнул от слез.

Никита заверил:

— Она у нас храбрая.

— Храбрые нам и нужны,— ласковым баском ответил Филипп Иванович Сквородников.

Мамлеев, встав из-за стола, положил руки на плечи Нины.

— Молодец, девушка! Жизнь дается один раз, и надо прожить ее по-настоящему, как там сказано у Павла Корчагина? Я дам знать родителям и в ЦК комсомола, что ты осталась у нас для выполнения важных заданий...

Филипп Иванович кивнул мальчику, пристроившемуся в уголке.

— Проведи-ка, Ежик, девушку к Марье Сердовининой, пускай отдохнет, пока мы посидим и подумаем, как нам встречать «гостя дорогого, непрошеного». Да хватит тебе чадить, весь воздух отравил! — крикнул он бородатому чело-

веку, который курил толстую самокрутку, наполняя избу удушливым зеленым дымом.

Вася Ежик вскочил, дернул Нину за рукав, увел,— она действительно выглядела усталой. С порога Нина поглядела на Никиту, он ободряюще улыбнулся ей: все, мол, в порядке.

В избе огня не зажигали, сидели в сумраке.

— Оружие у нас есть, но маловато,— с огорчением вздохнул Филипп Иванович.— Отступавшие войска оставили...

— Река, Филипп Иванович, начинается с маленького родничка,— успокоил председателя Мамлеев.— Лишь бы родник бился, не уга-сал...

— Подзайдем оружия у немца по ходу дела,— проговорил Никита спокойно и уверенно.

— Не сегодня-завтра они,— Филипп Иванович под словом «они» подразумевал немцев,— заявятся и к нам. Оставаться нам, коммунистам, в селе опасно. Я думаю, нам нынче ночью, вернее сейчас же, надо уйти в леса... Как ты полагаешь, товарищ Мамлеев?

— Да, надо обосновать и укрепить базу для отряда,— согласился Мамлеев.— Ты, Никита, может быть, отдохнуть хочешь или с нами пойдешь?

— Я уже достаточно отдохнул. Хватит. Прощу располагать мной в полную силу.

— Тогда не станем терять времени.— Филипп Иванович вынул из стола бумаги, подойдя к печке, сунул их в топку и поджег.

К сельсовету подошел Вася Ежик, проводивший Нину к Марье Сердовининой, звонко доложил Никите:

— Как легла, так и уснула... Катька,

Марьяна дочь, за ней присмотрит... я сказал ей!

Филипп Иванович зазвенел ключами. Он отпер кладовку, вошел туда и попросил Ивана Заголихина, часового, зажечь лучину. В кладовке у стены стояли винтовки и автоматы. Он брал по одной винтовке или автомату и протягивал в дверь, не перешагивая порога. Никита получил винтовку и несколько обойм патронов.

— Стрелять умеешь? — спросил Мамлеев.

— Была бы цель — не промахнусь.

Мамлеев любовно и ободрительно похлопал Никиту по спине.

— Цель не заставит себя долго ждать...

Восемь человек мужчин тихо в темноте покинули село и знакомыми тропами направились к лесу. Ни в одном окне не горел свет, но чувствовалось, что никто не спал, кроме самых маленьких детей: в предчувствии беды собирались по пять, по десять семей в одной какой-нибудь избе, ждали.

Немцы появились часов в одиннадцать вечера на трех грузовиках. Яркий свет фар, обшарив сиротливо примолкшие избы, длинными полосами лег вдоль улицы. Машины прошли в глубину села и там, на площади, остановились. И не успели еще погаснуть автомобильные фары, как вспыхнуло пламя: в сельсовете нашли оружие, здание облили бензином и подожгли. Солдаты рассыпались по улицам, застучали в запертые двери прикладами, — собирали жителей села к школе.

Нина спала на кровати, под белым тюлевым пологом, когда на крыльце раздался

громкий деревянный стук. Она вздрогнула во сне, но не проснулась. Катя, рослая девушка, приехавшая к матери на каникулы из Смоленска, сильно прижалась спиной к стене и заплакала. Мать побежала отпирать дверь. Фашистский солдат, войдя, осветил фонариком избу. Лучик задержался на Кате. Она все большее вдавливала лопатки в ребристые пазы. Ужас широко округлил и заледенил ее зеленые глаза. Солдат что-то проговорил и, оторвав ее от стены, легонько толкнул к двери. Дрожащий свет пылающего здания сельсовета обильно плеснулся в окна, затопил все алым пламенем, и гитлеровец выглядел красным, зловещим призраком. Он приподнял полог. Нина сидела на кровати, подобрав под себя ноги в белых носочках,— ее разбудил отчаянный вскрик Катинной матери. Она со страхом смотрела на появившийся перед ней страшный призрак. Фашист удивленно воскликнул «о» — какой, дескать, неожиданно богатый улов! — и протянул к ней руку. Нина решительно отстранила его руку и сама спрыгнула на пол: она все поняла. Рот ее был надменно сжат, глаза мстительно сузились. Солдат торопился, он не дал ей надеть туфли, сразу вывел на улицу следом за Катей.

На площади в текучих, мечущихся огненных полосах тесной кучкой, под охраной солдат, стояло человек шестнадцать девушек, молодых женщин и подростков. Катю и Нину присоединили к этой кучке. Подвели еще несколько девушек... За ними шли и плакали в голос матери,— их не подпускали к детям. Мужики затаенно толпились в сторонке, ожи-

дающе наблюдали. Лица их были угрюмы, свет пожарища делал эти лица как бы накаленными. Бревна, жарко пылая, трещали, углы здания оседали, крыша, прогорев, рухнула вниз, взвихрив в небо искры.

6

Мы подобрались к самой дороге и сели на траву.

Чертыханов ел морковь, громко хрустящую на его крепких зубах. Я сделал ему знак, чтобы он перестал жевать. И тогда тишину несмело прорезала свирель несмазанного колеса. Вася тотчас выскочил на колею.

— Ведут!

Прокофий крикнул ему сдавленно:

— Назад!

Вася вернулся. Я прошептал сердито:

— Ни одного шага без спроса! Понял?

Свирель пела уже явственнее, звук ее остро пронизывал грудь, вызывая резкие толчки сердца. К одинокому колесному скрипу постепенно примешивался гул тянувшегося обоза.

— Встретим? — спросил меня Шукин, pistolетом показывая на приближающийся обоз.

— Встретим. Ты отойдешь на сто метров вперед, в голову обоза, — сказал я, дрожа от охватившего меня возбуждения. — Ефрейтор Чертыханов и Василий Ежов отходят на пятьдесят метров... Открывать огонь после того, как я пропущу обоз и сделаю выстрел. Выбирайте ездовых и главным образом, охрану. Чертыханов бросает одну гранату. Только смотри, своих не положи...

— Можете быть уверены.

— А как же я? — недоуменно, почти плача спросил Ежик. — У меня оружия-то ведь нет...

— Завтра ефрейтор познакомит тебя с пистолетом. А пока привыкай.



— Держись за меня, Васька, — ободрил мальчика Прокофий. — Авань, не пропадем!

— Отходить в восточном направлении, к оврагу.

Обоз приближался. Донеслась приглушенная песня, тягучая и скорбная, как тяжкий вздох. Я удивился: ее пели женские голоса. Она родилась, должно быть, из плача и причитаний. Вскоре можно было различить ее слова — их подсказывало им горе и разлука: «Закатилось мое солнышко ясное... Не побегут мои ноженьки по росистой траве... Истечет мое сердце тоской-кручиной по своей сторонке,

по родному гнезду... Пропадет моя молодость на чужой стороне... Не увижу я родной матери...»

Должно быть, так же вот стлалась над некошенными травами горестная девичья песня,



когда монгол из диких косяков Чингиз-хана или Батыея на аркане уводил в полон сероглазых русских красавиц...

Колхозные лошади, запряженные в деревенские телеги, понуро тащили скудную девичью кладь. За телегами брели девушки-подростки — по пять — шесть человек в ряду. Ездовые сидели в передках возов или шагали вместе с солдатами конвоя. Первая подвода, за ней кучка девушек в белых платках, повязанных по-старушечьи, под шейку... Вторая подвода, и опять платки, тускло белевшие в полумраке... Пятая... Сердце у меня неистово

колотилось, автомат вздрагивал в руках.. А вот и последняя, восьмая. Три конвоира замыкали обоз. Они курили и о чем-то негромко беседовали между собой. Огоньки сигарет слабо освещали бесстрастные молодые лица. Они не запрещали девушкам петь и плакать, как погонщики не могут запретить овцам блеять и коровам мычать,— они равнодушны к чужому горю. По ночной, по пыльной дороге Нину, гордую Нину Сокол гнали в рабство... Ярость стянула кожу на скулах...

Я выпустил автоматную очередь прямо в огоньки сигарет... И тут же справа затрещали автоматы Чертыханова и Шукина. Грохнул гранатный взрыв; конвоиры упали. Пронзительно заржала лошадь. Фашисты, опомнившись, беспорядочно и непрерывно застрекотали очередями. Девушки завизжали и кинулись врассыпную. Мимо меня, прошуршав, мелькнули белые платки. Обоз смешался и опустел. Оставшиеся в живых немцы легли в кюветы или скрылись во ржи, стреляя наугад. Стонали раненые. Бились в оглоблях покалеченные взрывом кони.

Через полчаса мы были уже в овраге, заросшем мелким и колючим кустарником,— здоровые, невредимые, страшно возбужденные. Спина и грудь у меня были мокрые: знамя грело, как овчинный полушубок, мешало бежать, и я понял, почему сержант Коротов выглядел таким утомленным. Я не мог отыскать Нину: нам нельзя было задерживаться, да едва ли найдешь ее в темноте, во ржи...

«До свиданья, Нина»,— мысленно попро-

щался я с девушкой; я был убежден, что мы с ней встретимся...

На дороге стрельба прекратилась.

— Все разбежались,— заговорил Вася Ежик, возбужденно блестя светлыми круглыми глазами.— Я видел Катьку Сердовину, Маню Монахову, Кольку Каюма... Поранили Волну. Я на ней в ночное ездил, в пруду купал... Двоих фрицев уложили...

— Как он себя вел? — спросил я Чертыханова про Васю.

— На высоте.— Прокофий обнял Ежика за плечи.— Не боялся. Только нетерпелив больно. Все толкал меня в бок, чтобы я стрелял: наверно, говорит, у лейтенанта перекося или осечка... Дал ему стрельнуть из парабеллума. Ничего, пальнул, как по нотам...

— Как у тебя, политрук?

Шукин едва приметно улыбнулся, ответил сдержанно:

— Взяли круто. И все пока сходит удачно... Но до рассвета надо уйти километров на десять: скоро они начнут прочесывать местность. А вообще порядок, жить можно.

— Я знаю тут все дороги — проведу лучше, чем по компасу,— вызвался Вася Ежик.— Сейчас на Екатериновку дунем.

Он сидел на корточках спиной к Чертыханову. Прокофий замазывал его белый мешок грязью.

— А дальше? — Вася замялся, промолчал, как будто не расслышал вопроса. Прокофий похлопал по его мешку.— А дальше, спрашиваю?

— Дальше я не знаю,— сознался мальчик с

неохотой.— Названия деревень знаю, а как к ним пройти, забыл, честное слово.

— Я вот тоже, Вася, многих красивых девушек знаю, как звать, а как подойти к ним — вопрос. Нет такого компаса...— Прокофий последний раз шлепнул мокрой ладонью по мешку и оттолкнул мальчишку.— Все, Ежик, гуляй смело, ни один глаз не отличит — серая перепелка, и все.— Он пододвинулся ко мне.— Нет, вру, есть такой компас, товарищ лейтенант: бравый вид, пышная прическа, физиономия картинная к любому девичьему сердцу тропку найдут, и сама она, милашка, ключик в руки даст — отпирай светелку. А мне с моей харей куда соваться? Наедине со мной побыть еще туда-сюда, соглашаются, а на людях, скажем, под ручку пройти — ни боже мой! Никакими посулами не заманишь: засмеют, говорят. А наедине — пожалуйста, можно, говорят, побыть. С тобой, говорят, весело...

— Ага, значит, и у тебя все-таки есть тропа!

Чертыханов засмеялся, довольный:

— В жизни без своей тропы, товарищ лейтенант, — капут, как сказал бы фриц, которого я только что уложил отдохнуть на вечные времена.— Он взглянул на часы.— А время-то второй час.

— Пошли,— сказал я, хотя вставать не хотелось. Прокофий, как бы что-то вспомнив, спросил Васю:

— У тебя в мешке-то что?

— Не знаю. Мамка что-то положила.

— Давай-ка проверим, неровен час там попало что по женскому недоразумению, еще взорвешься.— Он хитро ухмылялся, явно на-

мереваясь поживиться в чужом мешке съестным.

— Оставь его,— сказал я. Но мальчик горячо запротестовал, быстро и с готовностью сбросил и развязал мешок.

— Берите, товарищ лейтенант, мне ведь не жалко.

Проворные руки Чертыханова извлекли из мешка ватрушку с искрошенным творогом, хлеб, пресные лепешки, мясо, завернутое в тряпку, комок масла в капустном листе, кусок сахара...

— Сахар оставь себе, подсластишься, когда будет слишком горько. А за то, что не жадный, для товарищей ничем не дорожишь, я дарю тебе пистолет. Разрешите, товарищ лейтенант?

Вася задохнулся, смотрел на протянутый ему пистолет, не веря своим глазам, очевидно, думал, что его только дразнят.

— Бери, стреляй без промаху!

Вася осторожно взял пистолет и медленно встал,— мечта его сбылась, он сделался обладателем настоящего оружия...

— Пойдемте, что ли...— Ему не терпелось выстрелить, он рвался теперь к счастливому случаю...

Прокофий поднес флягу со спиртом сначала Щукину, потом мне:

— Два глотка, товарищ лейтенант, для поднятия духа.— Сам он сделал все четыре и, завинчивая пробку, напомнил себе: — Надо пополнить запасы горючего...— Он вдруг неожиданно и настойчиво попросил: — Товарищ лейтенант, произведите меня в маршалы на одну минуту.

— Высоко берешь,— заметил Шукин, усмехаясь.

Чертыханов не смутился:

— Ничего, голова не закружится.

— Ну?

Выпрямился, прищелкнул каблуками ботинок, кинул ладонь за ухо и проговорил четко и без запинки:

— За удачное вызволение наших советских девушек от фашистской каторги объявляю, как по нотам, благодарность Верховного командования лейтенанту Ракитину, политруку Шукину.— Он сильно, как тисками, сдавил мне руку.— Поздравляю вас, товарищ лейтенант! Поздравляю вас, товарищ политрук!

— Служим Советскому Союзу! — ответили мы.

— Минута истекла,— сказал Чертыханов.— Я слагаю с себя высокое звание...

Мы стояли на дне темного сырого оврага и смеялись, как будто не было никакого налета на обоз, как будто не била нас дрожь в ожидании опасной минуты.

— Идемте же скорее,— спохватившись, заторопил Шукин.— А то останемся у немца под носом, тогда покажут нам высокое звание и благодарность... А девушек они выловят.

— Пускай вылавливают. Но девушки будут знать, что есть у них защита.— Прокофий Чертыханов. Мы их опять отобьем.

Было до слез обидно, что мы не могли освободить девушек навсегда, чтобы никакая угроза уже не висела больше над их головами. Но человек свободен тогда, когда свободна его земля. Обидно ходить по своей, по родной

земле в темноте, слышным, воровским шагом и до боли обидно лежать, уткнувшись лицом в грязь; жгучий стыд и злоба опалают душу. Овраги, яры, лесные заросли — наше пристанище.

— А Нину они теперь не выловят,— произнес я убежденно.— Она теперь будет умней.

Щукин подтолкнул меня локтем.

— Что ты говоришь? Какую Нину?

— Сокол,— ответил я и замолчал.

7

Рассвет застал нас в сырой, торфянистой низине. Низина была до краев налита матовым, волокнисто-вязким светом, и мы брели, словно в молоке. Молоко быстро начало оседать, воздух делался все более прозрачным; к ногам упали голубовато-мерцающие тени. У идущего впереди меня Щукина уже проступили из тумана голова и плечи. Ноздри приятно защекотал донесшийся сюда дымок: чувствовалось, что недалеко человеческое жилье. Мы остановились и прислушались. Со всем рядом загремели колеса то ли по булыжнику, то ли по бревнам, и тут же отчетливо, с разлету вторглась нам в уши грубая немецкая речь. Мы, как по команде, сели. Сквозь тусклую муть различили три подводы. Они медленно проехали, и опять стало глухо. Туман поредел, остались кое-где на дне низины бледные, зыбкие лужицы.

Неподалеку от нас приютилась на краю лощины сиротливая деревенька, голая, без единого деревца. К ней по низине пролегала гать.

Дни стояли жаркие, без дождей, дорога высохла, и настил из бревен и хвороста вздыбился по краям, отделившись от рыхлой почвы. Стало быстро светлеть, зыбкие туманные лужицы исчезли, и нас могли заметить. Деваться было некуда. Я ругал себя за то, что не пошел лесом, где безопасней и удобней, все хотел сократить дорогу. Теперь вот очутились, как на сковородке.

Пригнувшись, я подбежал к гати и кое-как втиснул себя в щель под настил, за продольные бревна, лег на самую середину. Здесь, должно быть, все лето, не просыхая, держалась грязь, не жидкая, но клейкая, засасывающая и холодная.

— Эх, товарищ лейтенант, куда загнал нас с вами подлюга-фашист, а! — сокрушенно, со всхлипом вздохнул Чертыханов, брезгливо морщась, погружая руки в кислую, пахнущую торфом грязь, но тут же успокоил себя: — А все потому, что жизнь свою ценю превыше всего на свете, хочу еще кое-что посмотреть на нашей грешной земле: ни черта я, кроме своей Калуги, и не видал. Ради жизни можно и в грязи боровом поваляться. А может, дай бог, я и поквитаюсь с фашистом за такой вот позор. Эх, поквитаюсь!.. — крикнул он, устраиваясь удобней.

Мы лежали вдоль гати попарно — я со Щукиным, Чертыханов с Ежиком, — голова в голову. Я чувствовал, как набухал сыростью бархат знамени, липкий холодок коснулся тела. Политрук долго не мог уgomониться, беспокойно ворочался, покашливая. Лежать предстояло до вечера. Прокофий считал нас не

приспособленными к таким житейским неудобствам и всеми силами старался облегчить наше положение, помочь.

— Товарищ политрук, подложите под щеку мой мешок.

— Ничего,— отозвался Шукин и скромно улыбнулся, как бы говоря: «Попал в грязь — не чирикай». Этот жаловаться, стонать и охать не станет, даже вида не подаст.— Ты лучше за Васей присмотри, трудненько ему с материнской перинки на такую постель ложиться. Да, Вася?

— Я не балованный.— Зубы Васи произвольно отстукивали дробь.— Я год в общежитии жил, там для белоручек ходу нет. Вот солнышко взойдет — и еще жарко станет.

— Ты под ним подкопай-ка ямку поглубже, Прокофий,— сказал я.— А то пойдет подвода, а еще хуже машина — прищемит...

— А что, если танк? — спросил Вася встревоженно, и светлые глаза его округлились. Он, очевидно, только сейчас осознал, что настил для того и положен, чтобы по нему ездить.

Чертыханов весело рассмеялся:

— Тогда, Вася, мы будем, как тесто, раскатанное для лапши.

— Танкам здесь делать нечего,— успокоил мальчика Шукин.— Боев тут нет...

Прокофий подкопал под Васей ложбинку.

— Вот тебе, Ежик, и могилка. И знать никто не будет.

— Что за глупые шутки! — прикрикнул на него Шукин.

Чертыханов тут же признался:

— Виноват, товарищ политрук, больше не

буду.— И, лукаво подмигнув, шепнул мальчику по секрету, хотя тут слышно было даже дыхание.— Видишь, как тебя оберегают: будто наследника турецкого султана.— Почему именно «турецкого султана», Прокофий, пожалуйста, и сам бы не ответил.— Ты поверни-ка оружие сюда, а то нечаянно продырявишь голову лейтенанту или политруку.— Вася послушно переложил пистолет, но руку от него не отнял.

Чертыханов умолк, склонив голову на ладони, и тут же послышалось тяжелое и громкое, со всхрапом, дыхание, похожее на вздохи усталой лошади; он уснул мгновенно. Было тихо. По дороге не проезжали и не проходили. Взошло солнце: в щель между бревнами настала упала теплая, золотистая полоска, осветила шею и небритый подбородок Щукина.

Потом незаметно для себя я задремал и сквозь дремоту вдруг услышал странный стук, приближавшийся к нам. Удары усиливались с каждой минутой, застучали над самой головой. Щукин толкнул меня в бок.

— Митя, подводы идут...

Все проснулись. Лошадиные копыта рождали сухой, бочковый гром: тук, тук, тук! Настил постепенно опускался. Вот бревна коснулись плеча, спины, мягко вдавливая нас в грунт. Заскакали окованные железом колеса по ребристой дороге, Щукин болезненно поморщился: ему придавило локоть. Вася сжался в комочек, на миг высунулся его вздернутый носик.

Лопатки больнее ощутили груз второй под-

воды. Протопали сапоги солдат. Гром стал отдаляться, постепенно стихая.

— Пронесло,— отметил Прокофий и опять уснул, изредка всхрапывая. Сон наваливался неотвязно и мучительно — не сон, а какая-то обессиливающая одурь. Грохот проезжающих подвод и шаги людей то нарастали, то опять стихали, и было такое ощущение, что стучали по ребрам то сильно, до боли, то слабо. К концу дня проползла, пересчитывая бревна, легковая машина. Настил, заскрипев и прогнувшись, плотно накрыл нас, вдавливая в грязь, и я вскрикнул: в груди как будто что-то треснуло. После такого пресса нажимы подвод казались уже нежными прикосновениями. Спать больше не хотелось, руки и ноги затекли и тупо ныли. Я взглянул на Васю Ежика.

— Жив, Вася? — Мальчик плакал, тихо, пощеничьи повизгивая. — Больно?

— Нет, я ведь в ямке, до меня и не достаёт... Мне вас жалко... Как вы морщились...

— Потерпим, Вася,— успокоил я его таким тоном, как будто ничего и не случилось особенного и все идет так, как положено. — На войне и не такое бывает... Правильно я говорю, Чертыханов?

— Как по нотам.

Политрук кряхтел, стараясь переменить положение тела. В густую щетину бороды налипла грязь. Она высохла, сизая корка сковала подбородок. Глубоко запавшие глаза взглянули на меня по-прежнему спокойно, чуть грустная насмешка над собственным положением сузила их.

— Кажется, я задыхаюсь,— произнес он насмешливо.— Этот конюшенный запах меня окончательно отравит...

Прокофий определил, неунываяще посмеиваясь:

— Пахнет кислыми щами.— Он громко чихнул.— Не переносу сквозняков... Против запаха, товарищ политрук, мы как-нибудь выстоим, вернее, вылежим. А вот если грузовик приутюжит, пожалуй, задохнемся слегка. Зачем нас сюда занесло? Мало ли в округности благоухающих рощ!

Но ни одна машина не прошла до самого вечера. Только простучали по ребрам лошадиные копыта и окованные железом колеса линейек. Кризис миновал. Настроение поднялось: ждать оставалось недолго. Вася приподнял курносую мордочку — мы почти столкнулись лбами,— сказал, глубоко озадаченный:

— А я, товарищ лейтенант, думал, что мы с вами всех сильнее...

Шукин настороженно переглянулся со мной.

— А мы действительно самые сильные.

— Скажете тоже! — Ежик усмехнулся: нашли, мол, дурачка, который вам поверит.— Сильные, а лежим под мостом...

— Это потому, Вася,— заговорил Прокофий Чертыханов, перенимая поучительную манеру Шукина,— что мы добрые и хорошие люди. Вот, например, лейтенант Ракитин,— да он мухи не обидит... Ты мне верь: я одним взглядом человека наизнанку выворачиваю. Или политрук Шукин: на всех смотрит спокойно, ласково, ему хочется всех по голове погла-

дить. Или я... Ведь слеза прошибает от умиления, какой я хороший! Птицы, а в особенности воробьи, не боятся меня, я им плохого не сделаю: замерзает пташка — домой принесу, отогрею; галчата — тоже. Ребятишек пальцем не тронул ни разу. Старушонки разные за подмогой ползут: «Иди, Проня, накрой избенку, почини крылечко...» Иду. Парни дерутся или мужики — меня зовут: «Скорее беги разнимать!» Бегу. И сколько же фонарей навешали на моем фасаде за мое радение, за разнимание! Ни одного крючочка не осталось, куда их еще вешать. Но я не обижаюсь, я прощаю: понимаю их несознательность. Иной распетушится почем зря; есть такие занудливые мужичишки — стукнешь его легонько по глупой башке, потом водой его отольешь — и, глядишь, одумался, протрезвел. По комсомольской линии бабам развеивал туман насчет бога, черта и домовых. Вот какой я человек, Вася! С меня иконы бы рисовать: святой! А я лежу вот по своей доброте в грязи, и по моему горбу фашисты прогуливаются, как по нотам... — Он продолжительно зевнул, широко раскрыв зубастый рот. — Эх, потянуться бы! Надоедает небось медведю целую зиму лежать в такой берлоге. Как только выберусь из норы — первым делом поваляюсь на траве. Так вот, Васек, — продолжал Прокофий свои наставления. — А фашизм, который взял нас внаскок, с лету, ведь он какой, как его надо понимать? Вот ты, скажем, рябой, кривой, а тебе со всех сторон кричат: ты красавец писанный! Ты плюгавенький, никудышный человечишка, а тебе кричат: ты лучше всех! Ты вор,

а тебе кричат: честный! Ты трус, а тебе орут: храбрец! Тебе, может, хочется пожалеть, а кричат: не щади, убивай! И выросло на земле зло, Вася. Зло столкнулось с добром. И как бы там ни было, как бы ни повернулось, а добро победит. Это уж обязательно. Понял? — Он помолчал, соображая, откусил лепешку, затем прибавил: — И еще, Вася, с генералами у нас неувязка. Каждая война родит своих генералов. В первую мировую войну были свои генералы, — я слышал и читал кое-что про Брусилова. В гражданскую войну родились свои, всем известные и любимые; знаешь такую песню: «Буденный наш братишка, с нами весь народ, приказ: голов не вешать и смотреть вперед! И с нами Ворошилов, первый красный офицер...» — вдруг бодро пропел он глухим, простуженным голосом; песня прозвучала в этой душной норе неожиданно и дико. Я вздрогнул.

— Тихо! Услышат...

— Виноват, товарищ лейтенант. В горле что-то застоялось, прочистить захотелось. — И опять к Васе: — Сейчас, Ежик, наблюдаем родовые схватки: рождаются новые генералы, такие, каких еще не было на земле. И поведут они нас в бой! И будем мы фашистские войска отхватывать косяками, кромсать на лоскутья. И доведут они нас до самого Берлина...

— Хорошо заливаешь, ефрейтор, — подхватил Шукин. — Прямо проповедник. Твоими бы устами да мед пить.

— Да, медок бы сейчас к месту, — живо подхватил Чертыханов, прищелкнув языком. —

Липового бы или гречишного, прямо из медо-
качки, тепленького, янтарного, тянкого,— да
на белый хлеб! Объядение!

У меня рот наполнился слюной, в животе
зажгло.

— Прекрати ты свою болтовню! — крикнул
я.— Не раздражай!

Прокофий стукнулся затылком о бревно на-
стила, хмыкнул и замолк.

Незаметно, еще засветло, к гати подполз ту-
ман, редкий, едва различимый. Сырость про-
кралась под настил. Голоса, которые порой
доносились из деревни, стали глуше. Вскоре
лощина наполнилась белой мглой.

— Выбирайся,— сказал я Чертыханову и
повернулся, отделяясь от теплой грязи. Ефрей-
тор ловко, одним движением, выскользнул из-
под настила, выдернул Ежика, помог вылезть
Щукину, а потом они все трое вытаскивали
меня: набухшее влагой знамя тянуло пудовой
тяжестью. Чертыханов сразу же предложил
по глотку спирта. Щукин отказался.

— Умыться! — вырвалось у него, как от-
чаянный вопль.— Полжизни за кружку во-
ды! — Он сел и потрогал свой заплесневелый
подбородок. Прокофий отлучился ненадолго и
вернулся с котелком, полным вонючей воды.

— Погодите, отстоитя малость. А потом я
вам полью...

Мы почистили одежду, развязали и выжали
знамя. Умылись. Я смыл с себя липкую грязь,
знамя свернул и положил в сумку, накрепко
привязав ее за плечами. Новые испытания и
беды ждали нас впереди.

По ночам деревни и села казались особенно темными и чужими. Затаившиеся на берегах речек, в черных тенях лесов, тревожно и угрюмо взирали они на низко нависшее над ними красное, в накале пожарищ, небо,— как бы придавила их мертвая тишина. Собаки были перестреляны, оставшиеся в живых, сорвав голоса, только яростно хрипели. Далеко уносился неожиданный и отрывистый окрик вражеского патруля...

В одном из селений, вставшем на нашем пути, было оживленнее, чем в других. В сумрачной глубине его всхлипывала губная гармошка, и два девичьих голоса негромко выговаривали частушку. А совсем близко, у крайнего двора, пела скрипка. У меня перехватило дыхание: что-то до боли близкое слышалось в этой печальной мелодии.

— Чайковский,— обронил Шукин, прислушиваясь.— Неужели это играет немец?

Я стоял неподалеку от огородов, прикрыв глаза. С такой могучей и тоскливой силой потянуло вдруг домой, к своим, что казалось, никакие кордоны не остановят — прорвусь! Потом я сел, примяв мокрые от росы стебли овса. Чертыханов тоже присел, обеспокоенный. Опустился на корточки и Вася.

— Устали, товарищ лейтенант?

Я покачал головой, с грустью признался Шукину:

— Нельзя нам слушать музыку, Алексей Петрович: душа делается мягкой, ласковой, а она должна быть жесткой, ощетиленной...

— Я их сейчас уйму! — Прокофий с готовностью выхватил гранату. Шукин остановил его.

— Не надо. Опять наделаем шума и останемся голодными.

Я с надеждой поглядел на ефрейтора.

— Поесть бы не мешало. Меня уже тошнит от моркови, репы и прочих витаминов...

— Разрешите сходить на добычу? — Чертыханов с решимостью встал.

— И я с вами.— Ежик сунулся своей мордочкой сперва к Шукину: — Товарищ политрук? — Потом ко мне: — Товарищ лейтенант? — Я увидел перед собой круглые глаза недремлющей ночной птицы, светившиеся нетерпеливым желанием выполнить какое-либо задание, и две дырочки вздернутого носика.— Я парнишка, в гражданском, мне легче к хате подкрасться... В случае чего скажу, что пробираюсь домой...

— Как, отпустим, политрук? — Я был не совсем уверен, что надо отпускать мальчишку от себя.

— Попробуем...

Проводив Чертыханова и Ежика, мы вернулись на опушку роши, клином подступавшей к селению, сели возле березы-тройчатки: три ствола от одного корня. Здесь было темно и тихо, настолько тихо, что долетала отрывками игра на скрипке. Среди деревьев в темноте все чаще возникал осторожный шелест шагов,— в лесу, в свежести сырых трав невидимые шли люди. Безмолвные тени изредка скользили близко от нас, заслоняя на миг тусклую белизну берез.

Вот трое, выступив из глубины на опушку, натолкнулись на нас,—руки инстинктивно схватились за оружие, предостерегающе звякнул затвор.

— Кто здесь? — Голос прозвучал хрипло и встревоженно.

— Свои,—отозвался Шукин.

И трое, повернув, пропали в темноте; один, приостановившись, спросил с безнадежностью:

— Закурить нет?

— Не курим.— И тот шумно вздохнул.

Через некоторое время показались двое новых, тоже щелкнули затвором, тоже спросили закурить и тоже канули в темноту. Затем еще двое — один с повязкой на голове. Потом четверо, среди них одна женщина, санитарка или врач. Ночные леса принадлежали людям разбитых полков. У них, как и у нас, не было ничего — ни пищи, ни курева, ни крова, ничего, кроме жажды жизни, жажды борьбы и веры в свою правоту. Их тянуло в строй...

— Мне кажется, что мы воюем уже очень давно,—проговорил Шукин задумчиво; он полужелал, прислонившись плечом к березе, в немигающем глазу дрожал красный отблеск далекого зарева.— И у меня такое ощущение, будто я на много лет постарел. Не физически, не по силам, а как-то по-другому. Я как будто приобрел какую-то большую ценность, о которой раньше не подозревал. Мудрость какая-то открылась.— Он повернул ко мне лицо, красный отблеск в глазу потух.— Недавно я жаловался, что задыхаюсь под настилом, противно было, а теперь вот знаю, что буду помнить этот грязный настил всю жизнь. И чем дальше

буду отходить от него, тем он дороже для меня станет...

— Но кто-то ведь должен ответить за то, что ты постарел. И физически,— заметил я.— Я еще во многом не могу разобраться, Алексей Петрович... Когда я учился, к нам в школу — это было перед финской войной — приезжал один генерал с докладом. Он смело и уверенно говорил нам такие вещи, что у меня от радости и от гордости вырастали крылья: «Вот мы какие!» Он оценивал фашистскую армию как сильную и боеспособную. Но тут же жестоко и с лихостью разбивал ее наголову нашими корпусами. Он сказал, что линия Мажино для немецких танков неприступна. Но что наши танки по железной щетине вколоченных в землю рельсов пройдут, как по траве. Зачем он нам это говорил? Серьезный генерал — и вдруг хвостун. Теперь я вижу, что хвостун!..

— Хвастаться плохо, но всегда быть уверенным — хорошо. А вообще, Митя, оглядываться сейчас назад — что да зачем — не время. Надо выходить из создавшегося положения...

— И из окружения,— подсказал я, усмехнувшись.

Мы замолчали. Лес загадочно шелестел от шагов, непрерываемо двигались в темноте люди.

Прошел час, а Чертыханов с Ежиком все еще не появлялись: не напоролись ли на патрули? Я пожалел, что отпустил мальчишку... Слабо светящиеся стрелки часов Шукина показывали десять минут второго. Прошло еще двадцать минут. Я встал. Зарево на востоке

меркло, уменьшаясь. Ночь стояла безлунная, непроницаемая, глухая, и я не мог ничего разглядеть, как ни всматривался в сторону селения.

— Придут,-- уверенно сказал Щукин.— Садись.

Слева из лесу донесся беспокойный и прерывистый посвист — это были позывные Чертыханова. Я ответил таким же свистом, только слабее, и вслед за этим сразу же раздался тяжелый топот. Ефрейтор, подбежав к нам, бросил мне в ноги что-то большое и увесистое и вдруг, по-медвежьи взревев, неистово замахал руками, словно кто-то невидимый схватил его за горло и душил.

— А, черт! — ревел он, вертясь волчком.— Ох, зараза! Чтоб ты пропала! Вот тебе! Получай, получай! — И колотил себя по лбу, щекам, шее.

Вася Ежик, сгибаясь и приседая, давился от смеха.

От Чертыханова исходило тонкое гудение. Гудело и то, что он кинул мне под ноги. Тоненько и зло запищало у меня на затылке. Потом в шею вонзилось жало. Подпрыгнул ужаленный Щукин. Я все понял: пчелы! Они тонко и мстительно пищали, норovia вонзить свои острые пики в лицо. Прокофий рычал, чертыхался и махал руками. Наконец грохнулся на землю, спрятал лицо в согнутые локти.

— Терзайте, гады! — простонал он.

Вася Ежик смеялся, захлебываясь.

— Васька! — крикнул Прокофий.— Наломай березы да веником их! А то я погибну. Без боя.

Вася быстро наломал веток и, заслоняя рукавом лицо, стал сметать со спины его, с затылка вконец озверевших пчел. Я отгонял их с сотов.

Через полчаса мы кое-как утихомирили, развеяли разбушевавшиеся рои, и Чертыханов поднялся. Сел, отдуваясь.

— Ну и злые, окаянные, злее фашистов,— с изумлением произнес он,— осторожно притрагиваясь пальцами к ужаленным местам.— Влип я, товарищи: понаделали они на моем фасаде косогоров, сам черт ногу сломает! Скоро закроется от меня белый свет: выбыл из строя боец по причине кражи меда...

Одинокая пчела, застряв в волосах, жужжала пронзительно и въедливо; он нашел ее и равнодушно выбросил. У меня от укусов горели руки, косточки пальцев и шея ниже уха. Шукину пчела спикировала на щеку, он тихонько потирал ладонью место укуса. Ежик остался невредимым. Мы с сочувствием смотрели на ефрейтора, присев возле него на корточки. Глаза его постепенно тонули в припухлостях век, виднелись лишь проблески в узеньких щелочках.

— Говорят, пчелиный яд уничтожает ревматизм,— с грустью успокаивал себя Прокофий.

— Разве у тебя ревматизм в глазах? — заметил Шукин хмуро; он, видимо, хорошо понимал всю серьезность его положения.— Зачем тебя занесло на пчельник?..

Чертыханов покаянно вздохнул:

— Известно зачем — за медом. Сладкого до смерти захотелось. Так захотелось, что, если не лизну разок, ноги протяну, погибну.

— Вот и лизнул...— Щукин сокрушенно покачал головой.

— Ох, не говорите, товарищ политрук! Хоть шоры мне повесьте, как балованному мерину, чтобы меня не качало в разные стороны...— Чертыханов опять тяжело вздохнул, касаясь концами пальцев глаз.— Да и вас захотелось угостить медком. Ведь напали-то мы сразу. Женщина, у которой хлебом разжились, указала на один двор: «На огороде,— говорит,— ульи стоят, идите,— говорит,— берите меда, сколько вам надо, хозяин,— говорит,— немцев с хлебом-солью встречал, все равно,— говорит,— весь мед фашисты сожрут...» Ну, как тут не воспользоваться случаем, товарищ лейтенант? Мы и пошли... «Ты,— говорю,— Вася, стой на часах, а я пошарю...» Двенадцать ульев я насчитал. Ох, и оборонялись же они, пчелы, ох, и грызли, что тебе цепные псы! Не успел я расковырять первый улей, как они мне угольков за ворот подсыпали, а в рыло будто кипятком плеснули, как в огне пылаю!.. Восемь ульев откупорил, искал рамки, какие потяжелее. Пчел вокруг меня туча. Бьют в одно и то же место — в глаз. Как по нотам! Но я все-таки выстоял, своего добился, приволок шесть рамок, полнехонькие, запечатанные... Угощайтесь... Вася, нарежь соты, дай хлеба... Придется тебе поводырем у меня побыть, Ежик: временно слепой буду...

— Как великий Гомер,— подсказал Щукин.— Был в древности слепой странствующий певец, поэт и мыслитель...

— Вот, вот,— покорно согласился Чертыха-

нов.— У нас в деревне тоже двое слепцов ходили с мальчиком-поводырем. Они пели:

Мы, слепцы, по свету бродим,
Подаяния у зрячих просим,
Хоть мы ничего не видим,
Но зато мы много слышим.
Ох, горе, горе, горе нам великое...—

тягуче, гнусаво, подражая слепцам, пропел Чертыханов, выставив вперед ладонь. Утерпеть было невозможно. Мы рассмеялись. Весело заливался Вася Ежик...

Мы наскоро поели хлеба с медом — пища богов!— и тронулись дальше, чтобы покрыть побольше пути, пока Прокофий еще мог видеть.

На лесных тропях и полянах мы встречали все таких же молчаливых людей, неслышно, сторонкой, настороженно пробирающихся на восток, по двое, по трое, иногда целой группкой... Некоторые сидели, передыхая, среди деревьев, и мы, наткнувшись на них, так же окликали: «Кто здесь?» Другие в глубокой чаще, подальше от дороги, пекли в костерике картошку...

Немцы, должно быть, не подозревали, что следом за ними движется огромная масса людей, или знали, но не придавали этому значения: мы разбиты, разобщены, из кольца нам не вырваться, и рано или поздно наступит наш черед...

— Знаете, товарищ лейтенант,— заговорил Чертыханов, как всегда шагая сзади меня,— что нам сказала та женщина, где мы хлебом разжились? Немцы уже захватили Москву...

Меня точно изо всей силы ударили в грудь.

— Откуда она узнала?

— У них, у немцев, в газете напечатано. И с фотографией. Газетку я захватил, вот она.— Прокофий достал из кармана истертый листок, должно быть, армейской газеты. Посветил фонариком. На сером, неясном снимке я увидел знакомую зубчатую кремлевскую стену, Спасскую башню с часами, а возле ворот немецких солдат, прогуливающихся по площади. Я привалился к стволу березы, ощутив вдруг слабость в ногах, с надеждой посмотрел в глаза Шукину, прошептал:

— Неужели это правда?..

— Вранье,— определил Шукин дрогнувшим голосом.— Пропагандистский трюк.

— Хотят цену себе набить,— поддержал Прокофий.

— Подождите немного,— сказал я, опускаясь на землю.

Вася подумал, что я обессилел, и заботливо протянул мне котелок с сотами.

— Закусите немного, подсластитесь...

Я слабо улыбнулся.

— Спасибо, Ежик. Такую горькую пилюлю, какую преподнес Чертыханов, никаким медом не подсластишь...

Шукин молча наблюдал за мной своим изучающе-пристальным учительским взглядом. Мне было неприятно от сознания, что мою уверенность могут легко поколебать всякие вздорные слухи, поддельные снимки. Мне стало стыдно перед Шукиным, Чертыхановым и даже перед Васей Ежиком: поверил, что немцы взяли Москву, коленки задрожали... Я решительно, рывком встал — прочь всякие сомнения, предположения, догадки! Надо действовать,

— Пошли, друзья! Дойдем. Все равно дойдем.

Шукин тихонько и одобрительно похлопал меня по плечу.

Прокофий все чаще спотыкался, раза два натолкнулся на стволы деревьев, больно ушибаясь: места пчелиных укусов, вздуваясь, все плотнее смыкались над глазами, и левая рука его уже легла на плечо поводыря. Но он терпеливо шел, боясь признаться, что ничего не видит. Он даже тихонечко посвистывал: хотел доказать, что бодр и весел.

— Что ты вертишься под ногами? — крикнул Чертыханов, наступив на пятки Васи, когда мальчик задержался перед канавой.

— Тихо, тут канава, — предупредил Ежик. — Шагайте шире. — Прокофий пальцем приподнял припухшее веко, поглядел под ноги и перешагнул.

— Видишь? — спросил я. — Идти еще можешь?

— Нет, не вижу, — признался Чертыханов. — Но дорогу к дому чую, товарищ лейтенант. Слышу, вроде бы родным дымком потягивает. В школе я слабоват был по географии. А теперь сдал бы ее даже в таком виде, слепой: землю-матушку на ошупь знаю, воду в реках отведал на вкус, почву изучил с помощью красноармейской лопатки — известняк, суглинок, супесь, — леса прошел и обнюхал, как волк... — Он споткнулся и выругался беззлбно. — Даже вот пеньки сосчитал...

Шукин прервал его:

— Болит?

Чертыханов помолчал, решая, как ответить.

— Не то чтоб уж очень болит, а так, кружение в голове какое-то, будто я вместо водки по ошибке олифу выпил. И сильно греет, товарищ политрук, думаю, градусов на триста накалилась физиономия. Если плюнуть — слюна закипит...

9

Пришлось искать привал. Мы дошли до оврага, темного и глухого, волчьего, спустились вниз и засели в лозняке. Под ногами захлюпала вода; дно оврага сочилось влагой, возможно, пробивались студеные ключи. Здесь можно будет отсидеться хоть неделю... Выбрали местечко посуше. Шукин срезал ножом прутьев на подстилку — обосновались. Чертыханов лег, он уже не видел наступившего рассвета... Только сейчас можно было разглядеть, как обезобразилось его лицо: все в буграх, розоватых и мягких, между буграми, где должны быть глаза, виднелись в прорези кончики белесых ресниц, нос потерял всякое подобие носа, одну щеку разнесло больше, нижняя губа отвисла вниз и вбок. Было жаль ефрейтора, и в то же время невозможно удержаться от смеха. Вася смотреть на него не мог, отворачивался и визгливо, тоненько хихикал.

— Никогда не думал, что пчела такая вредная и злая тварь,— жаловался Прокофий.— Меня и раньше кусали, но то были не укусы, а щекотка... Я все-таки додумался, товарищ лейтенант, почему они на меня так взъелись: за фашиста меня приняли. Факт. Ошиблись!..

Вася выкопал ямку, в нее тотчас набежала вода, отстоялась. Он намочил платочек и на-

ложил его, влажный и прохладный, Чертыханову на глаза. Прокофий облегченно вздохнул.

— Ох, хорошо! Спасибо, сынок. Меняй почаще... Где мы залегли? — Я объяснил, и он похвалил: — Это хорошо. Можно спокойно уснуть.

В овраге было глухо и свежо, пахло мокрым илом и ивовыми корнями; лишь тревожил тишину шелест сочившихся родничков да, пронюхав про наш тайник, появились две сойки, застрекотали, облетая кусты.

Мы «легли в дрейф», как определил Шукин. Наступило томительное безделье, минуты тянулись втрое дольше. Шукин достал из полевой сумки бритву, поправил ее на ремне; Вася вынул из мешка розовый кусок земляничного мыла.

— Все время такое ощущение, будто на подбородок налипла паутина, — сказал Шукин, как бы оправдываясь передо мной в том, что не вовремя затеял наводить красоту. Глядясь вместо зеркала в воду колодца, он намылил щеки. В это время низко над оврагом прошли самолеты — несколько звеньев.

— Наши! — крикнул Вася и затормошил Чертыханова. — Наши! Двенадцать штук. Смотрите!..

В ответ Прокофий лишь кротко попросил:

— Перемени примочку.

Шукин брился торопливо, словно самолеты подали ему особый знак и надо было куда-то спешить. Умывшись, он предстал перед нами свежим и помолодевшим, только острее стали выпирать скулы да глубже ввалились щеки. «Пища богов» стояла в котелке нетронутой; мы объелись ею до отвращения, даже язык

сделался шершавым и припух. Рой ос жужжал над сотами, да Вася Ежик нет-нет да и подденет пальцем прозрачную и душистую сладость, облизнет, причмокивая и жмурясь. Мы со Щукиным ели посыпанный солью хлеб, запивая его водой.

Меня угнетала бездеятельность; преступно отсиживаться вот так, в кустах, когда там, на пути к Москве, а может быть, уже на ее подступах идет битва. Перед глазами возникали молчаливые тени,двигающиеся по ночным лесам и проселочным дорогам. «Люди ожесточены, в их руках оружие; объединившись, они могли бы создать значительную угрозу в тылу немцев и оттянуть какую-то часть сил противника, рвущегося на восток...»

Оставив Щук на с Чертыхановым, мы с Ежи-ком выползли из оврага, чтобы оглядеться и определить, где находимся,— может быть, можно идти и днем... Вася зайцем прошмыгнул вперед, вскарабкался по крутому склону на кромку оврага. Я видел, как у него сначала вытянулась шея, потом он присел и сжался...

— Машины идут прямо по полю, на нас,— выпалил он, з хлебываясь от волнения. Мы скатились на дно.

— Тебя заметили? — спросил я.

— Не знаю. Нет, наверно, я только голову чуть-чуть выставил.

Послышался гул приближающихся к оврагу машин. Мы со Щукиным переглянулись: из оврага выхода не было. Чертыханов вскинулся, сдернув с лица платок, нащупал гранату.

— В случае чего, товарищ лейтенант, бросайте меня, спасайтесь, я взорву гранату в ру-

ках.— Он в ярости скрипнул зубами, простонал: — Ну, спасибо, пчелки, удружили вы мне, гады!..— Он приподнял припухшее веко, прорезалась тоненькая синяя черточка.— Вася, вырежь-ка мне сюда подставочки из прутьиков...

Почти на самом краю оврага развернулись и стали в мелком березняке бронетранспортер, два грузовика с зенитными установками и машина с крытым кузовом. Вражеские солдаты не спеша прыгнули на землю и огляделись, сонно потягиваясь и зевая. Потом они поставили две небольшие пестрые палатки, чтобы укрыться от солнца; раздевшись до пояса, стали мыться, нацеживая воду из бака, хлопали друг друга по голым спинам, плескались, смеясь и озоруя. Почему они выбрали именно это место для своих позиций, непонятно, как многое бывает непонятно в жизни и привычках чужих армий, народов. О нашем присутствии здесь они, конечно, не подозревали, хотя мы притаились в пятидесяти метрах от них. Вскоре мы поняли, что им не было надобности спускаться вниз, в кусты. Но уголек, который они, появившись у нас под носом, невольно забросили мне в грудь, жег нестерпимо,— то немного остывал, то опять разгорался. Было мучительно оттого, что жизнь наша зависела от случайности... Посмотрит солдат в овраг, на кусты, на стрекочущих сорок, и нам уже кажется, что он нас видит, произойдет короткая схватка, и конец.

Немцы-зенитчики явно томились от безделья. Они читали газеты, валялись на траве, один, без рубашки, с крепким бронзовым телом и волосатой грудью, жонглировал палками. Потом

они включили радиоприемник. И опять, как и тогда на дороге, зазвучала над угрюмым, сумрачным оврагом танцевальная музыка — фокстрот, затем любимый мною вальс Штрауса «Сказки Венского леса». Солдаты пытались танцевать, дурачась, высоко взбрыкивая ногами. Я ненавидел их люто, до темноты в глазах: они, дурачась, кружатся на нашей земле под музыку Штрауса, им легко и весело, а я заполз и затаился в сырых кустах, в полумраке, и раскаленный уголь нестерпимо жжет мне грудь...

— Веселятся, гады, как но нотам.— Чертыханов горько усмехнулся.

Вася отрезал от прутика коротенькие пеленки и, приподняв распухшие веки Чертыханова, вставил, неопишимо обезобразив его. Вася икал от смеха, несмотря на трагичность нашего положения.

— Хоть больно немного, но хорошо. Теперь, товарищ политрук, я в своем глазу не то что сук — бревно замечаю. Только бы не приросли эти бревна навсегда... Видишь, скачут, как стоялые жеребцы,— кивнул он в сторону веселящихся немцев.

В полдень зенитчики стали варить обед. Худой, длинноногий солдат без кителя, в одной нижней рубаше прошагал к крытому грузовику. По железной лесенке взобрался к дверце, отпер ее и нырнул в кузов. И сразу же, захлестывая музыку, раздался гогот и хлопанье крыльев перепуганных гусей. Из дверцы полетели белые перья. Один гусь, должно быть вырвавшись из рук немца, выметнулся наружу; тяжелый, он с криком полетел в овраг,

плюхнулся жирным брюхом в землю и, упираясь крыльями, рывками заковылял прямо к нам, намереваясь в кустах найти спасение. Солдаты загоготали громче гусей над своим незадачливым поваром. Тот взял автомат и начал спускаться за гусем.

Гусь просунул в кусты длинную шею и обесиленно лег, распластав крылья и раскрыв красный клюв. Мне он показался черным — за ним шла смерть. Солдат спускался не спеша. Мы держали оружие наготове. Чтобы успокоиться и занять себя чем-нибудь, Вася Ежик строгал тонкий и прямой прутик. И точно кто-то невидимый подтолкнул его руку: мальчик схватил этот прутик и, вытянувшись, ударил гуся по красному клюву. Гусак шарахнулся в сторону. Длинноногий немец, не достигнув кустов, свернул вправо и спокойно пристрелил птицу. Взвалив гусака на плечо, он потащился в гору, к машинам.

Я посмотрел на Шукина. Он был бледный, почти зеленый, на гладко выбритых щеках его вдруг резко проступила жесткая щетина.

— Чертыхан, где у тебя спирт, дай глотнуть,— попросил он, чего раньше никогда не делал. У Прокофия дрожали руки...

А над оврагом все звучала веселая танцевальная музыка.

И вдруг налетел вихрь — отрывистая команда оборвала танго, солдаты кинулись к установкам, низко над землей стлались наши самолеты. Гулко забили вражеские пулеметы, поворачиваясь вслед за стремительным ходом машин. Скорострельная пушка с бронетранспортера часто и упорно долбила небо. Само-

леты, пролетая над грузовиками, хлестнули почти настильным, секущим огнем. Развернулись и еще раз хлестнули. Пули с визгом срезали прутья у нас над головой, мы могли быть убиты. Но сердце все равно плясало, прыгало от восторга!

Вспыхнул подожженный бронетранспортер; убитый пулеметчик неловко свесился через борт машины.

Самолеты ушли. Немцы втащили убитого в кабину и укатили туда, откуда прибыли,— бросили горящий бронетранспортер и рядом с ним костер, над которым в котле варился гусь.

10

Когда стемнело, мы простились с нашим убежищем, со студеным, освежающим родничком и выползли из оврага. Пенечки и подставочки в глазах не помогали Чертыханову, его за руку вел Вася Ежик. Взобравшись на бугор, Прокофий полной грудью хватил пахучего вольного ветерка и весь радостно передернулся, настороженный: нос его, хоть и распухший, учуял вкусный запах.

— Гусятиной тянет,— почти простонал он.— Убей меня бог, гусятиной!.. Неужели немцы оставили? Вася, подведи меня поближе, я хоть надышусь досыта... Вот удружили так удружили!..

Брошенный немцами костер уже догорел, под котлом, присыпанные пеплом, дотлевали угли и головешки. Мы ели суп, еще теплый, прямо из котла, одной ложкой, сохранившейся у запасливого Чертыханова. Суп показался нам слаще меда, хотя и отдавал немного кислой

пряностью сгоревшего пороха и меди; со дна из-под кусков гусятины Шукин извлек две стреляные гильзы, угодившие в котел во время перестрелки. Чертыханов громко чмокал, обсасывая жирные кости, и растроганно восклицал: — Ах, крылышко!.. Ах, шейка!.. Объединение! Мне начинает улыбаться наша такая жизнь... — Остатки мяса он завернул в зеленые листья коневника и спрятал в сумку про запас.

В небе недвижно стояли облака, негустые, рыхлые, и звезды как бы вязли в них — лишь кое-где пробьется одна, помигает нам и опять скроется. Я боялся, что мы собьемся с «курса». Мне стало казаться, что мы заколдованно кружимся по одному и тому же месту, не в силах отыскать нужное направление, как в лабиринте, и я досадовал, что ночи все еще слишком коротки: не успеет померкнуть горизонт на западе, как уже встает, улыбаясь, румяная и молодая заря на востоке.

...И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

В ту минуту я вспоминал Пушкина без особого восторга...

Часа через полтора, пройдя поле по бездорожью, перебравшись еще через один овраг, мы приблизились к лесу. Отсюда, из лесу, я решил больше не выходить.

Вскоре нас остановил тревожный и неуверенный окрик — так окликают часовые, которые боятся темноты и одиночества:

— Стой! Кто такие?

— Свои,— отозвался Шукин, смело шагая на голос. Мы были убеждены, что это красноармейцы, блуждающие, как и мы, по лесам.

— Стой, говорят! — повторил часовой более строго и грубо, и вслед за тем в листве как будто вспыхнула спичка — бахнул выстрел.



Шукин присел и выругался.

— Вот дурак! На черта ты палишь? С ума спятил...

— А зачем идете, если говорят «стой»? — Часовой щелкнул затвором, перезаряжая винтовку.— Вот проверят, кто такие, тогда ступайте...

Ежик оставил ослепшего Чертыханова и, подойдя к Шукину, дернул его за рукав, прошептал:

— Что-то мне голос этот знакомый, товарищ политрук.— И окликнул затаившегося за

стволами часового: — Иван! Эй, Иван! Заго-
лихин!

— Чего тебе? — нехотя и с недоверием заго-
ворил часовой после долгого размышления.—
А ты кто? Ежик, что ль?

— Ну да! — Мальчик кинулся к Ивану, ра-
достно затараторил:— Ты что тут торчишь? От
немцев прячешься? Товарищ лейтенант, идите
сюда, это Иван Заголихин, наш жеребцовский!..

Из сумрака, из-под мохнатой ели лениво вы-
ступил громадный парень с винтовкой напере-
вес; чуть пригнувшись, взгляделся в лицо мне,
потом Щукину:

— Убери винтовку, а то еще продырявишь
со страху,— насмешливо посоветовал Щукин,
отводя от себя дуло винтовки.

Иван обиделся:

— Кого это мне страшиться в своем лесу?..

На выстрел из темноты появились еще трое.
Один из них, грузный, неторопливый, с тускло
белевшей широкой лысиной, шагнул к нам.

— В чем дело?

— Дядя Филипп! — взвизгнул Вася Ежик,
бросаясь к нему на шею.

— Васька! — Филипп Иванович, видимо, ни-
чего не понимал.— Как ты сюда попал? Вот
чертенок!..

— Мы третью ночь здесь плутаем,— доло-
жил мальчик, захлебываясь от охватившего
его восторга.— Из окружения выбираемся. Со
мною товарищ лейтенант идет, товарищ полит-
рук и еще один... слепой мыслитель Гомер...—
Вася тоненько, въедливо хихикнул.— Мы на-
ших девок от плена отбили, помните, ночью,
когда ваш сельсовет горел? Катьку Сердови-

нину, Маню Монахову, Кольку Каюма...—
Вася подскочил к двум другим, безмолвно
стоявшим поодаль, намереваясь что-то сооб-
щить и им, но увидел, что незнакомые, при-
молк. Один из них, Мамлеев, приблизился
к нам, поздоровался за руку

— К своим пробираетесь?

Второй, стоявший под елью, кашлянул и про-
изнес то ли осуждающе, то ли с сочувствием:

— Как много вас идет...

Я оцепенел, с минуту стоял, как бы при-
гвожденный этими словами. Попытался закри-
чать, но захлебнулся, крикнул еще, и опять
спазма сдавила горло, я только прошептал
едва слышно, одними губами:

— Никита!..— Споткнувшись о корень, я
упал на Никиту Доброва. Он меня тоже узнал
и тоже только и смог прошептать:

— Димка!..— Мы обнялись, сдавливая друг
друга.— Димка, родной мой... Жив?..

— Вот это встреча! — отметил Филипп Ива-
нович растроганно и зашагал прочь, оставляя
нас одних.

Так мы встретились с бойцами одного из
первых, еще малочисленных, еще неопытных,
еще не совершивших ни одного боевого по-
двига партизанских отрядов. Должно быть, ка-
кая-то сила не выпускала меня из заколдован-
ного круга, чтобы я мог повидаться с Ники-
той...

— Где Нина? — спросил я.

— Здесь, со мной!

Опять предательская, немужская слабость
подкосила мне ноги. Я сел возле дерева, еще
не веря Никите. Он присел рядом.

— Когда я узнал, что ее немцы угнали в Германию, то, знаешь, я, здоровый парень, потерял сознание. Потом мы сели на лошадей и — в погоню за обозом. Я или отбил бы ее или бы погиб... — Он долго свертывал папиросу трясущимися пальцами, рассыпая табак, прикурил, осветив на миг свое похудевшее лицо. — Но, к счастью, мы опоздали: на дороге уже гремели выстрелы, девушек освободили без нас, они все вернулись в село. Среди них была и Нина... За это освобождение, за убитых немцев Жеребцово расплатилось сполна: его утром же и выжгли. Хорошо, что в ту ночь мы увели весь скот, вывезли хлеб, картошку, овощи.

Из темноты, куда Филипп Иванович и Мамлеев увели Щукина, Чертыханова и Васю, доносилось ленивое мычание коровы, тонкое, льстивое козье бляение; испуганно встрепенувшись, запел петух, за ним второй, — жутковато слышать в лесу полночный петушиный крик...

— Никогда не воображал себя партизаном, а вот, видишь, пришлось стать им, — проговорил Никита. — Как все перевернулось, Дима!..

— У меня такое ощущение, Никита, будто все страдания, которые испытало человечество за многие тысячи лет, достались мне одному, легли вот сюда, в грудь. На моем теле нет поры, куда бы ненависть не приложила свои огненные ладони... Смерть не раз вставала рядом и заглядывала мне в душу своими пустыми глазами. Но отступала... Из тридцати одного человека в роте уцелело, быть может, пять-шесть. Я начинаю верить в свою звезду. Я часто вижу, как звезды, отсветив свое, падают, и думаю: вот еще чья-то голова поникла.

Моя звезда где-то держится еще, светит... По-запрошлым днем мы лежали под настилом, лицом в грязь, по нашим спинам немцы стучали каблуками, проезжали повозки.

Помнишь, у Белинского сказано, что у всякого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты; и о человеке можно безошибочно судить, только смотря по тому, как он действовал и каким являлся в эти моменты, когда на весах судьбы лежали его и жизнь, и честь, и счастье. И чем выше человек, тем грандиознее его история, критические моменты ужаснее, а выход из них торжественнее и поразительнее... Мы переживаем критический момент. Говорят, немцы Москву захватили?..

— Я тоже слышал об этом. Но не верю. Захватили они ее или нет, от этого борьба наша не ослабнет, она будет только жестче. Немцы еще не подозревают всего того, что для них готовится в тылу. Теперь каждая деревня — отряд. Скоро они, фашисты, почувствуют их силу.

— Что делает ваш отряд? — спросил я.

— Пока еще ничего не сделал, только намечаем. Трудновато с непривычки-то... Оружие у нас сгорело в сельсовете, придется доставать. На завтра наметили первую вылазку. Может быть, примете участие?

— Нет, — отказался я. — Будем пробиваться к своим...

— Ты из Москвы когда выехал? — Я понял, что Никита хочет узнать о Тоне, но прямо спросить стесняется.

— Уезжал — никого не видел, — сказал я. —

Тоня при мне еще не вернулась с юга...— Я почувствовал, как плечо его толкнулось о мое плечо, успокоил: — Но она не потеряется, выберется... Соседка сказала, что заходил к нам Саня Кочевой, и почему-то тоже в военном...

— Он военный корреспондент «Комсомольской правды». Старший лейтенант. Мне случайно попала газета с его очерком «Сражения на минском направлении». Горячо пишет, с яростью...

— Теперь мне все понятно,— отозвался я.— Удастся ли встретиться с ним...

Никита, как бы вспомнив что-то, поспешно встал и скрылся во тьме.

Я посидел немного с закрытыми глазами, прислушиваясь к глухим стукам в спину — это билось сердце, гулко и ровно. Слышался серебряный Васин голосок. Ежик рассказывал о том, как они с Чертыхановым добывали мед. Услышав шорох шагов, я поднялся. Сердце сдвоило, остановилось, а потом учащенными толчками погнало кровь к голове, к вискам. Темнота как будто расступилась, и я увидел Нину: она шла ко мне сквозь пламя пожарищ, сквозь взрывы, сквозь беды и страдания, светлая, как сама жизнь. Я почувствовал, как от меня все отдалилось: ненависть, ожесточение, усталость,— осталось одно, большое и нетленное: любовь.

Нина, неслышно подступив, взяла мое лицо в свои ладони — ее продолговатые, сияющие счастьем глаза светились перед моими глазами,— поцеловала в губы, потом обхватила



мою шею руками, тихо, с нежностью прошептала:

— Милый... любимый...

Мы долго и безмолвно стояли, крепко обнявшись. Так, обнявшись, мы и тронулись среди стволов в темноту, все дальше и дальше, пока не стихли голоса партизанского табора на поляне.

И здесь, под старой мохнатой елью, остановились. Нина говорила мне что-то нежное, ласковое; я целовал ее, много, сильно, горячо...

...Мы очнулись, когда на землю заструился скупой, просеянный сквозь густые, распластанные ветви ели свет. Свет усиливался с каждой минутой, и лицо ее все отчетливее выступало из сумрака, прояснились черты, такие близкие и прекрасные. Между бровей тонкой ниточкой легла складка, нацелованный, чуть припухший рот ярко алел, длинные, стрельчатые ресницы лежали двумя полукружиями и чуть вздрагивали, роняя синеватые тени. Вот ресницы приподнялись, и теплые, радостные лучи ласково коснулись моей души. Никогда еще счастье не было так осязаемо полным и прекрасным, как сейчас. Нина тихо засмеялась.

— Многих война разлучила, а нас с тобой соединила...— Помолчав, вздохнула и приба-

вила с грустью: — Надолго ли? — Она рывком оторвала голову от моих колен, села. — Оставайся у нас, Дима, с нами, — тогда мы все время будем вместе...

— Нельзя мне. Я солдат Красной Армии, ее законы для меня обязательны и, пожалуй, более обязательны, потому что приказы мне дает не командир, а совесть: она строже, справедливее и беспощадней любого командира... — В темных и нежных волосах ее застряли сухие желтые иголки, я осторожно вынимал их. — Я хочу, чтобы ты пошла со мной, Нина. Я проведу тебя через фронт и отправлю в Москву. Я боюсь за тебя...

Нина сомкнула брови, произнесла, глядя в сторону, сквозь стволы:

— Не надо бояться за меня. И жалеть не надо. Только глупцы и трусы достойны жалости.

Я улыбнулся: прав оказался Никита — книжечки о благородных героях сделали свое дело.

— Мы слишком много наобещали народу, комсомолу, — проговорила она после долгого и грустного молчания. — Будем защищать социалистическое Отечество до последней капли крови!.. И в речах, и в статьях, и в спорах, и в песнях обещали. Надо честно выполнять свои обещания... Я теперь над собой не властна: получила задание работать во вражеском тылу... О Москве речи быть не может... — Она вдруг задорно вздернула точеный носик, глаза насмешливо сузились. — А помнишь, как мы катались в парке культуры на «чертовом колесе»? Как давно это было, Дима!.. А может

быть, ничего этого и не было вовсе... Парк, огни, актерская школа, экспедиции, дни рождения, вино... А теперь смоленские леса, партизаны... И мы сидим с тобой в совершенно незнакомом лесу...

— Муж и жена,— заключил я.

Нина вздрогнула, встала на колени. Лицо ее было тревожным. Из широко раскрытых, немигающих глаз катились слезы.

— Милый, уцелей! — приглушенно, отчаянно крикнула она.— Пожалуйста, уцелей! Для меня... Без тебя у меня не будет жизни! Ты мне нужен живой. Живой!..

Боль в сердце была невыносимо острой и мучительной. Глазам стало горячо от слез. Мы стояли на коленях в глухом далеком лесу, у мирно пахнувшей смолой ели, смотрели друг на друга и плакали, не стесняясь своих слез. Мы плакали оттого, что приближалась минута расставания, быть может, навсегда, и что не разлучаться нам нельзя, что любовь наша висит на волоске и ее может оборвать любая пуля, даже нечаянная, шальная,— их много, они тонко, погибельно свистят над головой. Как жаль, что любовь часто является именно в тот момент, когда у людей нет для нее ни места, ни времени, ни сил, а до этого момента ее все дальше отодвигали глупые ссоры, обиды, недоумения, ревность!..

— Что бы ни случилось с нами,— проговорил я,— какие бы невзгоды и трудности ни выпали на нашу долю, не отступим, не сдадимся, не струсим.

— Клянусь! — прошептала Нина, бледнея.



ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ

I

То, над чем я упорно думал все эти дни, начало осуществляться как-то само собой. Толчком послужила избушка лесника, на которую мы набрели в конце дня. Она стояла с краю большой поляны, одинокая, заброшенная и старая, и только изгородь, крепкая, из белых березовых жердей, и за ней, перед окошками, высокие, выше человеческого роста, садовые ромашки с белыми, синими и лиловыми звездочками цветов удивительно преображали и молодили ее. Облитая жарким золотом клонившегося к закату солнца, она как будто празднично расцветала вся...

На нас повеяло от этого домика неожиданной прелестью, уютом и покоем. Мы даже приближаться сразу не решились, чтобы не нарушить застывшего сказочного очарования.

— Вот это находка! — изумленно прошептал Прокофий Чертыханов. — Сказка! Оглянись-ка, Вася, тут где-нибудь Красная Шапочка грибки собирает... — Над трубой заманчиво и приветливо кудрявился жиденький пахучий дымок; Прокофий втянул его по-собачьи чут-

кими своими ноздрями.— Рай, товарищи! Нам обязательно надо испробовать райской жизни...

Солнце склонилось еще ниже, и тени от елей, удлинняясь, подползли к избушке, стерли с нее праздничную позолоту, и она вдруг скучно померкла, как бы униженно сторбилась. На середине поляны нас грубо окликнули:

— Стой! Не подходи! Огибай стороной!..

Окрик застал врасплох, руки рванулись к оружию. Вася Ежик — он все-таки решил пробраться на Урал — тронул меня за локоть.

— Смотрите, пулемет!

Из сеней в дверь станковый пулемет высунил свой задиристый и угрожающий нос. За пулеметом притаились два человека в военной форме, обросшие давно не мытой щетиной; глаза их осматривали нас хмуро и враждебно. Двое других находились в избе и тоже выставили в окна дула винтовок; пятый присел за изгородью на огороде. Встреча не обещала ничего хорошего. Мы со Щукиным переглянулись, как бы спрашивая друг друга: может быть, действительно не связываться, уйти? Во взгляде политрука скользнула насмешка: значит, капитулировать перед кучкой своих же бойцов, забывших воинскую дисциплину?

— Этого не может быть!..— сказал я и с решимостью шагнул к домику.

— Не подходи, говорю! — опять крикнули из сеней.— Будем стрелять! Здесь вам нечего делать. Идите своей дорогой.— Холодно и неприятно щелкнули затворы. Вася Ежик вздрогнул, испуганно посмотрев на меня, потом на свой пистолет, из которого еще ни разу не вы-

стрелил и который держал по всем правилам, уверенно. Я заслони́л Васю своей спиной.

— Бойцы вы или бандиты? — крикнул я, чувствуя, как в груди тяжело закипает ярость.— Положите оружие!

Один из них зло засмеялся:

— А ты нам его давал?.. Мы вас не трогаем, и вы нас не касайтесь. Идите себе... ко всем чертям! — И опять враждебно прозвучал смех ненормального или пьяного человека.— Много вас тут шляется!.. Повидали!..

В глубине души я верил, что не может свой человек, даже если он и одичал вконец, стрелять в своего человека. Стиснув зубы, подавляя в себе страх, я направился к избе, прямо на пулемет. Чертыханов во время коротких переговоров с бойцами вынул из сумки противотанковую гранату и сейчас обогнал меня. Рассвирепев, он длинно и сложно, очень сложно выругался и взмахнул гранатой.

— Клади оружие, говорят! А то всех разнесу, как по нотам! Ах, гады, дезертиры! Вы кому угрожаете?..

Мы приблизились к избе. Двое у пулемета встали, растерянные и в то же время настороженные, готовые в любую минуту вступить в рукопашную.

— Эй, в избе,— крикнул Чертыханов,— вылезай на свет!

Из избы в сени неохотно вышли два бойца с винтовками, виновато и подозрительно оглядели нас.

— Отдайте оружие! — приказал я.— Вася, прими.

Мальчик робко подступил сперва к одному,

высокому и тоже небритому, взял из рук его винтовку, поставил в угол, затем взял винтовку у второго. Боец, задержавшийся на огороде, понял, что дело повернулось не в их пользу, перемахнул через изгородь и потянул к лесу.

— Куда! — остановил его Шукин. — Назад! Живо!..

Пятеро бойцов стояли возле крыльца, враждебно оглядывали нас, ожидая, что же будут с ними делать.

— Что вам надо от нас?! — крикнул высокий со шрамом на щеке, в распоясанной гимнастерке; от него пахло водкой. Мутные глаза потеряли осмысленное выражение, как у всякого опустившегося и отчаявшегося человека. Острый, заросший щетиной кадык судорожно вздрагивал, словно боец не мог проглотить что-то. Вдруг голова его дернулась, взгляд дико вспыхнул, руки, схватив ворот, с силой располоснули гимнастерку до самого подола. Шагнув ко мне, он грудью уперся в дуло моего автомата, закричал бессвязно и истерично:

— Стрелять будете? Дезертиры?! Так стреляйте!.. Немцы стреляли, теперь вы стреляйте! Не боимся!.. Все равно нет жизни!.. Волки мы, а не люди. Ну, чего ждешь? Пали! — Подбородок его вздернулся дерзко и презрительно, человек этот уже не помнил себя, глаза его застлала белая пелена.

— Встань на место, — сказал я спокойно.

Чертыханов легонько потеснил красноармейца, дружелюбно проворчал:

— Осади назад, дружище. Чего завизжал, как поросенок, словно тебя режут...

— Не хватай! — огрызнулся боец, отбивая его руку.

— Я не хватаю, прошу тебя вежливо.— В голосе Прокофия прозвучала уже грозная и нетерпеливая нотка.— Отодвинься, говорят, не напирай. Ишь ты... Разорался. Испугал... Ты на кого орешь? На лейтенанта! — Чертыханов, отодвигая бойца, понизил голос: — Ты знаешь, что это за человек? Ого! Он шутить не любит, даст по затылку,— маму родную забудешь...— Боец, отступив от меня, встал на старое место, в ряд со своими товарищами, недоуменно моргая на ефрейтора.— И рубаху разорвал, дурак. Как будешь воевать с голым пузом? — Чертыханов шелкнул бойца по голому животу.— Нехорошо бойцу Красной Армии шеголять в детской распашонке...— Красноармеец, протрезвев, закрывал грудь, соединяя разорванные половинки гимнастерки, косо и смущенно озирался. Вася Ежик, не удержавшись, прыснул; улыбка промелькнула по небритым и хмурым лицам бойцов. Прокофий, отогнув клапан нагрудного кармана, размотал нитку, затем вынул иголку и подал бойцу.— На, зашивай...— Боец нехотя принял иголку.— Как зовут-то?

— Гривастов,— угрюмо бросил боец.

— Рядовой?

— Сержант.

— А по петлицам-то и незаметно. Ай-яй-яй!.. Значит, отковырнул треугольнички и под каблук... А командование, небось, присваивало звание торжественно, приказ читало... Носи с почетом... Ну, ладно, портняжничай. Бороды я вам всем опалю, если у вас нет бритвы, как

Петр Первый боярам. Век не будут расти... Ух, и воняет же от вас, братцы, как от старых козлов...

Я поручил Чертыханову и Васе Ежику помочь бойцам привести себя в порядок. Вася, схватив в сенях ведро, сейчас же бросился к колодцу позади дома. Прокофий с чувством превосходства бодро покрикивал на бойцов, те, раздевшись до пояса, повеселев оттого, что гроза миновала, шумно плескались, смывая застаревшую грязь. Чертыханов правил на ремне бритву.

Мы со Щукиным вошли в избу. Здесь было тесно и сумрачно, застоявшийся запах невымытой посуды, самогона, слежавшегося сена, крепкий и ядовитый, бил наотмашь, вызывая тошноту. На комодке были разбросаны фотографии, валялись белые мраморные слоники с отбитыми хоботами; со стены, с портрета, беспечно, наперекор всему улыбалось нам милое девичье лицо; девушка не подозревала, что в этой каморке когда-то, должно быть, чистой, полной свежего и зеленого воздуха, все перевернуто вверх дном. Над столом, заваленным остатками еды, висела семилинейная лампа с треснувшим стеклом. Развертывать знамя в таком помещении мне показалось оскорбительным.

Возле дома не стихали веселые голоса, пронзительный Васин смех, покрикивания Чертыханова. Бойцы уже ощутили на себе надежную руку дисциплины и воспрянули духом, и я еще раз убедился, что армия без дисциплины — безвольная толпа.

У крыльца Чертыханов брил тупой бритвой

бойца; в открытую дверь доносились их голоса.

— Да ты не вертись, не морщись! Эка беда — три волоска выдерну... Сиди смирно! Долго вы удерживаете эту крепость?

— Пятый день.— Боец поведал доверительно: — Ох, и житье было!.. — Он вздохнул, сожалея, что житью такому, судя по всему, пришел конец.— Жарили баранину, самогончики доставали... Отсыпались. Чуть кто идет — крикнешь ему сердито, щелкнешь затвором — и тот мимо. Много таких попадалось.— Боец засмеялся.— Один раз подошли двое, вечером. Гривастов как рявкнет: «Хальт! Хенде хох!» Те встали, руки вверх протянули, стоят. А сержант опять: «Кругом! Бегом, марш!» Те припустили в лес что есть духу!.. И смеялись же мы... Так всех и посылали мимо. И только вы вот нахрапом взяли...

— Нет, братец, это вы нахрапом залезли в этот дом,— возразил Чертыханов.— Нашли время отсиживаться!.. Снять бы вам штаны да прутиком по тому месту, чем вы додумались до такой жизни...

— Ох, знатно! — Вася рассмеялся.

Внезапно на поляне все смолкло.

— Здравствуй, отец! — Это был голос Чертыханова.— Заблудился или ищешь кого?..

Мы со Щукиным вышли из избы. Перед Чертыхановым стоял седенький старичок в голубой футболке с белым воротничком и обшлагами. Из воротника жалко высовывалась худая морщинистая шея, седой клинышек бороды торчал пикой; старик глядел на Прокофия, запрокинув голову. Было в его облике

что-то жалкое, беспомощное и просительное. Вся щупленькая фигурка его накренилась на один бок: руку оттягивал глиняный пузатый и увесистый кувшин с узким горлышком.

— Зачем ты сюда пришел, старик? — строго допрашивал Чертыханов.

Старик виновато и устало улыбнулся, показав металлические зубы, поставил кувшин у ног.

— Да ведь вот, домой пришел... — Покосился на бойцов. — Самогонки принес... Две деревни обегал... — Оглядел нас, прибавил тише: — Не хватит на всех-то...

Шукин подошел к старику, и Чертыханов тут же отодвинулся.

— Самогонки? — удивленно спросил политрук. Старик не знал, как себя вести, топтался на месте, просительно заглядывая теперь в лицо Шукину.

— Вот товарищи бойцы посылали... — Шукин сердито поглядел на Гривастого, на его виновато примолкших друзей. Старик истолковал этот взгляд как поддержку. — Барашка зарезали — я не жалел, такое дело, кормиться надо... А за самогонкой ходить трудно мне, ноги у меня ослабели, утром встану, насили разогну их, скрипят и скрипят, словно заржавели. Барашка еще зарежу, если надо, а за самогонкой не посылайте...

Шукин, разозлившись, схватил тяжелый кувшин и с размаху брякнул его о столб изгороди, в стороны полетели брызги и черепки. И сразу потянуло терпкой, захватывающей дыхание пряностью.

— Чую, первач был — огонь, — отметил

Чертыханов, принюхиваясь.— Не повезло вам, ребята...

— Как это все называется? — строго сказал Шукин, обращаясь к бойцам.— И вы воины, защитники Отечества? Мародеры, вот вы кто!..— Бойцы, вымытые и выбритые, стояли перед ним навтыжку.

— Помещение привести в порядок,— сказал я.— Без приказанья никуда не отлучаться. А задумаете уйти, уйдете, все равно не скроетесь — найдем. И тогда разговор будет другой.

— Разве мы уходим, товарищ лейтенант,— мрачно отозвался Гривастов.— Плутали, плутали одни по деревням и лесам и вот пристали тут...— Он провел пальцем по грубо сделанному шву.— Нас самих мутило от такой жизни.

— Вы в каком полку воевали?

— Мы все из двенадцатого полка. На Березине разбили нас...

— Сержанта Кoryтова знали?

— А как же! — Бойцы оживились.— Он был связным нашего комбата...

— Он погиб,— сказал я.— На нем мы нашли знамя вашего полка. Оно теперь у нас.— Пятеро бойцов замерли, вытянувшись. Вы кем служили в полку? — спросил я крайнего.

— Я и вот сержант Кочетовский — из полковой разведки.— Гривастов кивнул на соседа, стройного бойца с узким лицом; тонкий прямой нос с нервно вздрагивающими ноздрями, острый раздвоенный подбородок, острые злые усики в ниточку и хищно прижмуренные светлые глаза наводили на мысль о коварном

и немилосердном характере — у такого рука не дрогнет. — Остальные рядовые первой роты второго батальона: Хвостищев, Стома и Порошин, — небрежно прибавил Гривастов.

— Разведчики — это хорошо, — обрадовался я. — Разведчики нам пригодятся... Сержант Гривастов, после уборки дома приведите оружие в порядок, назначьте двоих в караул, по очереди... Задерживайте всех, кто будет идти мимо или подойдет к дому...

2

Через час в избе пахло вымытым полом, разварной картошкой и бараниной. Старый лесник Федот Федотович Лысиков понял, очевидно, что своеволию жильцов пришел конец, что домишко его не спалят спяну, и повеселел; он сам, по своей воле, выделил нам ярку, которую Чертыханов прирезал; достал кружки и чашки, суетливо и услужливо бегал из дома на огород, потом на двор, в погреб, опять в дом — готовил ужин. Прокофий угостил старика и бойцов остатками меда; из нас никто, кроме Васи, его не ел. Мы ужинали при тусклом, умирающем свете керосиновой лампы, плотно занавесив окошки. Присутствие среди нас Федота Федотовича и Васи создавало обстановку тихого и мирного вечера; война шла стороной, по большакам, даже отзвуков не докатывалось сюда.

После ужина Чертыханов протяжно, с подвывом зевнул, широко распахнув зубастый рот, отрешенно поскреб грудь и грохнулся на пол, сонно проворчав:

— Разрешите отлучиться минут на шестьсот... Подальше от грешной землицы...— И тут же уснул. Возле него свернулся в клубочек Вася Ежик. Федот Федотович по привычке забрался на печь...

Я еще не успел задремать, когда за дверью Гривастов, встав на пост, окликнул кого-то. Я сейчас же вышел. У крыльца перед Гривастовым стояли четверо бойцов.

— Переночевать просят, товарищ лейтенант,— доложил сержант.

Я спросил вновь прибывших, кто они такие, какой части, откуда идут, велел выдать им еду, оставшуюся от ужина.

— Располагайтесь кто где может. Завтра разберемся...

Я отошел от избы и остановился посреди поляны. Ночь стояла ясная и звонкая. Серебряным стругом, разрезая белые облачные буруны, плыл в небе месяц, молодой и стремительный, окатывал поляну холодными светящимися брызгами. Лес оцепенел, скованный хрупкой стеклянной тишиной. Выходивший из-за рта пар долго дрожал перед глазами, блестя и не тая. Густые тени тяжело легли на росистую траву. Я вольно, облегченно вздохнул, словно этот заколдованный светом лес, эта свежесть, этот полумесяц и летящие ему навстречу рваные облака пообещали мне удачу.

Но боль, вызванная встречей и расставанием с Ниной, не унималась. В эту лунную ночь боль ощущалась еще острее. Много выпало на долю человеческую иссушающих душу тревог и страданий. Но страдания влюбленных, которых разлучили и которым, возможно, не суж-

дено больше свидеться, не измерить никакими мерами. Нина, жена моя! Нам бы плыть сейчас в эту лунную ночь на пароходе по Волге, по выкованной месяцем серебряной дороге, слушать ласковые всплески волн, мечтать о сыне... А тут глухие леса... Над нашей любовью повисло багровое от пожарищ небо.

Я медленно вернулся в домик.

Сквозь сон я еще несколько раз слышал краткие, предупреждающие окрики часового; за ночь к нашей избе прибилося еще девять человек. А на рассвете, когда, казалось, над самым ухом пропел и поднял меня с постели беспечный и голосистый петух, я, выглянув в окошко, увидел на другом конце поляны человека, перетянутого крест-накрест ремнями. Эти ремни напомнили мне о лейтенанте Стоюнине. Я выбежал на крылечко. Это был действительно он. Стоюнин меня тоже узнал, но, считая всякие эмоциональные порывы недостатком воспитания, шел ко мне сдержанным шагом; только по глазам его я видел, что он был рад встрече.

— Ракитин! — сказал Стоюнин, крепко, до боли сжимая мою ладонь.— Вот не ожидал! Я был уверен, что вы погибли...— Я пожал плечами, как бы говоря: что, мол, вы раньше времени меня хороните?.. Он смутился.— Извините, но у меня все время было такое ощущение... Очень рад, что вижу вас...— Стоюнин поглядел на избушку, на часового, расхаживающего вдоль изгороди.— Много вас?

— Порядочно,— ответил я, скрывая иронию.

— Так принимайте и нас.— Он заложил за ремни снаряжения большие пальцы, оглянулся

назад, на лес.— Люди выдумали на беду себе всяческие предрассудки, один из них преследует меня всю дорогу: число тринадцать. Понимаете, у меня двенадцать бойцов, и я тринадцатый. Я не могу отвязаться от мысли, что нашу «чертову дюжину» обязательно постигнет несчастье. А несчастье на войне, сами знаете, какого цвета. Черней нет... Сейчас приведу.

Я задержал его.

— Расскажите, куда вы девались после того, как вы мне сказали, чтобы я со своей ротой отступал в направлении Рогожки?

— Тоже отступили.— Стоюнин посмотрел на меня изумленно, очевидно считая меня наивным.— А потом попали на заградотряд. Были брошены навстречу полку «Великой Германии», пощипали его немного и были разбиты. Я не понимаю, почему вы спрашиваете... Наверно, не от хорошей жизни мы очутились здесь... У меня из старых, батальонных, два связиста и два связных, остальные из других подразделений. Днепр соединил...

Он поспешно вернулся в лес и неожиданно для меня свистнул, заложив в рот два пальца. Ему отозвались таким же свистом. Вскоре его бойцы, окружив избушку, шумно знакомились с нашими бойцами.

В течение дня волна отступления прибила к нашему берегу еще тридцать восемь человек — разрозненные группки по два, по три, по шесть бойцов. Ночью то и дело раздавались окрики часовых: «Стой! Кто идет?» Избушка, словно магнит, притягивала людей, идущих лесом, вдалеке от дорог. Утром, когда я вышел

из домика, меня охватила тревога: в сенях, на дворе, перед окнами избы, в огороде вповалку спали люди, бросив под себя охапку сена, — больше двухсот человек. Огонек надежды, блеснувший на пути усталого путника, привел их к нашей избышке: а вдруг этот огонек рассеет мрак, так плотно, непроницаемо нависший над их головами? Я отчетливо понимал, что группа наша будет обрастать новыми людьми, подобно снежному кому, пущенному с горы. На некоторых надеты пиджаки и рубахи-косоворотки, но брюки они оставили форменные. Лица у бойцов, даже у спящих, были усталыми и озабоченными. Кое-кто вскрикивал во сне или бормотал что-то невнятное. Один, молодой, белокурый, вскинулся, посмотрел перед собой бессмысленными, невидящими глазами, взмахнул рукой, как бы ограждая себя от надвигающейся неминуемой опасности, затем, вспомнив что-то, успокоился и опять лег.

Из сеней выбежал Вася Ежик, посмотрел на спящих красноармейцев, изумленно воскликнул:

— Эх, привалило! — И зазвенел смехом, залился, увидев, как боец спал на переносной лестнице — поясница, шея и ноги на перекладинах, а зад и одна рука свесились вниз. — Вот мягко-то!..

Следом за Васей вышел Щукин, остановился возле меня, прокашлялся, помолчал, потом спросил, жмуря припухшие веки от зеленого прозрачного света.

— О чем думает лейтенант? — Он стал не спеша свертывать папиросу. — Я всю ночь не спал, прислушивался...

— Я тоже,— отозвался я негромко.— Порядочно народу скопилось. Я вот думаю, как из них, отчаявшихся, потерявших дисциплину, создать боеспособное подразделение. Не сломил ли немец в них волю, боевой дух, веру в свои силы, вот чего я боюсь.

— Сломить в нас волю и веру — не многовато ли чести для противника? — Шукин вопросительно и чуть насмешливо взглянул мне в глаза и затянулся папиросой; в утренней свежести дымок был особенно синим и осязаемым.— Ведь рад, что народ подходит, ведь мечтал об этом, томился от бездеятельности...

Он меня смутил, отгадав мои тайные замыслы. Я возразил:

— Но их нужно подчинить, нужно вооружить, накормить... Понимаешь, какая страшная ответственность!.. Жаль, что нет никого из старших опытных командиров.

— Придут старшие командиры — хорошо,— серьезно сказал Шукин.— Не придут — будем решать судьбу свою и этих людей сами. Опыт наживается в деле.— Политрук легонько подтолкнул меня в бок локтем, подмигнул.— Я же по глазам твоим вижу, что ты рад такому случаю. Ты молодой, здоровый, полный сил и энергии. Вдохни в каждого из них свою веру, свою ненависть, и они пойдут за тобой...

«Эх, только бы пошли!» — подумал я, сдерживая дрожь, и опять ощутил: запела в груди знакомая, подмывающе-радостная струна...

Подошел Стоюнин, подчеркнуто аккуратный и подобранный, весь в ремнях, козырнул, здороваясь, даже пристукнул каблуками начищенных сапог.

— Назначьте человека, пусть перепишет всех,— сказал я ему.— Потом разобьем на роты, сделаем, скажем, пока три. Подберите командиров. Я заметил среди пришедших ночью лейтенанта и младшего лейтенанта. Кубиков у одного нет, но отметины на петлицах остались. Поговорите с ними. Тут есть два сержанта, Гривастов и Кочетовский, оба разведчики. Злые, как черти! Пускай они подыщут себе по своему вкусу еще человек шесть, сами они легче сговорятся.

Лейтенант Стоюнин записывал в маленькую книжечку.

— А не рано ли создавать роты? — заметил он, не отрывая взгляда от книжечки.— Тут едва наберется на одну...

— Нет, не рано.— Я посмотрел на Шукина, и он поддержал меня кивком головы.— Мы сейчас создадим основу, ядро. Потом будем пополнять. А пополнения придут, лейтенант. Я в этом уверен. Но главная трудность, товарищи, в снабжении: чем будем кормить? Где возьмем хлеба?..

На крылечке появился Чертыханов в нижней, далеко не белоснежной рубахе, с опухшим от сна лицом; он по-хмельному качнулся, почесал расстегнутую грудь и протяжно зевнул; встретившись с моим сердитым взглядом, Чертыханов лягнул зубами, прервав зевоту, и тут же скрылся в сенях, уже оттуда скомандовал Ежику:

— Васька, приготовь мне воды!

Через несколько минут Чертыханов появился одетым по всей форме; обходя избу и огляды-

вая спящих, даже перешагивая через некоторых, он громко проворчал:

— Ха, сонное королевство! Ну, воинство, ну, защитнички! — Он рассчитывал, что от его голоса бойцы проснутся. — Солнце взошло, а они прохлаждаются! С таким человеком разве можно соваться в драку? — Остановился возле бойца, пристроившегося на лестнице. Вася встал рядом, с любопытством ожидая, что скажет Чертыханов; вздернутый носик мальчишки морщился от сдерживаемого смеха.

— Замечай, Вася: только русский человек может выдумать сам себе страшные мучения и с доблестью терпеть их. Гляди, как этот человек изуродовал себя, страдает, небось, но терпит, спит и в ус не дует. — Закурив, Прокофий выпустил в лицо спящему густую струю дыма. Потом еще одну. Ноздри бойца, учуяв запах табака, задвигались. Затем он, открыв глаза, попытался встать, но перекладина переломилась и он, рухнув вниз, вскрикнул:

— Стой! Держите! Куда? Где я?

— На том свете. — Прокофий усмехнулся. Вася пританцовывал, смеясь. Боец, очевидно, понял, где он и что с ним, сонно хмыкнул:

— Фу, черт! Всякая чепуха лезет в голову... Будто туман меня захлестнул, а туман этот табаком пахнет. Будто задыхаюсь, совсем тону... Дай докурить...

Бойцы один за другим подымались, молчаливые, угрюмые, осматривались вокруг, — что готовит им этот новый день, какие испытания? Косились на нас троих, стоящих неподалеку от избы, затаенно, требовательно и с надеждой. Кто-то закурил. Папироса пошла из рук

в руки — каждому по две затяжки; один, маленький, востроносый, в очках с железной оправой, должно быть из писарей, сделал три затяжки и сразу получил по затылку, так что очки соскочили с носа. Смех прогремел внезапно и дружно. Красноармеец, громадный и широкоплечий, расставив ноги, пил у колодца воду прямо из ведра; вода с подбородка двумя струями стекала на грудь, на носки сапог.

В это время из-за изгороди, разгребая высокие стебли садовой ромашки, вышел боец, который спал на лестнице, приблизился к нам. Наглова то ухмыляясь, он выставил вперед ногу носком кверху — подметка сапога была оторвана, в ощеренную деревянными гвоздями дыру высовывался уголок грязной портянки. Белая, с желтой серединкой ромашка застряла в сапоге, когда боец шел по цветам.

— Видите обмундирование, командиры? — Боец поводит носком, как бы любясь безобразием своего сапога. — Могу я ходить, а то, пожалуй, и воевать в такой обуви?

— Будешь воевать, — проговорил я, стискивая зубы, чтобы усмирить вдруг вспыхнувшую ярость. — Босиком будешь. Как твоя фамилия?

Боец недоуменно и часто замигал, чуть отступив.

— Бу-бурмистров, — произнес он, запинаясь. — То есть как это босиком?

Чертыханов, поспешно подойдя, грубовато дернул Бурмистрова за плечо.

— Ты куда лезешь? — Выражение лица у Прокофия было устрашающее, густой, с хрипотцой голос грозил бедой. — Товарищи командиры

важные вопросы решают, как тебе, дураку, жизнь спасти, а ты с рваными сапогами суешься? Где ты их разбил? В лесу в футбол играл, пни считал? Теперь идти не знаешь как! На веревку взнуздай сапог и уходи! А то вот ожгу по лопаткам — тогда запляшешь! Идем, идем... Я научу тебя ходить по земле, как по нотам!

Возмущенный таким насилием, Бурмистров попытался сбросить руку Чертыханова со своего плеча.

— А ты что за шишка?

— Я не шишка, я солдат. Идем, говорю.

Бурмистров, видимо, считал зазорным для себя покориться и отступить; он начал вызывающе препираться с Чертыхановым. Сержант Гривастов, придвинувшись, мрачно бросил:

— Ну? Пшел! — Каменное лицо его с дергающимся шрамом на щеке угрожающе нависло над головой Бурмистрова. Боец, недовольно ворча, отошел, шлепая оторванной подошвой; цветок ромашки взлетал белокрылой бабочкой при каждом его шаге.

— Видали? — спросил лейтенант Стоюнин, указывая на Бурмистрова. — Вот вам моральный облик... — Случай с сапогом бойца сильно взволновал его.

Шукин спокойно объяснил:

— Общеизвестно: то, что создается многими годами, большими усилиями, может разрушиться в один день, даже в одно мгновение... Это относится и к дисциплине, в том числе и к воинской. Но я убежден, что таких бойцов немного, хотя они сейчас и в бедственном положении. Да и этот Бурмистров, мне кажется, не такой...

— У актеров есть одно очень хорошее правило,— сказал я.— Если надо завоевать симпатию и доверие зрителя, заставить его и страдать, и плакать, и смеяться, в общем полностью подчинить его себе, необходимо, чтобы темперамент актера, его страсть, его воля были выше и сильнее воли зрителя.

— Верно,— отметил Шукин.— Жаль только, что это не театр и не игра на сцене, а война...

— Знаешь что, политрук,— сказал я.— Напиши такой текст... вроде клятвы. Коротко, сжато и сильно. Мы дадим каждому прочитать и подписать. У знамени.

— Да, это следует сделать,— живо согласился Шукин.— Я сейчас же и напишу. Плохо, что у нас бумаги нет...

Лейтенант Стоюнин отстегнул сумку, вынул блокнот и подал политруку, тонко улыбаясь:

— Дарю...

3

Как и я предполагал, роты наши быстро пополнялись,— люди, двигаясь следом за наступающей немецкой армией, обходили деревни, занятые врагом, и забирались поглубже в леса. Они неизменно наталкивались или на избушку — наш штаб,— или на бойцов одной из рот, занявших круговую оборону. Иные отбивались и уходили — то были трусливые одиночки. Большинство оставалось у нас. Стоюнин распределял их по ротам, предварительно дав прочитать и подписать клятву.

Первым, два дня назад, подписал ее я. Мы выстроили роту бойцов на поляне. Чертыха-

нов вынес знамя, надетое на срубленное и выструганное ножом древко. Я опустил ся возле знамени на одно колено и громко, отчетливо прочитал:

— «Я, воин Красной Армии, вступая в новое воинское подразделение, обязуюсь строго подчиняться воинской дисциплине, выполнять приказы вышестоящих командиров и политработников. Я полон решимости с боем прорваться сквозь вражеское кольцо окружения к нашим войскам, действующим на фронте. Я клянусь не щадить своей жизни в борьбе с ненавистным врагом. И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи».

Я поцеловал знамя и встал. Мое место занял политрук Шукин. Потом лейтенант Стоюнин... Один за другим подходили бойцы к знамени и склоняли колени. Остался один Вася Ежик. Я твердо решил не взваливать на его худенькие и хрупкие плечики такую суровую и непосильную ношу. Но мальчик бодро выдвинулся вперед, щупленький, в подпоясанном ремнем пиджачке, из-за пазухи торчала рукоять пистолета.

— Товарищ лейтенант, разрешите принять клятву! — звонко и настойчиво сказал он, вскинув на меня смешные дырочки вздернутого носа. В его решимости было что-то трогательное и неотступное. Я понял, что если откажу ему, то сразу как бы отделю его от бойцов и кровно обижу этим. Взглядом спросил политрука. Тот утвердительно кивнул.

Вася умел читать наши взгляды. Он уже стоял на коленях, снял кепочку с куцым ко-

зырьком и пуговкой посередке; белые волосы его были всклокочены, на макушке торчал задорный хохолок.

Вася читал клятву наизусть, отчетливо и звонко, без запинки. Только слово «клянусь» как будто захлестнуло ему горло, голос осекся. Покосился на меня блеснувшим слезой глазом, как бы извиняясь за остановку, и, подавив в себе волнение, закончил бойко и даже беспощадно:

— «И если я отступлю или струшу в бою, то пусть меня, как предателя и труса, расстреляют мои же товарищи».

Глаза мальчика сияли. Я ничего не мог ему сказать — мешало волнение, — только положил руку на его белую голову, примяв задиристый хохолок.

Люди все прибывали. Их надо было прежде всего кормить. Двор старого лесника Федота Федотовича Лысикова почти опустел: выпросили у него займы трех последних овец; телку он ночью куда-то предусмотрительно угнал.

Вскоре нам неожиданно повезло. Я послал Чертыханова и Ежика в хутор, лежащий в четырех километрах от нас, строго наказав им, чтобы без продовольствия не возвращались. Они ушли ранним утром. При подходе к хутору повстречали старшину Оню Свидлера. Чертыханов узнал Оню издали, по очертаниям: жердисто-длинный, пузыри галифе высоко, почти у пояса, а голенища сапог широкими раструбами наполовину прикрывали икры; на голове вздыбившийся пук густых, мелко вьющихся волос. Старшина, по-журавлиному задирая ноги, сбивая с ботвы бледно-синие

глазки цветов, пересекал картофельное поле. За ним, чуть поотстав, плелись два красноармейца со скатками шинелей через плечо.

— Гляди, старшина! — проговорил Чертыханов, кладя на шею Васи тяжелую руку; глаза его почти суеверно округлились. — Свят, свят, свят... Воскрес из мертвых. Убей меня бог, воскрес! — И рывкнул в каком-то встревоженном исступлении: — Старшина! Оня!

Свидлер, перешагнув грядку, замер — одна нога в одной борозде, другая в другой, — пук волос встряхнулся.

— Проня, ты? — Он, должно быть, еще не верил своим глазам.

— Конечно же, я, Чертыханов! — крикнул Прокофий. — Кто же еще...

Старшина побежал, кидая длинные ноги сразу через несколько грядок. Споткнувшись, он растянулся, примяв зеленую ботву. Радость как бы обессилила его, он сидел в борозде, даже не пытаясь подняться. На исхудалом, до черноты прокаленном, в черной щетине лице его сияла до прозрачности белая полоска зубов, накаленно лучились черные, словно открытые лаком глаза.

— Проня... — прошептал Свидлер растроганно. Чертыханов присел возле него на корточки, с напускным разочарованием покачал головой.

— Ну, Осип, не оправдал ты моих прогнозов: я был уверен, что ты пошел на дно, как топор...

Оня засмеялся.

— Я сам так предполагал. Но фашисты, гады, прекрасно обучают всяческим видам

спорта: марафонскому бегу, плаванию... Швырнули меня в Днепр — плыви. И, видишь, выплыл! Все стили испробовал, пока за берег зацепился...

— Я всегда говорил, что нам полезно соприкасаться с фашистами вплотную.— Они засмеялись.— Молодец, Оня, что выплыл! Рад тебя



видеть живым и здоровым! И лейтенант с политуком обрадуются.

Старшина изумленно вскинул брови.

— Где они?

— Со мной,— небрежно, как-то покровительственно обронил Прокофий.— Вот послали за пищей; умри, сказали, а пищу раздобудь.— Хитрое, плутовское лицо Чертыханова приняло скорбное, сиротское выражение.— Сидим, Оня, на монашеском пайке, постимся... Овощи, изредка печеная картошечка, пареная пшеница — вот и весь рацион...

— Голодают? — Оня энергично встал.— Что им надо? Курицу, барашка?..

Прокофий снисходительно хмыкнул.

— Закурить нет? О, «Беломор»! Где достал?

— По случаю. Ночевал в сарае у заведующей сельпо...

Чертыханов прижмурил глаза, глотая дым папирасы.



— Курицу, говоришь?.. Птица и вообще всякая крылатая живность для нежных желудков, Оня. Нам бы этак стадо свиней. Нас ведь больше трехсот человек...

— Вон оно что! — Старшина задумался, провел указательным пальцем по тонкой, хрящеватой горбинке носа. — Что ж, достанем и стадо. Идем.

Оня позвал двух своих бойцов, Чертыханов — Ежика. Они обогнули хутор и спустились в неглубокую балку. За крутым поворотом, в ложбине, нашли стадо — голов тридцать пять свиней и поросят и столько же коз. Козы щипали выгоревшую травку, козлята проказливо, боком, скакали на прямых, точеных нож-

ках; свиньи распахали низину и лежали в прохладных бороздах. В отдалении паслась лошадь с хомутом на шее.

Пастух, мрачный мужик с заросшим черным волосом лицом, лежал на бугре рядом с телегой, животом вниз. Перед ним, в вырытой ножом ямке, был насыпан табак, смешанный с конским навозом, сбоку от ямки отходила трубочка — сухой полый стебель. Мужик подпалил курево и через стебель-чубук втянул в себя злой и вонючий дым.

— Здравствуй, Герасим,— по-приятельски, просто, как своему, сказал Свидлер, подойдя к пастуху.— Ты помнишь меня? Я вечером отдыхал возле тебя!..

— Припоминаю,— неохотно отозвался мужик, оторвавшись от своей «трубки» и с недоверием оглядывая пришельцев.

Чертыханов и Свидлер присели рядом с ним.

— Куда идешь, отец? — спросил Прокофий.

— Видишь, лежу! — ответил пастух. Безнадежное одиночество сделало его нелюдимым и враждебным.

Прокофий невозмутимо похвалил, указывая на трубку:

— Это ты ловко придумал...

— Бумаги нет,— хмуро пожаловался Герасим.— И табаку осталась одна щепоть...

Оня великодушно предложил папиросу:

— Угощайся...

Чертыханов нагнулся к ямке и потянул из трубочки, закашлялся.

— Ух, черт, вот это отрав! Слезу вышибает...

Мужик неожиданно рассмеялся.

— Что, не выдержишь такого градуса?..
— И долго ты так мучаешься, сердешный?..
Мужик опять посуровел.

— На второй день войны выгнал из-под Могилева больше ста голов,— проворчал он неохотно.— Осталась вон горсточка... Эта нечистая сила — козы — измытарила меня вконец: разве я могу угнаться за ними по лесам? Я не кобель. Ноги и так насилу таскаю от бескормицы да от тоски. Ну, и растерял половину... Один! Помощник был, парень молодой,— сбежал, в партизаны подался...— Герасим неловко повернулся, рубаха, натянувшись, треснула на лопатках, расплзлась, истлевшая. — Теперь вот держусь подальше от лесов, все-таки хоть на виду пасутся... Дай еще одну папиросу...— Затянувшись дымом, он тоскливо взглянул на синие облака над синим лесом, тяжело вздохнул.— Назад вернуться не приказано. Впереди немцы, с боков тоже немцы. Как я могу сдать скотину по назначению? Куда? Кому? В три колхоза набивался — не берут. Своих, говорят, девать некуда... Вот и кружусь колесом, словно проклятый всеми. Да пропади она, жизнь такая!..

— Плохо твое дело, отец,— посочувствовал Чертыханов.— Прямо скажу, стихийное дело. Водит тебя по оврагам какая-то черная сила. Заведет в такие места, откуда и пути назад не будет... И пропадешь ты со своей скотиной ни за грош. Непременно пропадешь!

— Ясное дело, пропадешь! — отчаянно вырвалось у Герасима.

Видно было, что ему смертельно надоело молчать по полям и лесам одному, молчать: его,

должно быть, преследовали мрачные, нехорошие думы. Прокофий хитровато, заговорщически подмигнул Свидлеру. Тот подсел к пастуху поближе, положил на колено ему руку.

— Да, Герасим, горите вы белым пламенем. Скоро от вас останется только горка пепла.— Мужик смотрел на Оню покорно и с мольбой.— Но если вы нас хорошо попросите, мы вам поможем. Поможем, Чертыхан?

— В любую минуту,— с готовностью поддержал Прокофий.

— Мы возьмем у тебя, Герасим, скот для нужд Красной Армии.

Пастух отодвинулся от старшины.

— А вы кто такие, чтобы забирать у меня скот? Идите, откуда пришли.

— Ты не беспокойся, Герасим,— настаивал Свидлер.— Твое недоверие законно. Но мы дадим тебе расписку по всей форме...

— А то, не дай бог, отец, немцы найдут вас со стадом,— поддержал Чертыханов.— Какое, скажут, вы имели право утаивать от германской империи этих свинок и этих козочек? И капут вам, прикокошат моментально, как по нотам.

Мужик озибался в безысходности.

— И лошадку заодно отдайте,— уговаривал Оня Свидлер.— Вам выгоднее возвращаться домой налегке...

...В полдень поляна, где стояла избушка лесника, огласилась низким сердитым хрюканьем и тонким козлиным бляньем.

При виде Они Свидлера, подъехавшего к штабу на подводе, я с радостью подумал об одном: люди будут сыты.

Оголодавшие за дни скитаний бойцы оживились, настало время поесть по-настоящему, вдоволь, пускай хоть козлятину.

Только Вася Ежик со всей мальчишеской силой возненавидел коз и свиней: его и бойца в очках, писаря, я назначил охранять стадо. Мальчик плакал навзрыд.

— На что они мне сдались, черти рогатые?— всхлипывал он, навалившись на березовую перекладину изгороди.— У других война, как война, а у меня что?! В кого я буду стрелять, в коз? Вот перестреляю я их всех до единой, проклятых!

Козы забрались в огород и пошли по грядкам. Федот Федотович поглядел на это нашествие, махнул рукой и ушел в избу. Козленок подскочил к Ежику, ткнулся ему в ногу мягкой мордочкой, вырвал из руки березовую веточку и отбежал. Вася рассмеялся сквозь слезы, но тут же оборвал смех: вспомнил, что обижен.

— Чем я провинился перед лейтенантом, скажите?..

Чертыханов по-отечески утешал мальчика:

— Я думал, ты серьезный человек, Василий. А ты с какой стороны себя показываешь? С бабьей. Только у них слезы на вооружении, только с таким вооружением они идут на нас, мужчин, в атаку. И обороняются тоже слезами. А ты солдат, Вася: приказано пасти скот,— значит, выполняй приказ. Паси, как по нотам, до полной победы! Да если бы мне так приказали, я бы с радостью бросил автомат. Смастерил бы себе дудочку и посвистывал бы, с козами беседовал... Вон она как на тебя

смотрит, как старик, мудро. Стадо пасти, Ежик, намного интереснее, чем воевать.

Мальчик постепенно утих, только изредка шмыгал носом.

4

Район нашей обороны расширялся: роты, как я и предполагал, сильно пополнились за последние дни. Стоюнин подобрал в роты и взводы крепких, бывалых командиров. Коммунисты и комсомольцы Шукина, ободряя бойцов, говорили об одном: противник остановлен под Смоленском, Москва неприступна.

Группа, собранная «с миру по нитке», все более начинала походить на боевую воинскую единицу. Все шло как будто хорошо. Но меня ни на минуту не покидало беспокойство: до каких пор можно расти количественно? Надо было что-то предпринимать, иначе люди, осознав бесцельность сидения в траншеях, станут действовать сами, разбредутся. Надо было снижаться и двигаться по тылам врага вслед за его передовыми частями. Но момент для такого решения — я это чувствовал — еще не наступил. Мы еще не были спаяны единой волей да и вооружены слабовато.

Мы сидели в избе втроем — Стоюнин, Шукин и я — и обсуждали план разведки, хотя разведчики Гривастов и Кочетовский, отлучаясь из расположения на сутки, а то и на двое, обшарили весь район. Надо было запастись медикаментами, куревом, боеприпасами...

— Тридцати человек добровольцев хватит, — сказал Стоюнин решительно.

— Согласен.— Шукин, облокотившись, изредка попыхивая папиросой, вглядывался в зеленатоватые разводы, в названия населенных пунктов, написанные на немецком языке: разведчики «достали» карты у гитлеровцев.

— Группу поведу я сам,— заявил я.

Шукин взглянул на меня и осуждающе покачал головой:

— Не выйдет! Что это за организм без головы!.. И ты и Стоюнин должны оставаться при части. Лучше всего, товарищи, идти мне.

— Я поддерживаю,— отозвался Стоюнин.

Шукин чаще и гуще задымил папиросой. Мы замолчали. Отчетливо слышалось монотонное ширканье металла о камень: на крыльце сержант Кочетовский точил нож.

— Ты так усердно натачиваешь жало, будто бриться собираешься,— заметил Чертыханов дружелюбно.

В голосе Кочетовского прозвучал отрывистый клеток хищной птицы:

— Я, дорогой товарищ ефрейтор, презираю нерях. Я одессит. Я привык работать точно и чисто: и клиента не беспокоит и мне отрадно. У меня легкая рука. Выстрел — пошлый звук. Он лишь оскорбляет мой слух и тревожит людей. Выстрелу не нужна культура тела, пластика движений — дыми знай... Нож — оружие тихое, ночное. Мой друг Гривастов этого не понимает. Я ползаю, ефрейтор, как кошка, ночью я вижу дальше и лучше...

Разговор оборвался. Дверь в избу заслонил плечами Чертыханов.

— Товарищ лейтенант, кого-то на носилках несут...

Мы вышли на крыльцо. День был тусклый; над лесом стояли серые и теплые облака; воздух, парной и влажный, был напоитан сладковатым запахом вянущих трав. Поляну пересекала группа красноармейцев. Двое из них несли носилки с раненым. Позади носилок шла женщина в военной форме, с непокрытыми черными волосами, гладко причесанными на прямой пробор; на петлицах — шпала, должно быть, военврач третьего ранга...

Один из наших бойцов, тот, что с оторванной подметкой, Бурмистров, выйдя вперед, доложил:

— Товарищ лейтенант, задержаны в расположении нашей роты! — Он кивнул через плечо на носилки и группу красноармейцев. — Командир роты приказал проводить до вас...

Бойцы поставили носилки на землю. На носилках, прикрытый плащ-палаткой, лежал человек, немолодой, с седыми, чуть вдавленными висками; желтоватое лицо его с закрытыми глазами было неподвижно и покойно; из-под плащ-палатки высывался носок хромового сапога и белая забинтованная ступня. Я воприсительно посмотрел на женщину. Она сказала, понизив голос:

— Это полковник Казаринов, заместитель командира дивизии. Ночью мы натолкнулись на группу немцев. Полковник был ранен в ногу. — Большие и темные, в синеватых тенях глаза ее смотрели на меня устало и печально и как бы просили о помощи. — Помогите нам выйти к своим...

— Мы намерены выходить из окружения с боем, — сказал я. — Оставайтесь у нас и, воз-

можно, вместе с нами пробьетесь к своим. Другой помощи я вам оказать не могу.

— Тише! — предупредила женщина. — Он уснул...

Но веки полковника дрогнули и приоткрылись.

— Кто это мы? — спросил он негромко и с веселой насмешкой. — Подойдите-ка...

— Группа лейтенанта Ракитина в количестве семисот тридцати восьми человек. Но это не точно: люди все время прибывают и группами и в одиночку. — Я вплотную подошел к носилкам. — Товарищ полковник, задержитесь у нас... Пожалуйста...

Брови раненого дрогнули, он как будто удивился:

— Зачем я вам безногий?.. Лишняя обуза.

— Что вы! Вы нам очень нужны! — Я оглядел своих друзей — Щукина и Стоюнина. — Помогите нам... Вы с носилок будете командовать. И у нас лошадь есть.

Полковник сочувственно улыбнулся, тихо и с грустью произнес:

— Нет, лейтенант, лежачие не командуют. — Он опять устало прикрыл глаза, очевидно, решая что-то, затем сказал: — Хорошо, остаемся. Несите.

Бойцы взялись за носилки. Я шепнул Чертыханову:

— Беги приготовь место! Быстро!

Мы перенесли полковника с носилок на кровать, придвинув ее к окошку. Врач Раиса Филипповна заново перевязала ему ногу. Стоюнин, Щукин и я доложили обстановку. Полковник сидел, привалившись к спинке кровати,

молча изучал расположение наших подразделений.

— Появление противника, товарищ полковник, наиболее вероятно со стороны дорог и крупных населенных пунктов,— объяснил я.— С учетом этого я и организовал оборону.

— Правильно. Район обороны расширять больше не следует, чтобы при столкновении с противником не оказаться рассеченными на части.— Полковник вынул из сумки карту большего масштаба.— Смотрите: обтекая нас с севера и с юга, прошли дивизия «СС», десятая танковая дивизия, свыше ста машин, полк «Великая Германия», по численности равный бригаде, двадцать девятая пехотная дивизия, семнадцатая моторизованная, сто тридцать седьмая австрийская, пятнадцатая, двести девяносто вторая... В общем, сила двинулась колоссальная, во много раз превосходящая наши войска по численности и технической оснащенности. И все же немцы под Смоленском остановлены.— Полковник кинул карандаш на карту, разложенную на коленях, и утомленно откинул голову на подушку.— Они завязли в районе Ельни.

— В этом направлении мы и пойдем,— сказал я.— Вот только соберемся с силами.— Засиживаться нам нельзя.

— Правильно! — одобрил полковник.— Это наиболее короткий, наиболее верный, но и наиболее трудный путь: здесь сильная концентрация противника.— Казаринов опять сел и пристально, требовательно посмотрел мне в лицо.— И вот что я вам еще скажу, лейтенант: вы взяли на себя чрезвычайно трудную и чрез-

вычайно важную для Родины задачу. И решайте ее смелее, увереннее. Пусть вас не смущает ваше скромное звание. Нам сейчас не до субординаций. Наше положение особое. Выйдем с честью на Большую землю — разберемся. Кроме того, вы не один. У вас есть товарищи, советчики. Я уверен, что мы решим эту задачу. Так что действуйте решительнее, жестче. Получится!

Я хотел встать и ответить ему, что я готов отдать все свои силы, а если надо, и жизнь для решения этой задачи. Но полковник остановил меня, положив руку мне на колено. Стоюнин, очевидно считая, что замечания полковника к делу не относятся, спросил меня:

— Как же вы пойдете без оружия, без артиллерии? До первой стычки?.. И боеприпасов мало. На рукопашные схватки мода прошла.

— Достанем и оружие и боеприпасы,— сказал Шукин.— Два раза сходим на дорогу и запасемся хоть на год...

— Пулеметы есть? — спросил полковник и опять взглянул на нашу карту, где были отмечены огневые точки.— Есть. Четыре. Да, пушечек бы, ребята, для солидности не мешало! А то что же это за русский бой без артиллерии? Видел я в лесу, вот где-то тут, в этом районе,— полковник показал кончиком карандаша на зеленоватое пятно на карте,— стоят, стволы вверх, целая батарея. И все без затворов, и снарядов нет.

За моей спиной грохнули об пол каблуки Чертыханова: стоя в двери, он все время прислушивался к нашему разговору.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться

ся к лейтенанту Ракитину? — лопатистая ладонь его уже была за ухом. Полковник кивнул, и Чертыханов, опять грохнув об пол каблуками, чуть повернулся ко мне: — Товарищ лейтенант, помните бойца Бурмистрова, что с оторванной подошвой к вам приставал? Он, может, взаправду, может, зря языком молол, будто он артиллерист и будто, уходя, зарыл много снарядов. Допросите его. Он здесь, он вот товарища полковника привел...

— Позови!

Бурмистров перешагнул порог неуверенно, пугливо озираясь: подошва сапога была привязана проводом. Остановился, несмело поднеся руку к виску.

— Артиллерист?

— Да,— ответил боец неуверенно, еще не зная, к чему клонит полковник.— Был...

— Орудия бросил, а снаряды закопал?

Бурмистров побледнел.

— Что же мне было делать, товарищ полковник? Дождь прошел, дороги развязли. Лошади упали без сил... Не потащу же я их, пушки, на себе! Расчеты тоже кто куда... Ну, я их завез в лес и оставил, а снаряды зарыл, чтоб немцу не достались...

— Можешь найти то место? — спросил я.

— Нет, наверно, не найду, товарищ лейтенант. — Бурмистров потер ладонью лоб. — Столько кружил потом по округе...

— Найди! — сказал я строго.— Чертыханов, позви Свидлера!

Явился Оня, оживленный и деятельный.

— Старшина, нужно перевезти пушки и снаряды!

При этих словах лицо Бурмистрова страдальчески сморщилось: где он будет искать пушки?

— Перевезем, товарищ лейтенант, — ответил Она, не задумываясь. — Во дворе МТС стоят трактора. Штук двенадцать. За исправность всех не ручаюсь. Но на два можете смело рассчитывать...

За дверью, на крылечке, в горячем, внезапно вспыхнувшем споре слились голоса.

— Прочь с дороги, болван! — отчетливо прозвучал голос, должно быть, нетерпеливого, заносчивого человека. — Кто командир? Где он?

— Я не болван. — В ответе Прокофия слышался сдержанный гнев, так говорят сквозь сжатые зубы. — Я ефрейтор Чертыханов. И стою на часах. Зарубите это себе на носу, гражданин! — Чертыханов опять загородил плечами дверь. — Товарищ лейтенант, до вас рвется какой-то штатский. Прямо на ноги наступает... Пустить?

В избу, грубо оттолкнув ефрейтора, шагнул человек в кепке, насунутой на самые брови. Пригнувшись, он вглядывался в полумраке сначала в мое лицо, затем в лица Шукина, Стоюнина, Свидлера. Движения, резкие и порывистые, выдавали его истерическое состояние.

— Кто старший?

Полковник Казаринов кивнул мне. Я встал.

— В чем дело?

— Я хочу есть! Накормите меня и моих спутников!

— Много вас?

— Пятеро.

Меня всегда бесила нахрапистая человеческая наглость.

— Почему мы обязаны вас кормить?

— То есть как это почему?

Человек откинул голову, свет от окна упал на его небритое, запущенное лицо. Оно показалось мне знакомым.

— Да, почему? — Память торопливо листала книгу, где отпечатались события и лица последних дней, искала нужную страницу. — Кто вы такие?

— Я подполковник Сырцов.

— Не вижу. — Во мне тяжело закипела злость: сбросил форму, так не смей говорить о звании. — Предъявите документы!

— У меня нет документов! Я переправлялся через Днепр вплавь.

— Мы тоже вплавь переправлялись...

Сырцов огляделся с недоумением и обидой на непочтительное обращение.

— Как вы разговариваете со старшим по званию? — сдавленно прошептал он; узкий воротник рубахи-косоворотки, врезавшись в шею, перехватил ему горло, лицо набухло кровью и как будто потемнело.



Щукин, молча наблюдавший за ним, вдруг встал и схватил его за отвороты пиджака.

— Врете! Вы старший лейтенант!

Голова Сырцова вздернулась, пуговица на воротнике отлетела, и на щеках тотчас про-

ступила бледность; верхняя губа обнажила мелкие злые зубы, а рука инстинктивно согнулась в локте, словно в ней был зажат пистолет. По этому жесту, по злому оскалу я мгновенно отыскал страницу: пыльная, прокаленная солнцем дорога, растерянный вид четырех безоружных бойцов, истеричный крик старшего лейтенанта и дуло пистолета, направленное мне в грудь. Как изменила и обезобразила его случайная гражданская одежда! Сохранился лишь развязный и хамский тон.



— Махать пистолетом на своих бойцов намного легче, чем отбивать вражеские атаки,— сказал я Сырцову и посмотрел на кровать, где лежал полковник Казаринов, как бы спрашивая его, что делать дальше.

Сырцов, привыкнув к полумраку, тоже заметил полковника и невольно испуганно вытянулся.

— Уходите,— негромко сказал полковник.— Вместе с вашими спутниками. Немедленно!

Сырцов, опять пригнувшись, сунулся к выходу. Я проводил его до крыльца. В отдалении, у изгороди, Сырцова ждали спутники в гражданской одежде с чужого плеча. Двое сидели на траве, двое стояли, облокотившись на жерди. Один из сидящих, увидев меня, поспешно вскочил. Затем отделился от изгороди и направился к лесу. По голове, ушедшей в плечи, по большим, оттопыренным ушам, торчащим

из-под серой кепочки, я узнал лейтенанта Смышляева, командира первого взвода, дезертира.

— Стой! — крикнул я, выхватывая пистолет.

Смышляев побежал. Я выстрелил ему в спину, но промахнулся. Выстрелил еще раз. Смышляев уже достиг края леса, где Вася Ежик пас стадо. Больше я не стрелял, боялся, что попаду в мальчишку. Смышляев скрылся...

Сырцов со своими спутниками, встретившись со мной, опасливо и враждебно покосился на меня, обошел стороной. Я задыхался от досады и гнева: народ испытывает страдания и бедствия, над его головой нависла смерть, каждый человек, как мне думалось, обязан отрешиться от себя, от своих желаний, должен быть готов сгореть в огне сражений или выйти из него закаленным, нестигаемым, а по земле ползают вот такие мерзавцы, шкурники, спекулянты, трусы и дезертиры!

5

Вечером, провожая политрука Шукина в разведку, я предупредил его о том, что нам не следует до времени раскрывать свое месторасположение.

За Шукина ответил, хищно играя ноздрями, сержант Кочетовский:

— Мы умеем заметать следы.— В его поведении все было, до последнего движения, до последнего шага, выверенное и точное, а в узком прищуре светлых, почти прозрачных глаз, в изгибе полуоткрытых в улыбке губ таилось что-то рискованное и бесстрашное.

— С такими пройдешь огонь и воду, не сгоришь и не утонешь,— весело сказал Шукин и дружелюбно похлопал по спине громадного и мрачного Гривастова; политрук уходил с большой охотой,— видно, засиделся в лесу. Он снял каску и, как всегда в минуту волнения, причесал свои молочно-желтые волосы беззубой расческой.— Ну, Митя, держись тут... Сжимай кулак покрепче... О нас не беспокойся...

Разведчики пересекли поляну и исчезли в лесу.

С уходом Шукина я сразу ощутил какую-то пустоту, словно лишился самого необходимого, без чего трудно жить. Я долго не мог найти себе места, бродил вокруг избушки. Потом, устав, сел на порог и задремал.

Вася Ежик, подкравшись, осторожно подержал меня за рукав, прошептал:

— Товарищ лейтенант, там один человек пришел, собрал бойцов, подбивает их бежать отсюда!..

— Где он?

— Там, за двором, недалеко от кухни! Идемте! — Мальчик опять нетерпеливо подержал мой рукав.— Скорее!

Ночь плеснула в лицо россыпью мелких звезд, изморозной свежестью сырой травы и цветов, отблесками угасающего, далекого зарева. В темноте тускло белели жерди изгороди. Ежик семенил впереди меня, все время оглядываясь назад, иду ли я за ним. Он нырнул под низко свесившуюся ветвь ели, остановился и задержал меня. За стволами, на мягкой, усыпанной хвоей земле, собралась группа бойцов; кое-кто из них курил,— розовые пятна возле

губ то расширялись, то сжимались, словно дышали. Мне трудно было разобрать слова: человек бубнил глухим, простуженным голосом — и я пододвинулся ближе.

— Лучше в партизаны уйти, в подполы, в погреба забиться, на чердаках жить, чем идти к своим! — басил человек прерывисто, усмиряя тревогу и раздражение глубокими затяжками папиросы.— Думаете, объятия вам раскроют, по чарке поднесут: ах, молодцы, что пробились! Вставайте в строй! Как бы не так! Начнут таскать на допросы: что, да как, да почему остался на занятой земле, не съякшался ли с фашистами? Есть такие субчики, они так и норовят, как бы тебя в предатели зачислить и выдать тебе все, что положено по «предательской» норме... Нам что комиссар говорил? Пулю в лоб пусти, а в плену, в окружении не оставайся.

Огонек папиросы вспыхнул, осветив рот говорившего. Я вышел из-за дерева.

— А ты и есть предатель! — сказал я губастому бойцу.— Встать!

Многие из бойцов встали, кое-кто из них, незаметно отодвинувшись за деревья, скрылся в темноте. Говоривший боец плюнул на окурочок, бросил его под ноги и медленно поднялся — громоздкий, в расстегнутой шинели; над головой моей нависло его угрюмое лицо с упавшими на лоб прядями спутанных волос. Я осветил его фонариком.

— Как твоя фамилия?

— Фургонов, — враждебно отозвался он, щурия свои желтые, кошачьи глаза от яркого

луча; отодвинув мою руку, державшую фонарик, взгляделся мне в лицо.— Что тебе надо?

Жгучая злость налила мои плечи и руки свинцовой тяжестью.

— Ты что же на дезертирство людей подбиваешь?! — скорее промышчал, чем проговорил я: гнев не позволял разжать зубов.— Ах ты, гадина!

Я с силой ударил Фургонова по лицу. Он откинулся назад, стукнувшись головой о ствол. Неожиданный удар мой как бы парализовал его, он только выставил вперед локти и невнятно, испуганно бормотал:

— За что?.. погоди!.. За что?..

Обезумев от ярости, я бил его по голове, по выставленным рукам, в бока; из груди вырывались перехваченные злобой вопли:

— Дезертир!.. Предатель!.. Трус!.. Вот тебе, сволочь!

Фургонов, скользнув по стволу спиной, сел и спрятал лицо в коленях. У меня ломило руки. Напоследок я ударил его носком сапога в бок и ушел, натываясь на деревья. Вокруг не было ни одного бойца; одиноко, испуганным зайчиком стоял в сторонке только Вася Ежик.

Я вышел на поляну, махая ушибленной рукой; темная, как эта ночь, тоска душила меня: никогда еще в своей жизни я не бил человека, да еще с такой звериной ненавистью. Задышавшись, я жадно хватал ртом влажный и студеной воздух. Я как будто позабыл, где нахожусь, и бесцельно пересекал поляну из конца в конец, умиряя в себе дрожь.

Пробивающееся сквозь темноту несмелое родниковое урчание заставило очнуться и при-

слушаться. Урчание становилось все явственнее и громче; я понял, что лесом шли тракторы. Вскоре они выплзли из тьмы на поляну — два колесных, один гусеничный, — притащили за собой орудия, повозки с наваленными на них ящиками со снарядами. Следом выехали четыре подводы.

Прокофий Чертыханов, заглушив мотор, спрыгнул с трактора и подбежал ко мне, кинув ладонь за ухо.

— Я вас, товарищ лейтенант, чутьем слышу, как собака хозяина! — проговорил он оживленно. — Так что все в порядке, как по нотам! Три пушечки в полной боевой... А снарядов на три года!...

Подошли и Оня Свидлер с Бурмистровым.

— Можем, если хотите, товарищ лейтенант, оснастить вооружением артдивизион! — несколько хвастливо доложил Оня Свидлер. Он был, видимо, очень доволен, что выполнил поручение; глаза его даже в темноте мерцали от возбуждения, радостно сияла полоска зубов, длинные руки, высовываясь из расстегнутых обшлагов, выписывали замысловатые кривые. — Прикажете достать танки или эскадрилью самолетов — доставем!

— Это нам раз плюнуть! — подхватил Чертыханов, заражаясь хвастливостью Свидлера.

Я поспешил доложить полковнику Казаринову о прибывших пушках. Когда я приблизился к избе, из-за угла, из темноты, показался человек. Он направился прямо ко мне.

— Постой! — окликнул он глухо и отрывисто.

Это опять был Фургонов.

— Что тебе надо? — спросил я, задерживаясь.

— Не бойся, не трону... — начал он уже мягче.

Я прервал:

— Я не боюсь. Ну?..

— Давай посидим, что ли... — Он положил свою тяжелую руку мне на плечо, чуть подтолкнул к изгороди; мы сели на бревно. — Я думал, ты меня убьешь... — Он шумно, с всхлипом вздохнул, разогнулся, обиженно, с укором и недоумением взглянул на меня. — За что ты меня так?

— Ты на что подбивал людей? Неужели ты не понимаешь глупой башкой своей, что ты толкал их на преступление? Самое тяжкое!.. И случись это, я сам расстрелял бы тебя, — проговорил я жестко и непримиримо.

Фургонов, облокотившись на колени, покорно и виновато склонил тяжелую, лохматую свою голову.

— Лучше бы расстрелял, чем вот так, при бойцах, избить...

— Лучшие люди земли на протяжении столетий боролись за свободу, бесстрашно шли на костер. Они ее завоевали ценой многих жизней и нам завещали стоять за нее насмерть. Решается судьба всего человечества! Неужели ты смиришься с участью раба, с участью водозвозной клячи?!

Фургонов, повернув голову, блеснул глазом.

— Хорошо рассуждать так, сидя на поляночке, при звездах! Свобода, счастье, герои!.. А если ты бежишь, как заяц, с душой в пят-

ках, до рассуждений тут? Человечество! — Он сплюнул сердито и полез в карман за табаком.

Я усмехнулся:

— По росту, по комплекции ты по крайней мере лев. А ты, оказывается, заяц. Не обидно?

— Обидно!.. — Фургонов хмыкнул презрительно и щелкнул зажигалкой; брызнули голубые искорки, но фитилек не зажегся: кончился бензин. Зажигалку сунул в карман, а папиросу заложил за ухо. Опять сокрушенно вздохнул: — Когда тебя с размаху оглоушат по башке, забудешь, в какую шкуру рядиться: в львиную или в заячью. Навалился он, проклятый, всей своей сталью, поди, выстой.

— А надо выстоять,— сказал я, положив руку на его склоненную просторную спину.— Сталь, что и говорить, вещь прочная. Но ее можно разбить, сломать, расплавить. А дух человеческий не расплавишь, нет! Он крепче стали! Иначе не собралось бы здесь за какую-то неделю больше тысячи человек, потому что крепче стали. И еще подойдут: дух не позволяет мириться, призывает к действию, к борьбе!..

Фургонов вскинулся, развернул широченную грудь — ворот гимнастерки расстегнут.

— Поколотили нас здорово, но дивизия не развалилась, не рассыпалась.— Фургонов усмехнулся с иронией.— Этот самый «стальной дух» помешал... Идет с боями тут где-то... Наш взвод отрезали от нее, как ломоть от каравая. Многих побило. Я и еще шесть человек со мной на вас вот наткнулись...— Он опять, облокотившись на колени, уронил голову, помолчал, прислушиваясь к жизни на поляне: возле тракторов звенел ключами артиллерист Бурми-

стров, и розовый кружок света от фонарика перекатывался по бокам машины; на крылечке Прокофий Чертыханов переговаривался с часовым и Васей Ежиком; на другом конце Оня Свидлер, загоня подводы в лес, на кого-то строго, но беззлобно покрикивал; сзади нас лениво хрюкали свиньи и тоненько вскрикивали во сне козлята, загнанные на ночь на огород, — от капустных вилок и грядок моркови остались одни кочаны и ямы; всюду бесшумно скользили темные человеческие тени, звучали приглушенные голоса и изредка звонкое, тревожное, ломкое ржание жеребенка...

— Одного боюсь, — заговорил Фургонов после долгого раздумья, — удастся вырваться к своим — затаскают: как да почему попал в окружение?..

— В окружении тот, кто сложил перед врагом оружие, — сказал я убежденно. — Я никогда не был и не буду в окружении. Запомни это, пожалуйста.

— Да? — Фургонов решительно, рывком встал. — Ну, ладно... Не уйду я. Спать хочу ужас как... Иди. Нет, постой. Зря ты меня бил при бойцах... Я помкомвзводом был, старший сержант я... — Он вдруг как-то сложился весь, рухнул на землю, растянулся вдоль бревна, на котором мы сидели, и натянул на лицо полу шинели.

6

На рассвете капитан Волтузин привел остатки своего батальона — тридцать шесть человек. Волтузин чем-то напоминал клин: плечи мощные, широкие, борцовские, таз узенький и ко-

ротенькие, с маленькими ступнями ноги; крупная, совершенно круглая, бритая голова обросла возле ушей реденькой рыжеватой щетинкой; загорелая лысина отполированно поблескивала. И странно, непривычно было видеть его, веселого, громкого, смеющегося, среди нас, настороженных, как бы придавленных обстановкой особой, лесной жизни... По совету полковника Казаринова я назначил Волтузина командиром батальона, присоединив к его бойцам две наши роты.

— Слушаюсь, мой лейтенант! — с живостью стозвался он, и в смеющихся глазах его блеснуло что-то озорное, неунывающее. Я не мог не улыбнуться его непривычно-бравому ответу.— Об одном буду просить вас, мой лейтенант: не требуйте от меня инициативы. Приказы буду выполнять с точностью, не пожалею своей ничтожной жизни. Но с инициативой у меня полный конфуз. Очевидно, мамаша при моем рождении позабыла наградить меня столь необходимым свойством. И вообще, лейтенант, наши мамы выпускают нас на свет не совсем качественными. Вырастая, мы начинаем замечать, что одному недостает красоты и обаяния, у другого совершенно не развито мужество, незаменимое в обиходе, третий не досчитывается в мозгу нескольких извилин, четвертый прозябает от бесталанности... Эти пустоты, белые пятна со временем заполняются отвратительными свойствами — трусостью, завистью, безынициативностью... Я подозреваю, что инициативу свою я растратил в юности во время чтения книг о героях: все свои догадки и предположения я отдал благородным рыцарям,

себе ничего и не осталось... Так что не обес- судьте, мой лейтенант.

Мне нравился этот говорливый, неукротимо деятельный человек.

— Я думаю, вы наговариваете на себя, товарищ капитан...

— Ошибаетесь,— быстро возразил Волтузин и громко засмеялся.— Ошибаться в людях — тоже недостаток от рождения.

Возле нас стоял Чертыханов, и незаметно приблизился Вася Ежик, оставив коз и свиней на очкастого красноармейца. Прокофий смотрел на кругленького, подвижного капитана почти восторженно: он любил веселых, неунывающих людей.

— Разрешите заметить капитану, товарищ лейтенант? — сказал ефрейтор, и Волтузин живо, на каблуках крутанулся к Чертыханову.— Вы ходите без головного убора, товарищ капитан, солнце выжгло инициативу, как по нотам, а волосы ветром сдуло.

— Возможно, что и так, ефрейтор.— Волтузин взглянул на лобастую, обросшую густой и жесткой щетиной голову Прокофия с пилоткой на затылке, усмехнулся.— Запомните, ефрейтор, что обильная растительность густо встает лишь на навозной почве.

Чертыханов захлопал белыми ресницами и наморщил картошистый нос, словно понюхал что-то острое. Ежик присел, взвизгивая от смеха. Прокофий рассердился.

— Васька! Выпорю. Ты над кем смеешься? — И, делая вид, что гонится за Ежиком, откатился от нас.

— Инициатива — дело наживное,— сказал я

Волтузину.— Обстановка сама продиктует решение.

— Добрые начала в человеке суть часть таланта, а талант не наживается,— не соглашался капитан.— Я исполнитель. Во время войны точное исполнение воли командира — тоже ведь качество неплохое. Этим и утешаюсь.

Едва успел капитан Волтузин прибыть на свой командный пункт, как от него прибежал связной с донесением: по полевой дороге прямо в распоряжение одной из его рот шли четыре вражеских грузовика с солдатами. Комбат спрашивал, что делать. Но пока связной бежал в штаб, машины, ревя моторами, буксуя на обрызганных утренним дождем колеях, вошли в лес. Деревья зазвенели от винтовочных, автоматных выстрелов, от гулких хлопков гранат. Я невольно улыбнулся, прислушиваясь к внезапно вспыхнувшей перестрелке: Волтузину пришлось проявить инициативу... Минут через десять стрельба оборвалась. Стало опять тихо и настороженно в лесу, понизу потянуло тонким, пронзительным пороховым дымком. От капитана примчался новый гонец, запыхавшийся и возбужденный: убито одиннадцать гитлеровских солдат, четверо бежали, скрывшись от преследования в заросшем кустами овраге, машины с материалами для переправ через водные преграды получили повреждения от гранат, один наш боец убит, трое ранено...

Я попросил Раису Филипповну отправиться вместе со связным в батальон и оказать раненым помощь. Мирная лесная жизнь наша кончена, мы раскрыты, и необходимо готовиться к предстоящим испытаниям.

Часа через два ветер рывками потрепал вершины берез и сосен, оторвал от них плотные мгlistые облака и выбросил их вверх; высушенные до необыкновенной, парашютной белизны, они разломались, открыв сквозную синеву неба. Среди этого множества раскрытых колышущихся облачных парашютов и появился разведывательный немецкий самолет «рама». Он как бы неторопливо купался в синеве, поблескивая на солнце чеканным серебром крыльев, прошивал тишину тонким, добирающимся до самой души зудом. Как знаком был нам этот вибрирующий, едучий зуд! Я стоял в палисадничке возле окна дома среди высоких разноцветных ромашек и следил, как над нами неторопливо плывал разведчик.

— Засечет он нас, товарищ лейтенант, как пить дать.— Чертыханов стоял за моим плечом.— Это первая ласточка... Надо бы костры-то залить...

Повара готовили пищу, и над острыми пиками елей пышными сиреневыми букетами цвели дымки. Лейтенант Стоюнин сбежал с крылечка, бледность щек выдавала его тревогу; он заложил большие пальцы за ремни снаряжения, кинул косой взгляд на «раму» и позвал Оню Свидлера.

— Старшина, немедленно загасите костры! Не видите, кто над нами?

— Не надо,— остановил я Оню, метнувшегося выполнять приказание.— «Рама» уйдет, тогда здесь костры погасите, а километра за полтора — два от расположения первого батальона их разложите.

— Правильно,— одобрил Чертыханов. Лей-

тенант Стоюнин, посмотрев мне в глаза, понял мою мысль.

— В батальон поеду я сам,— сказал он и кивнул Чертыханову. Прокофий вывел со двора лошадь Они Свидлера, и Стоюнин, вспрыгнув на нее, поморщился — без седла; затем прыснул через поляну.

Войдя в дом, я доложил полковнику Казаринову о своем замысле.

— Посмотрим,— ответил полковник, давая мысленно оценку моему решению.— Скоро прилетят штурмовики.— Он сидел на кровати у окошка; проводив взглядом «раму», посмотрел на часы.— Минут через сорок.— И повторил: — Посмотрим...

Я вышел на крылечко. Разведчик, посеяв в лесу напряженное чувство тревоги и ожидания, въедливо зудя, медленно уплыл среди лебединых стай облаков. Костры на поляне были погашены. Успеют ли зажечь их на новом месте?.. Подбежал Вася Ежик; он никогда не уводил свое стадо далеко от избы.

— Налет будет, товарищ лейтенант?

— По всей вероятности, да, Вася.

— Что мне делать с козами? Загнать во двор? Накачались они на мою шею, окаянные! Скорее бы их съели!

— Скоро съедим,— ответил я, думая о своем,— потерпи немного...

Вмешался Чертыханов.

— Не лезь, Василий, к командиру со своими козьими проблемами. Загони скотину в лес, чтоб на поляне ни одной животной не бродило...

В эту минуту тишины и томительного ожидания бомбежки я думал о Нине. Я горько пожалел, что ее нет рядом со мной: она сняла бы с меня тяжкую ношу беспокойства и опасений за нее. Что она сейчас делает? Убережет ли ее Никита? Убережет ли она сама себя? Я все время ощущал на себе ее строгий и горячий взгляд — она следила за каждым моим шагом, прислушивалась к каждому моему слову. И мне все время хотелось, чтобы она видела меня решительным, стойким и умным.

Я ждал самолеты с запада, а они выплыли с северо-востока, видимо от Смоленска. Лес как бы притих, оцепенел, скованный грозным ревом моторов. «Опоздали, не успели запалить костров», — с чувством тоски и злости отметил я и украдкой взглянул на окно избушки. Сквозь запыленное стекло желтело лицо полковника Казаринова. Теперь самолеты, обнаружив дымов, начнут швырять бомбы по всему лесу...

Машины выстроились в «карусель» далеко от нашего штаба, и до нас долетело пронзительное завывание самолета, упавшего в пике. Взрывы сотрясали деревья от корней до самых вершин. Жалобно блеяли козы. Стоюнин, огибая поляну, мчался на взмыленной лошади. Осадил ее на полном скаку.

— Костры горят, товарищ лейтенант! — крикнул он и прошел в штаб, морщась, некрасиво ковыляя: гнал без седла. Я был счастлив, я вырос в собственных глазах: хитрость моя удалась, жизни многих людей спасены. Чертыханов проникся ко мне еще большим уваже-

нием. Он отметил, жмуря при каждом взрыве маленькие свои глазки:

— Крошат, как по нотам, а место пустое.

В это время прямо над коньком избушки, почти касаясь острых еловых вершин, прошло звено наших истребителей. Они с разлету врезались в круг немецких машин, разорвали его. Суетливо крутясь, они обстреливали тяжелые вражеские бомбардировщики.

Сверху упали внезапно появившиеся немецкие «мессершмитты». Я никогда не видел воздушного боя, подобного этому. В небе над лесом стало как будто темно и тесно от смешавшихся машин. То там, то тут блеснет вдруг алое крыло нашего истребителя и опять померкнет, заслоненное чернотой вражеских крыльев. Иступленно, до невозможного напряжения визжа, они гонялись друг за другом, резали друг друга огненными струями... Дважды вспыхнуло клубком пламя, и косо падающие бомбардировщики перечеркнули облачное небо черными, как деготь, полосами. Потом, безвольно колыхаясь, потянул к земле «мессершмитт». Прямо над поляной, над нашей головой немецкий истребитель настиг нашего истребителя, путившего вниз вражескую машину. Я видел, как беспощадная режущая струя прошила самолет. Он загорелся мгновенно, какуюто долю секунды висел на месте и, пылая, стал падать на землю. У меня перехватило дыхание. «Погиб...» — с отчаянием подумал я, не в силах оторвать взгляда от этого самолета. Но вот от него отвалилась черная точка. Над ней вздулся белый парашют, и точка как бы замерла в воздухе; летчик снижался медленно,

воздушные струи относили его влево. «Спасен!» Едва я успел подумать об этом, как вражеский истребитель, проносясь мимо снижающегося летчика, хлестнул его очередь. Летчика резко встряхнуло, и я с болью понял, что он перерезан свинцом.

Паращют зацепился за ель неподалеку от нашей поляны. Чертыханов нашел его первым. Летчик висел на стропах, немного не доставая ногами земли. Он был мертв. Скольких еще молодых, порывистых, смело расправивших крылья, влюбленных в жизнь кинет война в холодные, вечные объятия земли, сколько погасит еще светильников, сколько скосит цветов?!

В кармане гимнастерки летчика я нашел карточку жены. Она лукаво и ослепляюще смеялась, сузив свои большие глаза. Я представил молодую красивую русскую женщину, ее любовь, безжалостно перечеркнутую смертельной вражеской очередью, и некая великая и простая мудрость коснулась души: люди рождаются для жизни, для радости любви, и враги жизни, одевающие землю черным покрывалом смерти, должны быть истреблены. Великое благо совершалось нами, советскими воинами, вышедшими на поединок с фашизмом...

7

До самого вечера я объезжал на лошади подразделения. Ни один человек не пострадал от налета вражеской авиации. Только убило лошадь в обозе Они Свидлера, перевернуло повозку с водой и взрывной волной смыло па-

латку; сорванный с кольев брезент взлетел и повис на распластанных еловых ветвях.

Но люди выглядели озабоченными и строгими. После короткого боя и захвата вражеских грузовиков, после бомбежки всем стало ясно, что мирная жизнь в благоухающем лесу, на зеленых полянах кончилась.

В третьем батальоне ночью ушло из расположения стрелковое отделение вместе с командиром.

Два красноармейца из второго батальона улизили в хуторок. Две молодые женщины спрятали их, переодетых, в клетях и подполах для ночных радостей. Бойцов привели в роту под конвоем. Капитан Волтузин, обрадованный моим приездом, оживленно сообщая об этом факте, заключил примирительно:

— Простил я им, лейтенант, винюсь; что значат жалкие упреки и наказания перед могучими законами жизни! Я их пристыдил. Иногда пристыдить человека — это куда сильнее, чем наставить на него дуло пистолета. Я уверен, что эти солдаты в бою покажут себя отважными.

Я взглянул в ясное, радостно-возбужденное лицо капитана и усмехнулся.

— Либерал на войне — очень любопытно! Как же это вы, капитан, осмелились напасть на вражеские машины?! Без приказа!

Волтузин раскатисто засмеялся, чуть запрокинув крупную голову, подхватил меня под руку: понял мой шуточный намек.

— Мой лейтенант, не сердитесь: инстинкт самосохранения. Это врожденное. Когда на вас летит на своей колеснице сама госпожа

Смерть, вы обязательно отмахнетесь. Мы отмахнулись. Только и всего... Но знаете, что я твердо усвоил? Если бы за четыремья машинами двигалось еще десять, двадцать, сто — мои солдаты разгромили бы и их! Скопившаяся ненависть сосет под ложечкой, просится наружу!

Мы подошли к автомашинам. Они стояли на дороге метрах в двадцати друг от друга: у одной были сильно покорежены крылья и капот, в смотровом стекле три дырочки с расходящимися от них лучами; у другой в щепки разбит кузов, видимо угодила граната. Третья, свернув влево, тупо уткнулась лбом в ствол сосны... Я вспрыгнул в кабину, надавил ногой на педаль стартера, и мотор завелся,— я вырулил машину на дорогу.

Прокофий Чертыханов, державший лошадей в поводу, изумленно воскликнул:

— Товарищ лейтенант, на черта же нужны нам эти бесседельные клячи! Бросим их. Дадим газу и дунем, как по нотам,— сто верст в час. До Москвы на таком моторе рукой подать...

Я выпрыгнул из кабины.

— Хорошая машина,— сказал я Волтузину, вспомнив о своей дребезжащей почтовой полуторке.— Узнайте, нет ли среди ваших бойцов шофера. Машина может нам пригодиться на первых порах...

— Найдутся,— заверил Волтузин, опять беря меня под руку. Он не признавал затруднений и сомнений.

Мы прошлись вдоль дороги. Сбоку выстроились в ровный ряд высокие сосны, словно медные, туго натянутые струны; казалось, тронь

их, и по лесу разольется низкий мелодичный звон.

— Тишина какая, лейтенант,— проговорил Волтузин, глядя на вершины сосен,— мудрая, почти таинственная... Что для нее взрывы? Камень, брошенный в океан... Дым рассеется, звуки смолкнут, тишина победит... Знаете, я только сегодня осмыслил одну вещь: Ахиллес, герой гомеровского эпоса, был непобедим оттого, что на нем была стальная кольчуга. А кольчуги в то время ковались только у нас, в Керчи. Ахиллес был тавро-скифским вождем, славянским богатырем... И мы, выходит, его потомки...

Ты, Ахиллес, о любимец Зевеса, велишь разгадать
Гнев Аполлона — владыки, далеко разящего бога...—

прочитал я, вспомнив строку из «Илиады». И Волтузин тотчас подхватил:

Если один Ахиллес на Троян устремится, ни мига
В поле не выдержать им Экидова бурного сына...

Мирной свежестью и теплом повеяло от этих напевно и высокопарно прозвучавших гекзаметров; они как бы резче подчеркнули трагичность нашего положения. Я не стал вдаваться в подробности и оспаривать странное и, должно быть, неверное открытие Волтузина. Я только отметил, что капитан был в мыслях своих далек от войны, от боев, от убийств. И сражался он потому, что хотел отстоять право мыслить, право делать странные, спорные выводы.

Мимо нас два бойца пронесли на палке жестяной бак с водой.

— Имейте в виду, капитан,— напомнил я комбату,— пищу готовить только ночью. И чтобы поменьше было видно пламя.

— Шибко образованный этот капитан,— не без уважительности сказал Чертыханов, когда мы простились с Волтузиным.— Учеными словами сыплет, точно горохом.

Я промолчал. Бодрое, боевое настроение бойцов, готовых в любую минуту сняться и двинуться в путь, вступить в сражение, не уменьшило во мне саднящего, незатихающего беспокойства: прошло трое суток, а группа Щукина все еще не возвращалась.

Нет, находиться в действии, в деле, конечно, опаснее, но, безусловно, спокойнее — не до раздумий! — чем вот так, послав людей на задание, буквально сохнуть в ожидании от предположений, от догадок.

— Они, я думаю, товарищ лейтенант, далеко закатились, — угадав мои размышления, проговорил Чертыханов утешающим тоном и, понукая лошадь, подъехал ко мне, коленкой своей толкнул мою коленку. — Черти ведь! Рисковые! В запале ушли как по волчьему следу, а на дороге всякое бывает — встречи, проводы: одних угостить тем, что в руках имеется, других поздравить с прибытием на нашу землю. А гитлеровцы, само собой, ответят на поздравления... Вот и задержка!.. Однажды покойный капитан Суворов приказал мне на минутку в роту слетать: одна нога здесь, другая там. Сколько я шел? До вечера. Завидел меня вражеский летчик — как начал гоняться, да как начал меня посыпать свинцовым дождем! Я сперва отвечал ему тем же, очередями из автомата. Патроны

кончились, камнями стал швырять. А фриц, зараза, свесил рожу через борт, смеется на меня. И уже не стреляет, видно, тоже заряды кончились. Но только снизится — вот-вот пилотку с головы сорвет, проклятый, — я бух в борозду, лежу. Машина проревет над головой, уйдет, я опять встаю, бегу. А летчик опять на меня пикирует. И так несколько раз. И доигрался. Пружинка, видно, какая-то лопнула, и самолет врезался в землю, как по нотам!.. Там ему и место... И у разведчиков могло случиться что-нибудь в том же роде... Придут.

Шукин вернулся на рассвете. Он привез с собой обоз, отбитый у немцев на дороге. Пустынная поляна вдруг ожила: бойцы окружили подводы с трофеями, награждали разведчиков поощрительными увесистыми хлопками по плечам. В синих, глубоко запавших глазах политура появилось что-то жесткое, в сдержанных движениях — порывистое, резкое. Он скупно улыбнулся, сжимая мне руку.

— Вы как тут? Уцелели? Думал, что после такой бомбежки от вас один прах остался.

Рослые рыжие лошади с куцыми хвостами и впалыми боками, устало пофыркивая, тянулись к траве. Вдоль обоза патрулировал с автоматом наготове воодушевленный Чертыханов, грозно осаживая любопытных.

— Товарищи, не суйтесь! Отступите от добра не меньше как на пять шагов!

Оня Свидлер был уже тут; он распределял по батальонам мешки с круглыми шоколадными плитками, завернутыми в скрипучий целлофан, ящики с сигаретами, с бутербродами, с рыбными консервами.

Четверо бойцов снимали с подводы массивное, огромной тяжести зубо-врачебное кресло, металлическое, с красным бархатным сиденьем и красными подлокотниками и подзатыльником.

— Зачем оно? — я удивленно рассмеялся, указывая на кресло.

Щукин, скупно улыбаясь, пожал плечами.

— Может, пригодится. — Он пристально и как-то сочувствующе посмотрел на меня, кивнул головой в сторону подводы. — Пойди взгляни. Там дружок твой...

На одном из возов, на предпоследнем, под присмотром сержанта Кочетовского сидели двое пленных со связанными руками: майор и обер-лейтенант. Они посмотрели на меня бледными, застывшими в ненависти и недоумении глазами и отвернулись.

А в последней повозке, стоявшей в лесу, среди раненых бойцов я сразу увидел человека в гражданской одежде. Это был Никита Добров, я узнал его со спины. Но что такое?! Голова на его плечах была как будто чужая, по-стариковски седая. Я не поверил своим глазам. Голова эта потрясла меня.

— Седой!.. — невольно и с болью вырвалось у меня. — Никита, почему ты седой?

— Война, Дима, — ответил он и поморщился, поворачиваясь, чтобы слезть с повозки; плечо его и грудь были обмотаны белой запыленной тряпкой, видимо разорванной нижней рубашкой; кровь, пропитавшая ткань, запеклась темными лепешками.

Я усадил его на пень и крикнул Чертыханову:

— Позови Раису Филипповну!

Никита прикрыл свои синие, смертельно уставшие глаза.

— Ох, Дима, — произнес он и глубоко-глубоко вздохнул. — Погоди, сейчас расскажу... Только закурю.

8

Никита Добров почти на четвереньках пролез в шалашик и молча присел у входа. Филипп Иванович Сквородников созвал всех командиров взводов. Сложив по-турецки ноги, он сидел на увядших березовых ветках, накрытых мешковиной, и, склонив голову, изучал карту; в зеленоватом сумраке тускло белела его широкая лысина. Мамлеев, пристроившись сбоку, тоже заглядывал в разложенный на коленях командира отряда лист.

— Так что же, товарищи... — Филипп Иванович приподнял лицо, хмурое, немного обрюзгшее, утомленное. Наплывы под глазами обозначились резче — Огляделись, отдохнули — пора и честь знать. А то негоже получается... Немцы прут, не оглядываясь, и по земле, и по воздуху, и по рельсам, а мы им никакого препятствия не оказываем. Этак всю кампанию просидеть можно. В войсках да и в народе, небось, думают, что мы тут партизаним всюю... — Филипп Иванович выпрямил спину, провел ладонью по карте и произнес со сдержанным волнением (впервые принимал боевое решение): — Мы вот с товарищем Мамлеевым взялись испробовать свои силы, на что годимся... Посылаем нынче три группы. Одна пойдет на большак... Ты, Василий, пойдешь. Слышишь, Свищев?

— Слышу, Филипп Иванович, — отозвался немолодой коренастый мужчина в малахае.

— С тобой пойдет товарищ Мамлеев. Другая группа — тут всем взводом надо двигаться — сделает налет на гарнизон в деревне Коржи. Там тыловики задержались. Тут ты, Константин, пошупаешь, густо или жидко. И я пойду с твоим взводом... Третья группа выйдет на железную дорогу, на перегон, где стоит под откосом разбитый состав. Поезда проходят каждый час на Ельню, на Смоленск, к месту боев. Это на твою долю, Никита. Подбери ребят, этого новенького, окруженца, возьми, проверь в деле... При отступлении, при погоне — по-всякому может обернуться — сюда не идите, вводите неприятеля в сторону, заматайте следы. А не то разобьют наше гнездо — не оправишься. Действуйте решительнее. Немцы пока не пуганы, даже не догадываются, что для них готовится. Это нам на руку. И ночка нам поможет, она за нас. Ну, с богом.

Нина Сокол увидела Никиту, когда он вынырнул из шалаша, и рванулась ему навстречу. Не дойдя трех шагов, остановилась, напряженная и ожидающая. Никита попробовал сделать вид, будто в шалаше ничего не произошло, и двинулся мимо. Нина решительно дернула его за рукав.

— Вот что, Никита, — заговорила она строго, — я не ребенок. Мне не нужна твоя отеческая опека. Я такой же боец, как все, скидки меня унижают. Вот! Я пойду с тобой.

Никита внимательно и, казалось, с раздражением взглянул на девушку. Платок, повязанный под шейку, с конечком над лбом, маль-

чишечий пиджак, подпоясанный ремнем, штаны, заправленные в сапоги, и оружие, так непривычно выглядевшее на ней, неузнаваемо преобразили ее; от прежней, мечтательной Нины остались разве одни глаза, продолговатые и темные под черными смелыми стрелами бровей. В ней появилось что-то вызывающее и непреклонное. Никита вдруг повеселел.

— Ладно, двух смертей не бывает, одной не миновать; на какой тропе она поджидает нас, неизвестно. Зови Ивана Заголихина!

Нина метнулась в сторону и пропала за кустами молодого березняка.

Никита, выйдя на поляну, окликнул человека в серой кепочке, сидящего на корточках перед потухающим костром.

— Смышляев! — Смышляев выкатывал палочкой из горячей золы печеную картошку. Он повернул голову на зов, безразлично поглядел на приближающегося Никиту, перекидывая жгучую картофелину из ладони в ладонь.

— Что такое? — спросил он, продолжая сидеть на корточках; картофелина, должно быть, уже остыла, но он по привычке кидал ее из руки в руку.

— Готовься, скоро пойдем на задание.

— Какое?

— После узнаешь.

— Я всегда готов, как пионер, — отозвался Смышляев с принужденной шутливостью.

— Пионеры для такого дела не подходят, нужны бойцы, — бросил Никита и, отходя, подумал с неприязнью: «Черт его знает, какой он, этот Смышляев? Зря сунул мне его Филипп Иванович... — Но сейчас же возразил себе: —

Не один Смышляев из окруженцев. Должно быть, напуган здорово, никак не оправится».

Группа Никиты Доброва в пять человек покинула расположение отряда еще засветло. Хорошо отдохнувшие, выгулявшиеся на лесных полянах колхозные кони шли спорым шагом, пофыркивая и мотая головами. Никита изредка поглядывал на Нину, и губы его трогала сдержанная улыбка. Нина сидела на низенькой, с широким брюхом кобыле прямо и как-то торжественно; Нине, по-видимому, нравился этот таинственный рейс, когда впереди, за каждым деревом, в поле, на дорожных перекрестках затаилась опасность. Неизвестность не страшила ее.

Смышляев, тихонько посвистывая, напряженно и с подозрением оглядывался вокруг, вздрагивая от шумного лошадиного фырканья.

Иван Заголихин, увешанный толстыми шашками, сонно качаясь в такт лошадиным шагам, глядел в промежутки между ушами мерина.

Пятый, Серега Хмуров, длинноногий и длиннорукий подросток, помощник комбайнера, все время отставал, а потом трусцой догонял, встряхивая локтями, словно птенец голыми крылышками.

В сумерки они выехали к тому месту, где Никиту угощал сигаретами немецкий мотоциклист. Остановились. Где-то далеко-далеко рвались снаряды и мины, и гул разрывов, сливаясь воедино, долетал сюда, слабый, притушенный расстоянием; изредка пролетал самолет, звук его незаметно возникал, усиливался и стихал, отдаваясь. Дорога была знакома Ни-

ките и Нине; она пересечет лесной массив и выведет к ржаному полю, а там, за полем — линия железной дороги.

На опушке спешили. Никита оставил Сергею Хмурова с лошадьми. На половине поля рожь была скошена, бесформенными кучами чернели крестцы снопов. Молча пошли, шурша ногами по жнивью. Никита нес в сумке от противогАЗа две мины нажимного действия. Задерживались, прислушивались, опять шли... Где-то вдальеке возник характерный перестук идущего поезда. Никита испугался: опоздали. Но сейчас же успокоил себя: ночь только началась, пойдут другие... Дробный перестук справа вдруг перекинулся налево. Эшелон шел со стороны фронта... Паровоз, рассеивая искры, оглушительно пыхтя, с натугой тянул на подъем длинный траурно-черный — без единого огонька — состав вагонов, должно быть, с ранеными солдатами. Никита с Ниной присели за снопы, Иван Заголихин и Смышляев скрылись за другим крестцом. Ночь, густая и печальная, мягко, ласково обняла землю, заботливо, как надежная и добрая сообщница, закрыла своей темнотой партизан от вражеских глаз. Поезд прополз, удалился, хотя долго еще слышался, замирая, стонущий, болезненный перестук его колес.

— Смышляев и Нина Сокол остаются здесь, — сказал Никита вполголоса. — В случае чего прикрывайте нас огнем.

— Свою мину я заложу сама, — настойчиво заявила Нина.

Никита разозлился, сердито и с хрипом прошептал ей в лицо:

— Делай, что тебе говорят!

Нина как будто съежилась вся, молча и то-ропливо начала снимать противогазовую сумку с миной. И Никита вдруг пожалел девушку: столько она уже перетерпела, столько времени ждала первого боевого задания, этой вот минуты... Быть может, такой случай и не повторится никогда. Никита остановил ее руку, снимавшую через голову сумку, тихо произнес, как бы раскаиваясь за свой порыв:

— Достанется же мне от твоего Ракитина..

В ответ Нина только улыбнулась, благодарно, дружески. А Смышляев, привалившийся к снопам, внезапно встрепенулся, вытянулся, с паническим страхом глядя на Никиту и Нину. Никита обеспокоенно спросил его:

— Ты чего испугался, услышал что-нибудь? — Никита насторожился. Было глухо вокруг. Только сильными и редкими рывками билось сердце.— Ты понял, что я тебе сказал?

— Что ж тут не понять? — Смышляев опять навалился на снопы, спокойный и равнодушный.— Действуйте...

Приблизившись к насыпи, Никита опять остановился, оглядываясь, ловя ночные шорохи. Иван Заголихин подтолкнул его под локоть, и возле уха Никиты как будто прозвучала низкая басовая струна:

— Никакой охраны тут нет... Еще не догадались. Идем.

На дне канавы, смутно проступая во мраке, громоздились сброшенные с насыпи вагоны разбитого пассажирского поезда.

— Помнишь, Нина? — прошептал Никита.

Нина сильно, взволнованно сжала ему руку.

— Да. Девочка в голубом платье бежала тут...— Оторвавшись от Никиты, Нина легко вскарабкалась по крутой песчаной, заросшей редкой травой насыпи.

Никита и Иван вползли за ней. Присели на рельсах, замерли,— только блеск в глазах, живой, тревожный и чуткий. Рельсы, холодно и тускло отсвечивая, расходились в стороны, иглами вонзаясь во тьму, и едва уловимо, подобно комариному зудению, звенели.

— Так,— сказал Никита. Убедившись в том, что опасность не угрожает, он как бы скинул с себя сковывающий тело страх.— Теперь начнем... Спокойно, без спешки, наверняка. Подложим под обе рельсы. Иван, подкапывай здесь... Мину готовь... взрывчатку...

Нина выхватила у Ивана деревянную — чтобы не звенела о камни и железо — лопатку и принялась выкапывать ямку под шпалой. Что-то шептала, ободряя себя.

Никита, следя за ней, удивлялся: откуда у нее бралось столько силы и ловкости?.. Иван Заголихин, помогая девушке, руками отваливал песок и камни из ямки, дышал шумно и прерывисто.

— Хватит,— прогудел он.— Иди закладывай...— Глухой бас его показался оглушительным, и Нина, вздрогнув, кулачком толкнула его в коленку:

— Тихо, ты!.. Иди, Никита.

Никита перекинулся от одной рельсы к другой, прижался, распластываясь на шпалах, все время озираясь и прислушиваясь. Он подложил мину, толовые шашки, осторожно вставил взрыватель, проверил.

— Засыпайте,— прошептал он и отодвинулся, сел на рельсу, снял кепку, вытер лицо и лоб рукавом.— Хорошо засыпайте, чтоб незаметно было...

— Все,— отозвался Иван, подползая к Никите.

Нина задержалась на секунду, и в темноте обжигающе горячо прошелестела ее страшная по своей жестокости мольба:

— Господи, хоть бы поезд прошел, хоть бы взорвалась...

Они тихо спустились с насыпи, обогнули лежащий вверх колесами пассажирский вагон и побрели по полю к тому месту, где оставили Смышляева. Его на месте не оказалось. Обшарили крестцы снопов, предполагая, что он задремал, пока они возились у рельс, раза два окликнули. Смышляев исчез. Никита вдруг затосковал, обессиленно опустил на сноп. И зачем только взял с собой непроверенного, неизвестного человека!..

— Шкура! — пробасил Иван и со злостью ударил сноп ногой.— Видно было, что он, как волк, на сторону косится. Хорошо, если спрятался где-нибудь, просто не захотел воевать, а если к немцам перекинулся?.. Тогда вся наша работа впустую...

— Ой, неужели он это сделает! — простонала Нина.— Что же теперь, Никита?..

— Подождем здесь немного. В случае, если немцев приведет, хоть огнем встретить...— Но, посидев полчаса в томительной тишине, невольно вздрагивая от малейшего шороха, все время ощущая предательски подкрадываю-

щуюся опасность, Никита встал.— Идемте к лошадям...

— А поезда ждать не станем? — спросила Нина и, разочарованно поднимаясь, посмотрела на небо. Облака широко раздвинулись, обнажив густо роившиеся, все в иголочках звезды. Блеск их, рассеяв темень, высветлил вышину, а внизу мрак как бы уплотнился, непроницаемостью своей обволок предметы и людей. На середине поля Нина остановилась, задержав Никиту и Ивана,— сквозь шуршание шагов по жнивью она уловила звук, похожий на стрекот кузнечика. Стрекот настойчиво пробивался сквозь все шорохи, сквозь лесные массивы и темень. Через несколько минут ожидания кузнечик уже отчетливо выстукивал свою бодрую, неутомимую, скрипучую трель. А еще через несколько минут будто кузнец уже бил тяжелым молотом по звонкому металлу: по дороге мчался поезд. Тысячи отзвуков мешали определить его направление: сначала он шел слева и вызвал в партизанах досаду, затем неожиданно перескочил направо и задержался там, стуча все громче и громче.

— А если не взорвется? — прошептала Нина, изо всей силы сжимая локоть Никиты; глаза ее были большие, настороженные, нетерпеливо и ожидающе блестели. Иван Заголихин густым баском успокоил ее:

— Взорвется. Взлетят, как миленькие.— Но видно было, что сомнение терзало и его.

Никита молчал. Он следил за вспышками искр, вылетающих из трубы локомотива; вспышки эти возникали все ближе, ближе... Вот локомотив уже на том, на заминирован-

ном, как ему казалось, месте, а взрыва не последовало. Сердце Никиты оборвалось. Еще секунда, еще несколько вспышек искр, а взрыва нет... Еще вспышка... глухой, глубокий, огромной силы удар долбанул землю. Гремящими раскатами расплеснулся вширь, разрывая воздух. Темнота, разодранная накалом, сумасшедшими тенями заплясала по полю. Звуковая волна ушла вдаль, качая деревья, а на полотне дороги — лязг, треск и скрежет вставших на дыбы, опрокидывавшихся под откос вагонов.

Иван Заголихин внезапно, как леший, захотел и стукнул Нину по плечу так, что у нее подкосились ноги. Она присела.

— А ты говорила, не взорвется!

Никита, улыбнувшись ему, опять снял кепку и рукавом вытер вспотевший лоб. Слушая треск и скрежет, глядя на возникшее пламя, Нина мстительно, с фанатическим упорством шептала:

— За голубое платье... За девочку...

На опушке, в густом и мокром от росы ольховнике они отыскивали Серегу Хмурова. Испуганный и, видимо, пострадавший за бесконечные часы ожидания в темноте, он с воплем кинулся к Ивану Заголихину,

— Живы! Вернулись! — Он весь сильно дрожал то ли от ночной сырости, то ли от страха; у него громко стучали зубы. — Как его трянуло, поезд-то, даже лес закачало! — Подросток, озираясь, прислушался к резкому шипению, скрежету и крикам, несущимся от дороги.

Заголихин грубовато оттолкнул Серегу:

— погоди, не лезь. Смышляев тут был?

— Был. Он и сказал, что вас всех поймали.

Только он один спасся. Взял лошадь и угнал. Сказал, чтобы и я уезжал, если жить хочу.— В словах Сереги слышались слезы обиды.— Едемте скорее с этого места, как бы они погоню не начали...— Он засуетился, подводя к Никите лошадь.— Садись...

— Предатель! Волк! — выругался Иван, задыхаясь от ярости, и сел на лошадь.— Одного желаю: встретиться еще раз с этим Смышляевым!

Воздух в лесу постепенно начал сереть, деревья расплывчато проступали в темноте. Подрывники возвращались в отряд. Никита думал о Смышляеве, и, казалось, все шире, шире раскрывалась перед ним черная бездна; Никита ужасался, его охватило омерзение, лютая обессиливающая злоба.

— Может быть, нам другим путем ехать, Иван? — обратился Никита к Заголихину.— Смышляев может пустить на наш след...

Иван пренебрежительно отмахнулся.

— Кто сунется сюда? Немцы боятся лесов, как черт ладана! — Возбужденный удачным выполнением задания, потерявший в безрассудном азарте осторожность, Заголихин чувствовал себя в родных лесах недосыгаемым, неуязвимым. Он даже щеголял немного своей удалью; даже его угрюмая неподвижность исчезла и ленивый басок налился чистым звоном.— Хозяева здесь — мы!

Беспечная — от неопытности — уверенность эта и перечеркнула, вытеснила сомнения Никиты, о чем он горько пожалел спустя некоторое время.

Подрывники миновали место встречи Ники-

ты и Нины с немецким мотоциклистом, пересекли поле, длинным языком вдававшееся в лесной массив; они уже вторглись в нерассеянный сумрак густых еловых зарослей и свернули с дороги, ведущей не в Жеребцово, а вправо, в расположение отряда, когда беда внезапно и безжалостно обрушилась на их головы.

Немецкие солдаты,— привел ли их сюда Смышляев или другой кто, трудно сказать,— выскочили из засады в тот момент, когда настороженность партизан притупилась; место взрыва эшелона осталось далеко позади, заросшая тропа была глухая, нехоженная, лошади тихо покачивали остывших от возбуждения седоков. Что-то удивительно теплое и приятное шевелилось в душе Никиты, он едва заметно улыбался, смежив синие глаза: боевая жизнь его началась с большого и трудного... Как хорошо, что он попал к мужественным людям, к Филиппу Ивановичу, к Мамлееву. Приняли, поверили... Он оправдал их доверие... Вот он явится в отряд, вползет в шалашик к Сквородникову и доложит, что задание выполнено точно, эшелон пущен под откос. Такой рапорт незазорно отдать самому большому начальнику... Никита покосился на Нину, она сидела на лошади прямо, гордая Жанна д'Арк. Теперь и за нее нечего беспокоиться, не струсит, не задрожит, поведением своим — в бою ли, в трудностях ли лесной жизни — не вызовет жалости к себе, а если погибнет, то мужественно... И ребята надежные: Иван, Серега, Иван держится героем от сознания выполненного долга. И Серега, мальчишка еще, духом еще не окреп, а не уехал из ольховника с ло-

шадьми, ждал, хоть и дрожал от страха... Отстал, плетется сзади где-то...

Трое солдат, вывернувшись из-под елей, кинулись к Никите. Он даже не успел осмыслить того, что произошло, не успел схватиться за оружие. Лошадь, испугавшись, шарахнулась от солдат. Никита вылетел из седла, больно ударившись о ствол, постепенно отполз в сторону, за ствол ели, — внезапно разит без промаха, хлеще пули. Во время прыжка лошади автомат выпал из рук, остался один пистолет Никита выстрелил раз, другой, третий... Он видел, как несколько сильных рук стащили с седла Нину, придавили к земле. Четверо солдат облепили Ивана Заголихина, били его, стараясь свалить; опасность влила в Ивана нечеловеческую силу, и, здоровенный, он волок их на себе в сторону от тропы, дико рычал, перекрывая тревожную немецкую речь; на один миг мелькнул его кулак, зажавший гранату, оскаленные зубы выдернули чеку, и грохнул взрыв... Заголихин взорвал себя и насевших на него немцев. Вслед за взрывом раздались крики, затем стоны раненых.

Никита знал, что в пистолете остался один патрон — для собственного виска. Но увидел, как вывернулся из-за дерева гитлеровец, молодой, с вьющимися белокуроыми волосами, острые усики на губе хищно шевелились, и выстрелил в него. Промаяхнулся... Только тогда его резанула мысль: живым в лапы врага! Вспомнил о гранате — сделать то же, что и Иван Заголихин... Никита уже зажал ее в кулаке... Но в это время голова как будто треснула от удара, тупого и гулкого, деревянного.

Какая-то мельчайшая доля сознания сохранилась, и этой долей он услышал беспорядочные выстрелы и взвизгнувший голос, быть может Смышляева: «Держите его». И понял: оставший Серега Хмуров, услышав взрыв гранаты и крики немцев, бежал в лес.

9

В полдень Никиту и Нину привели в Жеребцово и втокнули в сарай, где сидели еще четверо: мужик, отказавшийся работать в поле, красноармеец из «окруженцев» — этот спал, подобрав под себя босые ноги, — беременная заплаканная женщина лет тридцати и старик с корзинкой, набитой красноглазыми крольчатами.

Старик чуть подвинулся, приглашая Никиту сесть рядом с собой на солому. Никита с трудом опустил ся. В голове беспрерывно звенело, в затылок словно стучали молотком; глаз посинел от удара, затек и закрылся.

Нина не в силах была сидеть, все ходила вдоль стены, мимо двери, где стоял часовой, высокий, узкоплечий солдат в очках; круглые стекла их обнимала тонкая позолоченная камешка.

В сарае кисло пахло птичьим пометом и сухой гнилью. Сквозь щели, если приблизить к ним глаза, видна была безлюдная улица, в конце ее пруд, отороченный ивовыми деревьями; с другой стороны открывалась сельская площадь с высокой голой трубой на месте сгоревшего здания сельсовета. Давно ли они вхо-

дили сюда, полные сил и надежд на борьбу... Злополучное это село, несчастливое... Отсюда Нину чуть было не угнали в Германию. Теперь, после первого же задания, очутились они в плену...

Нина опустилась возле Никиты на колени, взглянула на его распухший глаз.

— Больно?

— Черт его знает, Нина! — Никита попробовал улыбнуться ей.— Горит все и тупо ноет..

— Ах, как глупо вышло, Никита! — произнесла Нина отчаянным голосом.— Так глупо, что невыносимо стыдно!..

Никита успокоил:

— Новички мы, Нина... Что мы знали? Ни черта мы не знали! Опыта было с гулькин нос... Вот если бы снова сейчас начать!..— Он тяжело, с отчаянным стоном вздохнул.

Нина склонилась к нему еще ниже.

— Жаль, что попались мы в самом начале борьбы, ничего, в сущности, не сделали...— Лицо ее было бледное, темные глаза горели сухим огнем.

Старик, наблюдавший за ней, понял, что душа ее мечется, горит и посоветовал мягко:

— А ты, дочка, походи, походи. Когда ходишь, немножко легче становится.

Нина, до предела напряженная, отчаявшаяся и в то же время собранная, ходила вдоль стены, все время отмечая краем глаза поблескивающие стеклышки очков часового,— он наблюдал за ней то ли с любопытством, то ли с состраданием, только без ненависти.

Красноармеец во сне дернул босой ногой, задел и опрокинул корзину старика. Она рас-

крылась. Крольчата высыпали из нее — белые, черные и серые пушистые шарики; несмело, робкими прыжками поскакали по сараю. Старик не ловил и не загонял их. Нина взяла одного, беленького, с рубиновыми глазками, теплого, и прижала его к своей щеке, улыбнулась. Потом подняла с пола соломинку и дала крольчонку. Раздвоенная нежная губа его скользнула по соломинке и ткнулась Нине в подбородок. Часовой, наблюдая за Ниной, улыбнулся тонкими губами и отошел от двери. Он тут же вернулся и просунул в щель над дверцей пучок травы. Раздвоенная губа крольчонка часто-часто задвигалась, выбирая вкусные стебельки. Нина взглянула в глаза часового, серые, участливые, увеличенные стеклами очков. Солдат оглянулся назад и проговорил с улыбкой:

— Зи ниht дерьевня... Москва? — Нина кивнула. Часовой сказал не без гордости.— Их бин Вин., Вьена...

— Вена? Австрия? — спросила Нина, и часовой радостно закивал головой. Чтобы польстить ему, Нина сказала то первое, что сразу пришло на ум и что было связано с этим городом,— перед самой войной она смотрела фильм «Большой вальс»: — Штраус. Иоганн Штраус..

Австриец закивал еще радостнее.

— О! Иоганн Штраус!..

У Нины похолодела спина от зародившейся надежды. Она опять пристально, жадно, с мольбой посмотрела в глаза часовому. И он, очевидно, поняв все, о чем умолял ее взгляд, сразу посуровел лицом, отвернулся, над дверью повис его равнодушный затылок, прикрытый

пилоткой. Потом он принялся озабоченно отмеривать за дверью шаги — вперед и назад, уже не глядя на Нину, хотя она, напряженная, дрожащая, стояла у двери, бессознательно перебирая длинные уши крольчонка, все еще надеясь на счастливый исход. Часовой так и не взглянул на нее. Нина пустила крольчонка на пол, присела к Никите, обхватила колени руками, произнесла с глухой тоской:

— Папу жалко... И Диму...

— Не думай об этом.— Никита положил руку ей на плечо, спина ее дрожала.— Крепись!

Часовой все вышагивал мимо дверцы. Раза два стеклышки очков блеснули розовым светом, отражая закатное солнце. Багряные лучи проникли сквозь щели, угасающие и печальные. В сарае темно. Никита оглядывался, не найдется ли места для лазейки. Часовой перестал шагать, над дверцей опять задрожали очки. Он, видимо, отыскивал в полумраке Нину. Никита подтолкнул ее к нему. За Ниной проскакали три беленьких крольчонка. Австриец был бледен, серьезен и озабочен. Он и девушка стояли, разделенные дверью,— глаза в глаза. Он решительно кивнул. Затем в щель между досками просунулась палка, отодрала нижнюю доску, и Нина услышала его торопливый шепот, разобрав лишь два слова:

— Шнель. Скорьей!..

Нина нагнулась к дыре. Но тут же выпрямилась, позвала шепотом:

— Никита, иди!..

Все, кто лежал и сидел на соломе, зашевелились, даже красноармеец проснулся, потя-

нулись к спасительной дыре. Часовой воскликнул, всполошенно озираясь:

— Найн, найн!..

Нина замешкалась. Никита, поняв часового, властно приказал девушке:

— Иди одна. Иди скорее.— И толкнул ее к дыре.— Прощай.

Нина, тоненькая и гибкая, проворно выскользнула из сарая, метнулась за угол, за ней, словно белые мячики, попрыгали в дыру три белых крольчонка. Часовой снова заслонил дыру доской, заколотил. Затем принялся ходить мимо двери. Никита был потрясен: всего ожидал, только не этого. Что толкнуло этого солдата на такой великодушный и опасный шаг? Вражда ли к гитлеровцам, которые относятся к австрийцам, должно быть, как к людям низшей породы, или жалость к девушке, юной, красивой, которая должна погибнуть; ведь гитлеровцы — он это, должно быть, отлично знал — расправляются со своими жертвами жестоко и беспощадно. Так или иначе, но совершилось величайшее благо, и Никите стало легче дышать, словно сняли с плеч, с души непомерную тяжесть. Теперь одному легче будет умирать. Никита подождал, когда часовой поравняется с дверью, сказал глухо, проникновенно.

— Спасибо. Данке.

Австриец на секунду задержался, мотнул головой, не поворачивая к нему лица, и прошел дальше. Никита вернулся к старику, сел на старое место. Старик, сухонький, щуплый, с седенькой клочковатой бородкой, вздохнул и прошептал с умилением:

— Выходит, сынок, мир не без добрых душ... Я заключаю, много их, добрых душ, на земле. Только они стиснуты со всех сторон темными злыми стенами, зачахли... А как отхлынет немного злая темнота, вырвется душа на простор, на свет и раскроется, расцветет... До слез ведь это хорошо, как он девчущку высвободил, словно птичку из клетки выпустил...

Когда совсем стемнело, австрийца сменил новый часовой, шумный, видимо, подвыпивший. Он громко переговаривался с австрийцем, внезапно и громко ржал, затем тяжело опрокинулся грудью на затрепавшую дверь, приподнял фонарь, заглянул в сарай, должно быть проверяя, тут ли пленные. Поставив фонарь на землю, он, как и прежний, заходил туда-сюда, весело засвистел.

Никите не спалось. Тяжкие, мучительные думы одолевали его. Он то ругал себя за то, что послушался Ивана Заголихина и поехал старой дорогой, то сожалел о том, что не взорвал себя; тосковал, что жизнь прерывалась в самом начале борьбы... Рядом глухо стонала беременная женщина, и протяжные стоны эти усиливали тоску. Никита ползком, в темноте обшарил углы. Плетень в одном месте был гнилой, залатанный снаружи доской; доска эта была плохо приколочена и легко отрывалась — только она, эта тесинка, заслоняла Никите путь к спасению, к свободе. У него колотилось сердце. Но стоило только надавить на эту тесинку, как она издавала тоненький писк; писк этот как бы повторяла вся стена, сплетенная из хвороста, сухого и хрусткого. Свист часового обрывался, огонек фонаря, ко-

лыхаясь, плыл вокруг сарая именно к тому месту, где притаился Никита.

Перед рассветом мимо сарая прошла машина, сильный свет фар — немцы безнаказанно ездили с зажженными фарами — пробился голубыми упругими струями сквозь щели, ударил по глазам заключенных и оборвался. Машина свернула за угол. Беременная женщина застонала громче, с подвывом — у нее, должно быть, начались родовые схватки.

В сарай все настойчивее просачивался серый предутренний свет; с каждой минутой он прояснялся и синел. За дверью послышался короткий разговор вновь подошедших людей с часовым. Загремел ключ, вставляемый в личину замка. Дверь заскрипела и отворилась. Вошли двое, взглядом окинули заключенных. Удивленно переглянулись, не досчитавшись Нины. Стремительно обошли углы, перетряхнули солому и поспешно выбежали вон, замкнув дверь. Опять послышался торопливый спор этих двоих с часовым. Спор быстро и угрожающе оборвался — ушли.

Женщина металась по соломе и уже пронзительно выла, кусая себе руки. Мужчины молча, беспомощно и с состраданием смотрели на роды, не зная, как помочь, что предпринять. Красноармеец испуганно отодвинулся от женщины подальше...

Дверца опять отворилась, и те же двое, брезгливо морщась от пронзительного крика женщины, знаком велели Никите подняться и следовать за ними. Один солдат с пистолетом встал впереди, второй сзади. Перешагивая порог сарая, Никита услышал слабый писк

ребенка и неожиданно улыбнулся, оглянувшись на роженицу: родился русский парень на смену ему... Солдат, идущий за Никитой, дулом пистолета подтолкнул его в спину: не задерживайся.

10

Никиту провели в школу, где у крылечка стояла легковая запыленная машина,— должно быть, пленных не тревожили до приезда начальства. Его ввели в класс. Парты были сдвинуты и поставлены одна на другую у стены, и от этого в помещении было светло и просторно, пахло вымытым полом. За столом сидел майор лет сорока, в новом мундире; чисто выбритое лицо спокойно и, будь он в гражданской одежде, даже привлекательно. Но ненавистная форма придавала лицу майора каменную бесчеловечность. Крупный, с горбинкой нос, тяжелый, раздвоенный подбородок, упрямо сложенные губы с опущенными углами и небольшие черные внимательные глаза выдавали ум и волю. Он показался Никите невысоким, потому что сидел на детской парте; за ним, на доске, в верхнем ее углу еще сохранились слова, выведенные, должно быть, рукой учительницы: «Пришла весна...» Дальше все было стерто, только чуть ниже стояли детские каракули: «Катка ду...»

— Проходите, садитесь,— сказал майор на чистом русском языке и показал на другую парту. Никита прошел и сел. Майор внимательно посмотрел на затекший, красновато-синий глаз пленного.— Вас били?

— Нет,— сказал Никита.— Это когда меня схватили...

— Курить хотите?

— Да.

Майор встал, высокий, стройный, выхоленный, положил перед Никитой пачку сигарет и зажигалку.

— Может быть, кофе желаете? — на столе стоял голубой термос с блестящей пробкой.

— Погодите, покурю сначала...— Никита затянулся дымом, улыбаясь,— второй раз немцы выручают с куревом.

Майор внимательно, изучающе наблюдал за ним.

— Как вас звать?

— Добров, Никита.

Майор улыбнулся краешком губ, потрогал пальцем седой висок.

— Похоже на Добрыня Никитич. Русский богатырь.

— Да, похоже.— Никита, тоже прищурив глаз, сквозь синий дымок сигареты внимательно изучал майора.— Откуда вы знаете русский язык?

— Я не раз бывал в России... В берлинском университете изучал ее историю.. Вы из Москвы? Где вы там работали?

— На заводе имени Сталина, в кузнице, мастером...

Майор помедлил, опустив взгляд, аккуратно сбил с кончика сигареты пепел на бумажку и спросил неожиданно, с намерением застать Никиту врасплох:

— Когда бежала партизанка Нина Сокол, ваша соучастница?

— Ночью,— ответил Никита, не задумываясь, спокойно.— Вернее, под утро.

— Почему же вы с ней не бежали?

— Ваш приезд помешал.

Майор понял, что перед ним не такой проstack, каким Никита казался по своему виду, и строго спросил:

— Это вы взорвали эшелон?

— Нет.

— Бойтесь признаться?

Никита пожал плечами, ответил нехотя:

— Я ничего и никого не боюсь.

Майор кивнул солдату, стоящему у порога. Тот приоткрыл дверь, и в класс несмело шагнул Смышляев, стащил с головы кепочку, начал комкать ее в руках, блудливо бегая бесцветными глазами и стараясь не смотреть на Никиту.

— Подойдите поближе,— приказал ему майор строго и брезгливо. Смышляев неслышно, на цыпочках приблизился почти к самому столу. Колкие мурашки горячо обсыпали спину Никиты, будто шевельнулись волосы на затылке.— Кто это? — спросил майор, кивая на Никиту.— Вглядитесь лучше и ответьте.

Нет ничего омерзительнее глаз предателя! Никита встретился одним своим синим, уставшим глазом со взглядом Смышляева и содрогнулся, словно взглянул в глаза мертвецу.

— Добров Никита,— признался Смышляев.

У Никиты уже вполне ощутимо зашевелились волосы на затылке.

— Он взорвал поезд?

— Он,— ответил Смышляев.

Никита рванулся с парты и со всей силой ударил Смышляева в лицо. Тот опрокинулся и, чтобы устоять на ногах, сделал несколько шагов назад, ткнулся в дверь, приоткрыв ее.

— Пададь!..— выругался Никита, садясь на свое место, и взглянул на майора таким ненавидящим взглядом — эх, если б можно было и ему дать по морде! — что тот откинулся на спинку парты. Но ни один мускул не дрогнул на лице майора, он только кивнул часовому, чтобы увели Смышляева.

— В данном случае вы найдете во мне сочувствие,— подчеркнул майор.— Предатель — самая гнусная фигура на войне, достойная презрения и уничтожения. Я вас понимаю и поддерживаю. Так поступил бы каждый патриот.— Майор облокотился на стол, придвинувшись ближе к Никите; Никита понял, что сейчас начнется разговор «без дураков».— Я настроен к вам благожелательно,— произнес майор,— и мне хотелось бы рассеять ваши заблуждения. Ваши диверсии, партизанские набеги — не больше, как уколы, дробинки для слона. Вы тратите силу, энергию, стреляете дробью, а слон идет себе да идет. Наша армия не полки ваши разбивает, а целые армии. В районе Минска окружено более трехсот тысяч человек. Здесь, в районе Смоленска, столько же. Начинается окружение более обширной группировки под Киевом. До полного разгрома ваших армий остались считанные дни. Но мы не враги русского народа, мы не воюем против него. Мы ведем борьбу против коммунистического режима. И мы не успокоимся, пока его не искореним.

Никита глядел, не мигая, на майора и, сдерживая злобу, думал: «Ух, какой умный и опасный зверь...»

— Что вы от меня хотите, майор? — спросил Никита глухо.

Немец еще сильнее налег на парту, черные умные глаза его цепко впились в Никиту.

— На завоеванной нами территории, вероятно, будут создаваться из русских отряды для охраны порядка. Без этого не обойдется, я уверен. Нам для этих отрядов не будут нужны такие трусы и предатели, как этот Смышляев. Нужны такие, как вы, умные, сильные и храбрые. Это будет для вас самый благоразумный выход из уже проигранной вами войны!.. — Он ждал, не спуская с Никиты пристального и какого-то алчного взгляда.

В это время к крыльцу подкатила легковая машина, и в класс, широко распахнув дверь, ввалился шумный, подвыпивший офицер, розовый, с тугими щеками и светлыми глазами. Он обеими руками прижал к груди шесть винных бутылок с яркими наклейками. Обер-лейтенант что-то оживленно выкрикивал по-немецки и залиvisto, по-девичьи, смеялся. Никита из всех слов понял только имя, с которым обер-лейтенант обращался к майору: Гейнц. Майор сидел с каменным лицом, не отвечая на приветственные возгласы приятеля. Затем он встал и, подойдя к офицеру, молча отвесил ему пощечину. Обер-лейтенант оборвал смех, часто замигал белесыми ресницами, пятясь к двери; одна бутылка выпала из рук, тупо стукнулась об пол и разбилась. По полу рас-

ползлась лужа. Помещение наполнилось пряным запахом ликера.

— Болван! — выругался майор, садясь опять за стол.— Кому сражения, осколки в грудь, а вот таким — вино...

Никита смотрел в окно. За дальним лесом взошло солнце. На душе стало пусто и щемяще тоскливо. Но майор, закулив сигарету, подошел к окну, заслонил широкими плечами и далекий лес, и взошедшее молодое солнце. Никита видел теперь только его спину, туго обтянутую френчем, маслянисто отсвечивающие волосы на крепком затылке и руку с сигаретой на пояснице; на среднем пальце желтело обручальное кольцо. Майор долго стоял так, о чем-то думая.

— Вы совершили тягчайшее преступление,— сухо проговорил он, не поворачиваясь.— Мы вас расстреляем.

— Я знаю,— спокойно, почти равнодушно сказал Никита.

Майор круто, на каблуках обернулся, удивленно смерил его глазами.

— У вас, Добров, еще есть время подумать. Посидите, покурите, подумайте,— глупо же, черт возьми, отказываться от жизни!

Никита встал и хрипло, задыхаясь от ярости, проговорил ему в лицо:

— Да, мне очень хочется жить.— Он думал только об одном: не показать вида, что ему страшно. А ему было страшно до тошноты, до дрожи в ногах.— Но это не имеет значения. Борьба идет такая, что победа в ней достанется только ценою этой самой жизни. Я жалею об этом: не увижу, когда наша армия, народ

наш разгромят ваши дикие орды. Мы выжжем вас, гитлеровскую армию, как чуму. Ух, как я ненавижу вас... шакалы! — почти со стоном вырвалось у него.

Майор как будто чуть отшатнулся от его шепота. Затем, громко стуча каблуками, вышел из класса, сохраняя прежнюю сдержанность и спокойствие.

Никита опустил на парту и положил голову на сомкнутые руки. Он сидел так, в забытьи, до тех пор, пока в класс не ввалились веселый обер-лейтенант с пылающей от пощечины щекой и два солдата. Обер-лейтенант был еще более пьян и от этого еще более шумен и развязен.

Никита с трудом поднялся и, чуть покачиваясь, двинулся к выходу. Он вдруг почувствовал, что его клонит мучительная, тяжелая усталость. «Это смерть камнем повисла на шее и тянет меня к земле», — подумал он. На фронте смерть приходит всегда внезапно, неожиданно. Вот и сейчас смерть в облике пьяного офицера ступает по пятам и хохочет. Но над ним, Никитой, ей не придется позабавиться, он не станет ползать на коленях перед ней, не станет вымаливать у нее крошечку жизни. Хотя ему и хочется жить...

Никиту вывели за дровяной склад, в школьный садик. Там уже были вырыты три ямы-могилы. У могил стояли красноармеец и колхозник, — их сделали соучастниками бежавшей Нины Сокол. Старик с седенькой клочковатой бородкой суетился возле четвертой ямы, лопатой выкидывал из нее желтые глинистые комья: глина налипала на сандалии, и он то и

дело счишал ее с подошв острием лопаты. Когда подвели Никиту, старик выпрыгнул из ямы и с готовностью встал спиной к ней, вытянул руки, сухонький, маленький, смелый!

Никита тоже встал спиной к крайней яме. Из-за сарая вывернулись еще два офицера, тоже подвыпивших; майора среди них не было. Веселый толстощекий обер-лейтенант шумно обрадовался появлению друзей. Он отстранил солдат, вставших перед приговоренными к смерти, вынул из кобуры пистолет, из кармана — платок. Подозвал одного из офицеров, смеясь, сказал им что-то. Молодой немец усмехнулся, взял платок и завязал обер-лейтенанту глаза. Отступив шага на три от пленных, обер-лейтенант выстрелил один раз, второй — наугад. Пуля просвистела мимо уха Никиты. Старик вдруг упал на колени и заплакал от отчаяния и обиды на то, что с почтенной жизнью его пьяный гитлеровец играл в жмурки. Никита хотел поднять старика, нагнулся, и в это время пуля впилась ему в плечо. Он распрямился. Тогда вторая пуля ударила в грудь. Опрокидываясь навзничь, в яму, он увидел белое, с розоватыми краями облако, как будто склонившееся над самой его головой, услышал громкий плач ребенка в сарае, и, как бы утверждая этот требовательный, хозяйский крик нового человека, в отдалении застрекотали автоматные очереди.

Очнулся Никита от сильного удушья. Сырая, тяжелая темнота намертво сдавила его закоченевшими чугунными объятиями. Он понял, что лежит в могиле — похоронен заживо. Леденящий, разрывающий сердце ужас охва-

тил его. Он закричал отчаянным, диким, звериным криком, но земля забила ему рот, он закашлялся. Неукротимый дух жизни проснулся в нем, словно все человечество на какой-то миг отдало ему всю свою мощь. Он рванулся, переворачиваясь на бок, побеждая страшную, сатанинскую боль в плече. Здоровая рука толкнула темноту. И темнота не устояла перед этим могучим толчком, подалась. Тогда Никита, задыхаясь, судорожно подтянул колени к груди и рывком разорвал чугунные смертельные объятия. Разворачивая спиной свежие глинистые комья, он поднялся из могилы. Теплый, живительный воздух вторгнулся в его легкие. Сердце, совершив подвиг, как бы замерло, остановилось. Голова Никиты поникла, глаза закрылись, только рот ненасытно хватал и пил жадными глотками воздух.

...Сержант Кочетовский, разделавшись с пьяными офицерами в школе, заглянул мимоходом за сарай. Он увидел развороченную могилу, на краю ее поникшую седую голову человека и позвал политрука Щукина.

11

— Товарищ лейтенант, вас просит полковник Казаринов,— сказал Прокофий Чертыханов, подбежав ко мне и кинув ладонь за ухо. Он общительно подмигнул Никите, плотно, истово перебинтованному Раисой Филипповной.— Ну, партизан, спеленали тебя, как младенца,— вся правая половина для боевых действий временно непригодна...— И сейчас же

по-приятельски успокоил: — Ничего, партизан, хоть один глаз, да цел, видит. А вот я — помнишь? — ослеп было совсем. Знаешь, Никита, на какую мысль слепота меня натолкнула? Когда человек не был еще человеком, а простой каплей, по-ученому сказать — молекулой, то у него раньше всех других органов — рук, ног, ушей — родились глаза, потому что он, двигаясь, сослепу натыкался на что-нибудь и ушибался. И вот от боли-то у него и выскочили глаза. Тогда я успокоился: если бы пчелы по злости своей окончательно лишили меня зрения, то я непременно начал бы считать головой углы, деревья, камни, и у меня от ушибов на месте синяков и шишек прорезались бы новые глаза, пусть не такие завлекательные, как эти... — Чертыханов, сдерживая усмешку, опять подмигнул Никите хитрым, глубоко запрятым глазом.

— Здорово ты заливаешь, ефрейтор! — негромко и одобрительно воскликнул Никита. Он всем корпусом повернулся ко мне. — Ты ступай, Дима. Я доберусь, Чертыханов мне поможет...

Я поспешил в избушку. Полковник за время вынужденного лежания заметно отдохнул, посвежел, желтизна лица исчезла, и щеки приобрели розоватый, живой оттенок; нога, видимо, подживала, и он уже мог сидеть, положив ее на табурет.

— Иди сюда, командир, — позвал полковник, когда я вошел. — Сейчас будем принимать решение.

Казаринов склонился над картой, разложенной на столе, придвинутом к кровати. Щукин,

вымытый, выбритый, посвежевший, сидел напротив полковника, а сзади, за плечами политрука, стоял, чуть пригнувшись и заглядывая в карту, Стоюнин. Я сел на кровать рядом с полковником. Щукин докладывал о результатах разведки.

— Немцы, стремительно продвигаясь на восток, оставляют в некоторых населенных пунктах, главным образом поблизости от дорог, небольшие гарнизоны, а также тыловые подразделения. Они совершенно не берут в расчет характер наших людей; гитлеровцы абсолютно уверены в том, что раз территория захвачена, то народ уже подавлен, подчинен. Поэтому мы почти всюду накрывали фашистские гарнизоны врасплох, особенно ночью,— они спят, как в собственных спальнях. В деревне Лучки мои разведчики без единого выстрела, без шума вырезали весь гарнизон в шестнадцать человек... В районе села Лусось, в прилегающих к нему рощах и перелесках ведет бои наша дивизия, вернее остатки дивизии. Она то вырывается из кольца, продвигается на восток, к линии фронта, то снова попадает в окружение и отбивается. Командир дивизии убит еще на Днестре. За командира остался полковой комиссар Дубровин.

При звуке этого имени рука моя произвольно дернулась и карандаш вычертил на карте жирную кривую. Полковник удивленно спросил:

— Что ты?

Я еще не сказал, что там, в Лусоси, бьется, истекая кровью, самый дорогой мне человек,

и, возможно, именно в эту минуту ему угрожает смертельная опасность. Как верно я подумал в первый день войны: война сведет людей в один круг, в одну цепь. За эти тяжелые недели я встретил Никиту и Нину. И вот теперь — Сергей Петрович Дубровин...

— Где эта Лусось? — спросил я сдержанно. Пальцы Шукина скользнули по зелено-синим разводам и черным извилинам карты.

— Вот она.

Я прикинул приблизительное расстояние — километров восемнадцать от нас к северо-востоку.

Шукин пояснил:

— На пути одна деревня, Назарьево. В Назарьеве нечто вроде полицейского пункта. Полицейские вербуются из предателей; тут и сдавшиеся в плен окруженцы, дезертиры, а также местные антисоветские элементы. Здесь они получают от гитлеровских молодцов инструктаж, то есть первые навыки бандитизма. В Лусоси до батальона пехоты с минометами. А может, больше. Они дают на дивизию с юго-запада. Кольцо в западном направлении не замкнуто. Для дивизии путь на восток закрыт сильным заслоном. Наши войска нуждаются в боеприпасах и продовольствии. Так мне сообщил старший лейтенант Гришин, которого я встретил на дороге...

Шукин умолк, распрямился и вопросительно посмотрел на полковника Казаринова. Полковник передвинул вытянутую вдоль кровати раненую ногу.

— Все ясно,— произнес он повеселевшим голосом и, развернув плечи, пристально и

ободряюще взглянул на меня.— Что будем делать, командир?

Мне было и приятно и страшно оттого, что опытный военный, полковник, за советом в решении сложной задачи обращается ко мне, по воле случая ставшему командиром большой, разнородной воинской части. Трепет, охвативший меня, как всегда в минуту глубокого волнения, перекинулся на губы; я крепко сжал их, чтобы они не дрожали, и долго молчал, глядя в карту. Полковнику, как и мне, было ясно, что сидеть здесь дольше невозможно, он лишь испытывал сейчас мою «командирскую решительность». Ощувив, что трепет губ прекратился, я спокойно сказал, обращаясь к Стоюнину:

— Приведите пленных. И скажите, чтобы нашли Оню Свидлера.

Полковник изумленно и весело вздернул брови и опять передвинул на кровати раненую ногу.

Первым переступил порог майор Гейнц Лоозе; высокий и острый гребень его фуражки почти касался потолка. Он обвел нас глазами; заметив полковника Казаринова с четырьмя «шпалами» на петлицах, майор вытянулся и, прикладывая пальцы к козырьку, пристукнул каблуками. За майором робко шагнул обер-лейтенант Биндинг, бледный, с дрожющими пухлыми щеками, похожий на переодетую женщину. Старшина Оня Свидлер, войдя следом за пленными, брезгливо, двумя пальцами взял обер-лейтенанта за рукав и сказал какую-то фразу по-немецки. Биндинг мгновенно отпрянул в сторону, освободив дорогу.

— Старшина, спросите майора, какой он части? — сказал я Свидлеру.

— Я офицер службы безопасности «СД», — четко ответил майор по-русски.

— Какие соединения прошли на этом участке на Смоленск? — спросил я. Полковник Казаринов уточнил вопрос:

— Южнее Смоленска.

— А еще точнее — на Москву? — спросил майор спокойно; он почтительно стоял перед полковником, — впрочем, и сесть-то не на что было. — Это наше главное направление. Оно обеспечено отборными войсками: дивизия «СС», десятая танковая дивизия, семнадцатая моторизованная и несколько пехотных дивизий. — Полковник Казаринов переглянулся со мной — майор не врал. — Ваши войска в районе Ельни оказали неожиданное упорство. Русский солдат поражает своей фанатичностью и ожесточением. Этот фактор не был предусмотрен германским командованием. И если так будет продолжаться и дальше, то нам придется несколько труднее, чем мы предполагали.

— Значит, бои идут в районе Ельни? — спросил я; мне важно было уточнить, далеко ли от нас линия фронта. — Давно там идут бои?

— Третью неделю, — ответил майор нехотя. — А вообще мы многое не предусмотрели, вступая в вашу страну. Например, коварства партизан.

Никита Добров, пройдя в избу, сел за спиной немцев на конец лавки, у порога. И когда наступила пауза, он заметил негромко:

— Вы говорили, майор, что ваша армия

берет в окружение сотни тысяч наших бойцов.— Майор резко повернулся на голос, уви-



дел Никиту и, всегда выдержанный и невозмутимый, в замешательстве отшатнулся от него. Никита, морщась от боли, встал.— Все эти люди, по-вашему, по-немецки, окружены. А разве они подавлены и покорились вам?

Майор все более изумлялся, глядя на Никиту. Он прошептал:

— Вы живы?..

— Жив. По счастливой случайности.— Перебинтованный, с завязанным глазом, Никита выглядел спокойным, мрачным и страшным.— Но даже если бы вы меня убили, я встал бы из могилы и на рукаве своего савана вешал бы вас, гадов! — Он опять устало сел на лавку.

Крупный нос майора покрылся крапинками пота. Но майор уже овладел собой и по-прежнему держался независимо.

Полковник откинулся на подушки, улыбаясь. Я взглянул на обер-лейтенанта Биндинга,— у него дрожали, подгибаясь, колени и вздрагивали белые рыхлые щеки.

— В селе Жеребцове вы расстреливали невинных людей, расстреливали играючи, забавляясь, словно перед вами были не живые люди, а чучела...— Оня Свидлер сидел рядом со мной и переводил.— В том же селе вы вместе с вашими собутыльниками насильно напоили, а потом надругались над пятнадцатилетней девочкой Катей Белокрыльцевой...

У обер-лейтенанта Биндинга вдруг подломились ноги, он рухнул на колени, протянув руки, пополз к столу,— куда девалась чванливая гитлеровская спесь! Он от всего отпирался. Никита опять не удержался, медленно и угрожающе надвинулся на Биндинга.

— А меня ты узнаешь? В жмурки играл, подлюга!..

У Биндинга отвалилась челюсть; почти в мистическом ужасе он отползал от Никиты, бормоча невнятно и плаксиво:

— Это не я. Это не я...— Плечом ткнулся в бок майору.

Тот брезгливо ударил его перчаткой по лицу, проговорил по-немецки:

— Встань! Надо было лучше стрелять, болван!

Старшина Оня Свидлер, разбирая сумку Биндинга и просматривая документы, записи, нашел его незаконченное письмо к жене. Оня перевел мне его: «Дорогая жена! Вот уже неделя, как я в России. После Франции эта страна кажется пустынной и тихой. Здесь тебя

охватывает невольное беспокойство: идешь, идешь, почти тысячу километров прошли, а стране все нет ни конца, ни края. Встречают нас здесь без цветов и без фанфар,— конечно, не понимают, что мы несем им более культурные формы жизни и правления. Но ничего, дорогая, они это скоро поймут и оценят... Обо мне не беспокойся, я человек веселый и общительный и в любой компании могу создать веселую атмосферу. Здесь хорошая, очень хорошая водка и много кур...»

Я взял у старшины письмо и сказал Биндингу:

— Встаньте.— Обер-лейтенант, заискивающе мигая, неуверенно поднялся.— Хотите написать это письмо, господин Биндинг?

Губы обер-лейтенанта искривила недоуменная улыбка, он озадаченно хлопал белесыми ресницами. Старшина повторил ему мой вопрос.

— Да, если дозволите... Два слова...

— Садитесь,— сказал я.

Стоюнин пододвинул к столу табуретку. Полковник Казаринов, прикрыв глаза, улыбался. Биндинг несмело присел на краешек табуретки. Я положил перед ним недописанный листок.

— Ручка у вас есть? — Обер-лейтенант поспешно достал из внутреннего кармана куртки авторучку.— Вот конверт. Пишите адрес: интересно знать, откуда вы такой...

Офицер с недоверием придвинул к себе конверт, написал: «Элизе Биндинг. Фридрихштрассе, 16. Берлин». Затем вопросительно посмотрел на меня.

— Письмо я вам продиктую,— сказал я.— Пишите... Дорогая жена! — Биндинг написал

слова, все время недоверчиво косясь на меня. Лоб его порозовел и покрылся испариной.— Пишите дальше... Я ворвался в чужую страну как грабитель, убийца и насильник...— Старшина перевел. Обер-лейтенант вздрогнул и попытался встать. Шукин надавил рукой на его плечо, принудил сесть. Биндинг высокомерно, вызывающе вскинул подбородок, решительно посмотрел на меня, его студенистые глаза как бы загустели.— Пишите дальше,— сказал я, сдерживаясь.— Я убивал невинных людей — стариков и женщин, насилывал пятнадцатилетних девочек, пил русскую водку, воровал домашнюю птицу и пакостил всюду, куда ступала моя нога. За это и буду убит через пять минут. Подпишитесь. Вот так. Письмо я передам вашим родным сам, когда мы войдем в Берлин...

Подписав письмо, Биндинг швырнул ручку и рывком встал.

— Вы никогда не будете в Берлине! Вы даже во сне его не увидите! Вы убьете меня? Но моя армия все равно пройдет до Москвы, пройдет всю вашу варварскую страну и превратит ее в выжженную пустыню! Пепел и камни — вот все, что останется от вас!..— Он уже кричал визгливо и истерично, топал ногами в бессильной ярости, пока часовой не вытолкнул его за дверь.

Майор Лоозе безглаголиво морщился от его крика, плотно и высокомерно поджимал губы. Когда беспорядочные выкрики обер-лейтенанта оборвал выстрел и наступила тишина, майор спросил негромко:

— Господин лейтенант, я понимаю, что в ва-

ших обстоятельствах держать пленных не положено. Верните мне мой пистолет и один патрон.

Неожиданная просьба эта несколько озадачила меня. Я взглянул на полковника, потом на Шукина, как бы спрашивая их, как отнестись к этой странной просьбе. Казаринов спокойно, чуть насмешливо смотрел из-под полуприкрытых век; он ничего не ответил мне, только переложил на другое место больную ногу; Шукин едва заметно повел плечом: решай, мол, сам...

— Это что же, демонстрация? Или капитуляция?.. Надеюсь, вы понимаете меня?

Майор опустил взгляд, долго молчал, затем его умные глаза — в них навсегда затвердела ненависть — встретились с моими. Он произнес с усилием:

— Боюсь, что капитуляция...

— Верните господину майору оружие, — приказал я, — силу и мужество следует уважать, даже если их проявляет враг.

Получив пистолет, майор опять вытянулся перед полковником Казариновым, прищелкнул каблуками и вышел, пригибая голову, заслоняя дверь широкой спиной.

— Да, это враг матерый, враг с большой буквы! — проговорил полковник Казаринов. — Такой не пощадит, кандалы наденет на целый народ, — рука не дрогнет...

В это время, как бы подтверждая слова полковника, из леса донесся приглушенный выстрел — майор Лоозе застрелил себя.

Сообщение майора о том, что гитлеровские дивизии натолкнулись у Ельни на несокруши-

мую стойкость наших войск, что немцам до Москвы еще далеко, что майор, убежденный, упорный и неглупый фашист, признал свою «капитуляцию», — все это подействовало на меня ободряюще, вызвало уверенность в нашем предприятии.

Когда в штаб явились командиры всех четырех батальонов, я снова разложил на столе карту и сказал, обращаясь к полковнику Казаринову:

— Товарищ полковник, находиться здесь дольше и ждать, когда нас сожмут со всех сторон, задушат или рассекут всю нашу группу и уничтожат по частям, бессмысленно, даже преступно. Я решил выступить на помощь окруженной дивизии сегодня в ночь, чтобы к утру соединиться с ней.

Полковник оживился, сел на кровати, протянул под столом раненую ногу и облокотился на карту.

— Ну, ну, докладывай...

— Группа выйдет двумя колоннами справа и слева от деревни Назарьево... — начал я спокойно и решительно, зная, что если ошибусь в чем, полковник поправит, подскажет..

12

Через час все было решено и уточнено. Стоюнин остался в сторожке разрабатывать подробный план маршрутов, систему сигнализации и прочее. Я вышел вместе с командирами батальонов на поляну. На душе у меня было легко и в то же время трепетно от предстоящего. Холодок первых сентябрьских ночей

робко кинул на березы светлую лимонную желтизну, а осины как бы стыдливо зарделись легким свежим румянцем — осень подкралась незаметно и высушила воздух до синего, прозрачного звона, пустила по течению белые, сверкающие на солнце тонкие волокна паутины. В сквозной вышине проплыл неторопливый косяк журавлей, роняя на землю печальные звуки: словно кто-то в задумчивости трогал невидимые клавиши; затем прошли три самолета, гулом своим стерли птичье курлыканье.

— Оглянитесь кругом, мой лейтенант,— воскликнул капитан Волтузин, нетерпеливо подпрыгивая, переступая коротенькими ногами.— Осень! А там, глядишь, и зима ляжет, морозовоеда с треском сожмет свои кулаки. Догадываетесь, лейтенант, на что я намекаю?

— На мороз надейся, капитан, а сам не плошай,— сказал я, усмехаясь.— До зимы еще далеко...

— Вы совершенно правы, мой лейтенант,— засмеялся Волтузин. — Вы хотите сказать: зима далеко, а Лусось близко. Все будет так, как надо. За моих солдат я ручаюсь. Ну, до свиданья. Пойду готовиться...— И не пошел, а побежал, легко и весело подпрыгивая, словно по футбольному полю.

Неподалеку от изгороди вокруг зубоврачебного кресла собралась плотная и шумная группа красноармейцев. Я подошел поближе. Среди общего гвалта ясно выделился голос Чертыханова:

— Не лезь. Отойди! Ты заплатил? Вася, Хвостищев чем заплатил? Сигаретами? Ну, садись...

Ленивый, неповоротливый Хвостищев неловко забрался в кресло, откинулся на бархатную спинку, вцепился руками в захватанные подлокотники и важно надулся, замер. Вася Ежик комкал в руках кепочку с накиданными в нее огрызками шоколада и сигаретами и ногой нажимал на педаль, — несколькими качками. Кресло с Хвостищевым медленно подымалось выше, выше. Бойцы смеялись, кричали, потешаясь:

— Подымай его до полковника! Тянись, Мотя, тянись до генерала, не робей!

Восторженная и глуповатая улыбка раздвигала лицо Хвостищева вширь; круглые, тугие, покрытые серебристым пушком щеки его порозовели. Прокофий Чертыханов, повертывая на толстом стержне кресло, сказал Хвостищеву как бы с сочувствием:

— Все, Мотя: до старшины дотянул, дальше не идет, внешность у тебя несуразная, не генеральская. А вот старшина тебе под стать, усы отпустишь и — старшина...

— Ему и старшинского звания на износ!

— Только гляди, Мотя, не загордись, не притесняй нашего брата — солдата, не зазнавайся.

— Каждый зазнается ровно настолько, насколько он глуп, — отметил Чертыханов небрежно. — Хватит, слазь...

Мотя с минуту посидел на возвышении, улыбаясь еще шире и блаженнее. Затем Ежик надавил на другую педаль, и кресло опустилось. Место Хвостищева занял новый боец, бросив в Васину кепочку дольку шоколада.

Заметив меня, Чертыханов отбежал от толпы и вытянулся.

— Что это такое? — спросил я.

— Каждому хочется, товарищ лейтенант, возвыситься над тем, что он есть в данную минуту.— Чертыханов не в силах был сдержать плутовскую ухмылку.— Вот с помощью этой машины — ох, хороша машина, товарищ лейтенант, даже не скрипнет нигде — и меряем, кто на что горазд... Хотите, и вас измерим?

Я рассмеялся, во мне проснулось что-то озорное, мальчишеское.

— Что ж, измеряйте. — Я быстро залез в кресло, сел словно на троне. Бойцы еще более оживились. Вася Ежик заработал педалью. Сиденье стало подыматься. Удивительно смешное и глупое было положение; и я улыбался, должно быть, так же широко и нелепо, как Хвостищев.

— До майора его,— сказал кто-то из бойцов. Но того тут же поправили:

— Что майор! Подымай выше! До генерал-майора!

— А что? И еще выше! Война только начинается.

— Держитесь, товарищ командир, смелее!..

Я спрыгнул с кресла, не дождавшись, когда Вася его опустит, весело сказал бойцам:

— Спасибо, ребята, за щедрость, не обделили званием. Но вы ошиблись. Я буду строителем. Видите, сколько достояния погубила война. И погубит еще больше. Все это придется подымать вновь, строить...

Оня Свидлер, подойдя, увидел возле кресла своих поваров, ездовых, пастухов и кладовщи-

ков. Нетерпеливый и беспокоенный предстоящим походом, он сказал с горькой и едкой насмешкой:

— Может быть, на этой поляночке карусель вам поставить, с коняшками, с колокольцами, с барабанным боем? А может, балаганчик открыть, кукольный театр? А может, за ручки возьметесь и заведете веселый детский хоровод? — Бойцы, понутив головы, пряча ухмылки, отворачивались.— Марш по местам! Живо, дети природы!.. Чтоб через час все было готово к выступлению!..

Бойцы разошлись, неохотно покидая белое зубоврачебное кресло, пламенеющее на солнце рубиновой бархатной обивкой. Возле него одиноко стоял Вася Ежик. Он выбрал из кепочки шоколадки, сигареты отдал Чертыханову; кинув кепку на голову, обсыпал волосы и плечи шоколадными крошками и табаком.

Возле изгороди, среди деревьев и по краю поляны бродили козы, привязавшиеся к красноармейцам и к Васе Ежику. Они глядели на него зелеными стеклянными глазами с продолговатыми бесовскими зрачками и тоненько, подхалимски блеяли, выпрашивая кусочек хлеба. Вася смотрел на них с презрением, со злобной неприязнью: не достанься они ему, он наверняка сделался бы смелым разведчиком, вроде Кочетовского. Но мальчик и сам привык к ним, особенно к козлятам,— они заметно подросли,— и когда два повара зарезали козленка, Вася, уйдя подальше в лес, плакал.

— Что будем делать со стадом, товарищ лейтенант? — спросил меня Оня Свидлер.

— Погоните вместе с обозом, пока будет возможно.

Ежик отстаивал свои интересы:

— Свиной можно взять, их немного осталось, а коз бросить надо. Все равно их никто есть не станет, беду только накличат...— Помятый пиджачок его был накинут на голое тело: Чертыханов утром постирал ему белье.

— Васька, надень рубашку и трусики, они уже высохли,— строго сказал Прокофий.— И не вступай в разговор командиров, когда тебя не спрашивают.

Вася, понутив голову, побрел к своим козлятам. Я сказал Оне Свидлеру:

— Поставь на место Ежика кого-нибудь из бойцов...

Я прошел в глубину леса. Чертыханов понял, очевидно, что мне захотелось побыть одному, и отстал от меня. В лесу, в загустевшем, прямом воздухе листья, опадая, чертили желтые зигзаги. Прощмыгнул еж, украшенный золотыми монистами листьев, налипших на иголки.

Это была минута мудрой тишины и душевного просветления,— как бы легла на весь мой жизненный путь теплая и прелестная световая полоса; я увидел в ее сиянии отца. Большой, в белой рубаше, с небритым подбородком, он лежит на кровати, страдающий, больной; слышу его голос, вспоминаю его завет: «Случилась беда — не плачь. Ввязался в драку — волос не жалей. Полюбил кого — не упускай...» Добрые люди... Их было много на пути, каждый отдавал нам часть себя: учитель литературы Тимофей Евстигнеевич Папоротников, отец Никиты кузнец Степан Федорович Добров, народный ар-

тист Михаил Михайлович Бархатов, Николай Сергеевич Столяров, Серафима Владимировна Казанцева и, конечно, Сергей Петрович Дубровин, секретарь парткома завода, наш наставник, наш друг. Встретил нас мальчишками, любил, и вот восемь лет вел по тяжелым тропам и дорогам, чутко и внимательно присматриваясь к каждому, где надо поправляя и наставляя. Прежде всего он воспитывал в нас граждан, людей долга и чести, бойцов. И вот мы, деревенские парнишки, стали участниками мировых событий, стоим в сражениях плечом к плечу с ним, с нашим учителем. И в драке не только волос — жизнью своих не щадим... Я полюбил, война разъединила нас. Где она сейчас, любовь моя? Уцелеет ли она, упрямая, непокорная, в этом неистовом огненном вихре, или, как птицу, подстрелят ее на самом взлете? Уцелей, повторял я... Мне думалось о матери: она извелась, наверно, не получая от меня вестей, и ночи кажутся ей тягучими и тяжелыми... Удастся ли первый боевой поход организованных нами людей?.. Сквозь щемящие, несогласные чувства тревоги, надежды, сомнений и беспокойств пробивался знакомый, радостный звон струны: веди, веди смелее!..

Я торопливо вынул из сумки листок бумаги и, присев на пень, синим карандашом написал: «Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии. Хочу умереть в бою коммунистом...» Коротенькие строчки эти вылились сами собой, я ощутил необычайный подъем сил, уверенности и мужества, и легла на мои плечи возвеличивающая человека ответственность.

— Чертыханов! — крикнул я. Ефрейтор, стуча каблуками, подбежал.— Где политрук Шукин?

— У штаба, товарищ лейтенант, беседует с членами партбюро. Позвать?

— Не надо.

Я направился к избе. У изгороди, на бревне, среди командиров и бойцов сидел Шукин. Отметив мое, должно быть, необычайно взволнованное состояние, он встал и двинулся мне навстречу.

— Что случилось? — спросил он, зорко оглядывая меня. Я подал ему заявление. Он прочитал его и долго-долго молчал, раздумывая, не подымая головы, перебирая в пальцах листок. Затем я увидел его лицо с острыми, жесткими углами скул, затаенная и, как мне показалось, недобрая улыбка коснулась его губ, прищуренный взгляд был колючим и взыскательным. Он протянул мне мою бумажку, промолвил кратко:

— Не приму.— Я вздрогнул и даже отступил на шаг от него.— Не приму,— повторил он еще более твердо. Потом неторопливо вырвал из блокнота листок, отдал мне.— Пиши. Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии. Хочу жить и сражаться коммунистом.

Я быстро писал, радуясь тому, что мне подсказали простой и мудрый смысл жизни.

— Вот теперь правильно, — одобрил Шукин.— Нам, партии, нужны живые коммунисты.— Он тихо и тепло рассмеялся и расчесал беззубой расческой свои молочно-желтые жесткие волосы.



ЧАСТЬ
ЧЕТВЕРТАЯ

1

К вечеру подул, трепля вершины осин и берез, срывая с них редкие листья, ветер, косой, с завихрениями, с тонким, уже осенним посвистом. Нагнал тучи. Прошел короткий и тоже косой дождь и как бы загасил, прибил к земле дневную мягкую теплоту, выстудил воздух. Рано потемнело. Чертыханов подвел к крыльцу избушки оседланную поджарую кобылу. Я отказался от нее: ночью пешком удобней. Для полковника Казаринова запрягли лучшую лошадь; в повозку Прокофий положил сена не скупясь.

В семь часов первый и второй батальоны оставили свои оборонительные участки и вышли на указанный каждому из них маршрут. Третий и четвертый батальоны двигались во втором эшелоне. За ними шли тылы Они Свидлера — обоз с продовольствием, с боеприпасами, со стадом; Раиса Филипповна со своим медпунктом и ранеными. Обе колонны прикрывали сзади два взвода автоматчиков. Передовые подразделения должны достигнуть Назарьева в одиннадцать часов вечера, захватить деревню, уничтожить немецкий гарнизон и разгромить полицейский пункт.

С первым батальоном двигался политрук Шукин... Со вторым — я и полковник Казаринов. Стоюнин остался во втором эшелоне.

Два трактора, колесный и гусеничный, прыгая по лесным кочкам и пням, глухо тарыхтя, тащили пушки. Артиллеристы Бурмистрова



стояли за спиной трактористов или шагали рядом с орудиями.

— Разведчики посланы? — спросил я Волтузина. Капитан Волтузин был крайне и радостно возбужден: праздное отсиживание в тиши лесов окончилось; война — это прежде всего движение, страстное, стремительное, и вот он, Волтузин, в движении, в походе.

— Все в порядке, мой лейтенант! — оживленно откликнулся он, шагая сбоку телеги, на которой лежал полковник. — Скоро они вернутся с первыми весточками. Хорошая пора нам выдалась: темно, прохладно, холодок не

даст задремать!.. Как вы себя чувствуете, товарищ полковник?

— Отлично, капитан.— У Казаринова, видимо, тоже было приподнятое настроение.— Я рад, что на вас наткнулся, ребяташки,— чувствую себя в строю, хоть и без ноги, а



в строю. И вы... Вы знаете, какие вы? Я вот лежал в этой лесной сторожке и присматривался к вам... Да вам цены нет! Разве ж такие люди дадут себя победить?! Нет!.. Я это говорю вам сейчас, перед боем, чтоб вы знали...— Казаринов приподнялся на локте, посмотрел на меня, потом на Волтузина. Капитан засмеялся.

— Знаем, полковник: воин без веры в победу — не воин. Он должен истлеть! А мы живем. Посмотрите, какая сила и впереди нас и за нами?..

В темноте как бы тек неумолчный, приглушенный шорох шагов, позвякивание оружия,

гул сдержанных голосов. Голова колонны, выйдя из леса, уже двигалась полем, и урчание моторов стало явственнее, хотя доносилось издалека.

Через час от Щукина прибежал связной и сообщил, что колонна продолжает движение по указанному маршруту, никаких происшествий не произошло. А через два часа явились разведчики Гривастов и Кочетовский, оба нетерпеливые, запыхавшиеся и какие-то накаленные.

— Товарищ полковник, разрешите обратиться к лейтенанту Ракитину? — распаленно проговорил сержант Кочетовский и, не дожидаясь ответа, доложил мне: — Мы только что из Назарьева. Там полная тишина. Мы прошли почти полдеревни. В проулках много подвод и грузовиков. Часовые только на главной улице; на одном конце у крайней избы один сидит на бревне с девчонками, что-то лопочет им по-немецки и смеется, и на другом конце один, этот ходит поперек улицы и играет на губной гармошке. Хотелось пощекотать его ножичком, но дружок вот не позволил... У них в каждом окошке свет, — не остерегаются, гады, фасонят!..

Гривастов перебил его густым баском:

— Два взвода задавят гарнизон, товарищ лейтенант. Мы проводим их, покажем...

Капитан Волтузин послал связного к командиру роты. Вместе со связным исчезли во тьме и разведчики.

Колонна, минуя Назарьево, двигалась на Лусось. Кончилось поле, на пути широкой и угрюмой стеной встала темнота, — это был не-

глубокий и негустой перелесок. Справа, сквозь поредевшие стволы, замелькали из Назарьева огоньки. Занавешивать окна, скрывать свет гитлеровцы считали, очевидно, унижительным для себя,— они не только не подозревали об опасности, но и пренебрегали ею. И когда мы пересекли лесок и очутились на открытом месте, светлых окошечек как будто стало больше...

Ко мне молча приблизился Прокофий Чертыханов, тронул за плечо.

— Наденьте каску, товарищ лейтенант,— сказал он негромко и настойчиво, сунув мне в руки тяжелый, с острыми краями шлем, который я не любил.— Наденьте,— повторил он суровее — должно быть, солдатским нюхом своим чуял приближение тревоги и опасности.— Вы бы, товарищ полковник, легли,— посоветовал он Казаринову,— сено мягкое, ароматное, лежите себе...

Мы уже миновали Назарьево, когда вспыхнула перестрелка, бурная, стремительная и особенно внезапная в настороженной полнотной тишине. Автоматные очереди скрестились, сплелись в клубок; стремительными скачками металась короткие взрывы гранат. Ровная строчка трассирующих пуль прошила черное глухое небо, вторая очередь рассыпала над головами цветной горошек... Расстояние сливало крики атакующих в одну сплошную тягучую ноту: а-а-а!!! Звук то стихал, принимая к земле, то взмывал, наливаясь неистовой силой...

Я взглянул на часы, они показывали пять минут первого. Мы не задерживались. Полков-

ник Казаринов, сидя в телеге, чутко прислушивался к перестрелке.

— По-моему, все идет, как по нотам, как говорит твой Чертыханов,— заметил он, обращаясь ко мне. Вместо меня отозвался капитан Волтузин:

— Точная задача точно исполняется, товарищ полковник.— Капитан казался еще более возбужденным.

Впереди, в колонне кто-то вскрикнул, а потом трижды выстрелили. Волтузин бросился вперед узнать, в чем дело, и вскоре вернулся, доложил возбужденно и радостно:

— Два фашиста, вырвавшись из Назарьева, напоролись на колонну и были пристрелены. Только и всего...

Почти у самой Лусоси нас опять отыскивали Гривастов и Кочетовский. Они тяжело и бурно отдувались после бега. На красивом, хищного склада лице Кочетовского блуждала дикая усмешка, он тихонько поскрипывал зубами, медленно отходя от захлестнувшего его исступления. Разведчики отличились. Бесшумно сняв часовых, они построили оба взвода и строем прошли вдоль улицы. Фашисты в темноте не догадались, что это были наши бойцы. Затем, рассыпавшись по команде, бойцы начали бросать гранаты в освещенные окна, в машины, стоящие в проулках, стреляли в выскакивавших из дверей солдат и полицейских. Гарнизон был разгромлен: одних убили, другие попрятались на огородах, бежали в лес. Кое-кто из гитлеровских солдат наверняка помчался в Лусось сообщить о внезапном нападении и поднять там тревогу. И нам надо было

как можно скорее, до рассвета, выйти на исходные рубежи. Разведчикам предстояло выполнить еще одну, может быть, самую трудную, задачу — связаться с окруженной дивизией.

— Свяжемся, товарищ лейтенант, — не раздумывая, сказал сержант Гривастов. Кочетовский почти простонал:

— Пить хочу. Воды бы глоток...

Чертыханов протянул ему флягу с остатками спирта — экономный же, черт, запасливый, сколько дней прошло, а ни капли не выпил, берег...

— На, глотни.

— О! — вздохнул Кочетовский изумленно. — Спасибо, Проня... — Отпил глоток, хотел вернуть флягу, но раздумал. — Дай еще приложушь, хлебну...

Гривастов от фляги отказался, буркнув хмуро:

— Так обойдусь...

И разведчики опять пропали во тьме,

2

На исходный рубеж — в редкую и чистую березовую рощу, ольховый сизый кустарник и в высохший за лето, до краев налитый туманом дол в полутора километрах от села — батальон вышел к трем часам. Роты рассредоточились, готовясь к броску. Тракторы, натруженно гудя, как на пашне, выводили и разворачивали пушки для пальбы прямой наводкой. Приглушенный гул моторов в затаенной,

воровской тишине казался оглушительным, вызывающим тревогу, и кто-то раздраженно крикнул артиллеристам:

— Тише там!!

На востоке, у горизонта, небо расколосось, в широкую трещину жарко полыхнул свет, опрокидывая ночную тьму; серые рассветные тени, цепляясь за ветви берез, повисли мгlistыми прядями, бледнели и истлевали. В долу словно прорвалась плотина, и туман тронулся вниз, клубясь, обнажая сырое дно и бойцов, прижавшихся к верхней кромке овражка. Открылось село, пепельно-серое, сумрачное, точно истомленное муками лицо человека. Одиноко торчала над серыми крышами белая облупленная колокольня без креста.

Чертыханов подал мне бинокль. Я приложил его к глазам, и село сразу приблизилось. У крайней избы между крыльцом и погребом горел костерик. Три немецких солдата пили из кружек, должно быть, кофе. Вот подбежал к ним четвертый, что-то сказал, и те, трое, поспешно вскочили, испуганно взглянули в сторону роши, потом, поставив кружки у костра, подбежали к погребу, скрылись под низеньким соломенным конечком. И сейчас же оттуда плеснули на рошу сквозные струи свинца, как бритвой срезая тонкие веточки берез. Вслед за пулеметными очередями с визгом пронеслись мины, и роша наполнилась трескучим звоном. Огонь был беспорядочный и бесприцельный — наугад. Значит, кто-то сообщил в Лусось о налете на деревню Назарьево и о движении наших колонн.

— Наверно, Гривастова с Кочетковским

схватили,— вслух подумал ездовой Хвостичев, сидя в передке повозки и вздрагивая от каждого взрыва мины.— Вот они и рассказали...

Чертыханов сердито оборвал его:

— Ты наговоришь!.. Схватили... Так они тебе и дались! Сиди уж... Уши-то спрячь подальше, а то продырявят из пулемета — распустил лопухи свои...

Я сказал Волтузину, чтобы роты ни в каком случае не обнаруживали себя. Капитан поспешил на левый фланг, в дол, бодро кинув свое подчеркнуто бравурное:

— Мой лейтенант, все будет в порядке!

Минные хлопки, автоматная и пулеметная трескотня оборвались через десять минут. Ранено шестерых бойцов. Четверых унесли в глубину рощи. Осколок мины угодил Фургонову в голову. Укрывшись за пятнистым стволом березы, он наскоро, кое-как перевязывал рану своим бинтом, марля пропитывалась кровью. Вася Ежик бросился помогать ему.

— Пойдемте, я вас отведу туда, в тыл,— предложил Вася, закидывая его руку себе на плечи.

— Это куда — в тыл? В медсанбат, на поезд и в Горький? — Фургонов легонько оттолкнул мальчика и сел, привалившись спиной к стволу, прикрыл глаза; лицо его опало, губы побледнели.— Отдохну немного,— прошептал он.

Гривастов и Кочетовский не вернулись. Я с тревогой посмотрел на полковника Казаринова.

— Удалось им выполнить задачу или нет?..

— Сигналы покажут,— отозвался полков-

ник.— Так или иначе, а выбивать немцев придется, другого выхода нет.

— Я знаю. Выбьем.— Я был уверен в удачном исходе операции.— Товарищ полковник, вам выезжать из роши нельзя, пока село не будет захвачено. А если вы попробуете... Смотрите!

Казаринов тонко, покорно улыбнулся.

— Слушаюсь, командир.— Он полулежал в повозке, бессонная ночь и тревога опять выжелтили ему виски, положили под глазами черноту.— Когда Щукин должен подать сигнал?

— В четыре тридцать,— ответил я, хотя Казаринов отлично помнил об этом.

— А сейчас?

— Четыре тридцать восемь.

— Н-да...— Полковник зябко поежился, прикрывая плечи шинелью.— Что с ним могло случиться?

— В темноте мог сбиться с маршрута.

— Нет, товарищ лейтенант,— поспешно возразил Чертыханов,— у Щукина глаз вернее всякого компаса.

Я опять посмотрел на село в бинокль. Немецкие солдаты к костру не вернулись, остались на погребнице, у пулемета: видимо, ждали атаки. А правее, на огороде, копошились другие солдаты,— должно быть, устанавливали минометы.

Нетерпение возрастало с каждой минутой. И бойцы и командиры молча и со злобой поглядывали вправо, ожидая сигнала. Тревога, все туже сжимая их, колотила крупной лихорадочной дрожью. Я не сводил глаз с цифер-

блата. Крохотная стрелка бежала по кружочку, как бы легко подталкивая нас к чему-то непоправимому, ужасному. Шукин сигнала не подавал. Гнетущая тишина доводила до отчаяния. «Неужели придется брать село одним? — думал я, кружась среди белых, в черных заплатах, березовых стволов. — Дольше ждать нельзя. Лучше наступать, чем обороняться... А может, обойти Лусось стороной, двигаться тишком? Но разве такой группой проберешься незамеченным! Нет, надо прорываться к дивизии, чего бы это ни стоило...»

— Так они и станут нас поддерживать, — надсадным, простуженным голосом проговорил боец; привалившись плечом к стволу, он мрачно смотрел на село и жадно затягивался дымом сигареты. Второй ответил, соглашаясь:

— Откололись и пошли восвояси, на восток... Нужны мы им больно!

— Да замолчите, вороны! — крикнул на них третий. — Раскаркались!..

Я вернулся к полковнику. Он вопросительно глядел на меня своими желтоватыми, в напылях век, глазами.

— Через пять минут начнем атаку одни, — сказал я спокойно и решительно. — Другого выхода нет.

— Да, — подтвердил полковник и откинулся, лег на сено, глядя на волокнистые, пропитанные радостной утренней позолотой облака над вершинами берез.

Тишина все тяжелее давила на плечи. И вдруг эту тишину просверлил до звона накаленный радостью крик Васи Ежика:

— Ракеты! Ракеты!! — зазвенели белые, родные березы, перекидывая Васин голос от ствола к стволу. — Ракеты!!

Две красные точки вползли в розоватое, отполированно блестящее небо, блеклые, трепетные и желанные. Рассыпались искрами и погасли. Вася Ежик вскочил на колесо повозки полковника и опять зазвенел, махая кепчонкой:

— И там ракеты! Смотрите! Вон они!.. Да вон, товарищ лейтенант!..

За селом, над темным лесным массивом, в ответ на сигналы Шукина всплыли, тускло мигая, такие же красные точки.

— Молодцы разведчики. Ох, молодцы!.. Ну, спасибо... — бормотал я про себя, потом крикнул Чертыханову: — Давай, Прокофий!

Ефрейтор Чертыханов отбежал от повозки и выстрелил сразу из двух ракетниц. Ракеты с треском взвились над рощей и как бы скомандовали срывающимся голосом Бурмистрова:

— Огонь!!

Рявкнули орудия. Березы, вздрогнув, зашестели, роняя листья. Бойцы рванулись и побежали, стреляя на ходу. Уступчатые цепи охватывали село дугой. Ездовой полковника Казаринова подвел лошадей к самому краю рощи. Я остановил его:

— Дальше ни шагу!

Полковник, побледневший, возбужденный, кивнул мне, соглашаясь.

Орудия Бурмистрова палили, не переставая. Первые двести метров цепи пробежали, почти не встречая огня, — сказалась внезапность ата-

ки. Потом на рыжем льняном поле, на картофельных грядках начали вставать черные косматые разрывы. Треск автоматных и пулеметных очередей сливался в ливневый гул. Бойцы, пробежав немного, тыкались в невыбранный лен, пережидали немного и опять бежали, пригибаясь.

— Чертыханов, скажи Бурмистрову, чтобы пушки двигались вместе с наступающими! — крикнул я, наблюдая за ходом боя.

Но артиллеристы и сами догадались, катили орудия очередями: одно стреляло, другое передвигалось.

Цепи уже миновали участок льна, достигли картофельного поля и тут залегли. Сплошной кинжальный огонь хлестал прямо в лицо, валил наотмашь. Прижал к земле, не давая встать. У меня зашло сердце: неужели атака захлебнулась?! Ждать нельзя ни минуты..

Я выбежал из рощи. Лен с тугими головками захлестывал ноги. Я упал, поднялся и устремился дальше. Трижды возле самого уха тонко, гибельно пропели пули. Кинули меня на землю. Я пополз.

— Почему залегли? — крикнул я.

Фургонов повернул ко мне обмотанную марлей голову.

— Подняться, гад, не дает, режет, как бритвой.

— С погреба пулемет садит, как по нотам. У Бурмистрова то недолет, то перелет.

Я оглянулся, Наткнулся на маленькие, почерневшие от злости глаза Чертыханова, а за ними светились изумленно-отчаянные глаза Васи Ежика.

— Ты зачем здесь? — крикнул я Васе. — Сейчас же вернись! Живо! Чтоб духу твоего здесь не было!

Мальчик как будто не слышал моих слов. Приподняв мордочку с кругленькими смешными дырочками ноздрей, он смотрел мимо меня, на село. Потом отполз — послушался. Но тут же я услышал удивленный возглас Чертыханова:

— Васька! Куда ты, чертенок?! Назад! Назад, говорю!

Вася уже торопливо полз впереди нас, все дальше, дальше, словно старался уползти как можно скорее и настолько, чтобы мы не могли его вернуть. У меня от волнения пересохло во рту. На какое-то время я выключился из боя, напряженно следя за парнишкой, за его серой кепочкой. Вот эта кепочка миновала лен и поплыла над картофельной бороздой. Вот на секунду задержалась возле кусточка, вот подлезла под жердь и нырнула в лопухи на огороде. Томительные минуты, казалось, вытягивали из меня душу. Над головами тугими струнами звенели пули... Серая кепочка появилась почти у самого погреба... Вася подбежал сбоку почти вплотную к крыше и швырнул гранату. Мутным клубком метнулся взрыв, скрыл и погребницу и самого Ежика. Пулемет смолк. Но стрельба из автоматов и минометов не утихала. Боль, возникшая оттого, что не уберег мальчишку, резнула острее ножа...

Бывают во время атаки моменты, которые решают исход боя — победный или трагический. Такой момент наступил сейчас. Я почувствовал его, этот момент накопления энергии,

воли и отваги в каждом бойце, всем своим существом. Сразу отошли, исчезли все ощущения страха, опасности, близкой смерти, жалости к своей жизни — все ощущения, кроме одного, упорного — надо смять противника! Мурашки разбежались по спине, вызывая пронизывающую, ни с чем не сравнимую дрожь. Я встал.

— Прости, мама, иначе нельзя, — прошептал я отрешенно. — Помоги, если можешь...

Я неторопливо, напряженно пошел вперед, навстречу пулям, взрываю, крепко прижимая к правому боку пистолет. За мной двинулся Чертыханов. И тут же возле меня проревел диким бычьим ревом Фургонов:

— Пошел! За мной!! Ура-а! — и тяжело побежал, громадный, страшный в своем гневе, с пятнами запекшейся крови на белой марле. За ним рысили, крича, бойцы его отделения.

Я взглянул влево. Легкими, упругими скачками перемахивал через борозды капитан Волтузин. И уже по всему полю, обгоняя друг друга, подхлестывая себя протяжным звериным воем: «Рр-ра-а-а!!! Урра-а!!» — стремились люди. Падали только раненые или убитые.

Неожиданно пронеслась мимо меня пара рыжих обезумевших коней с оскаленными мордами — их нахлестывал Хвостищев. Полковник Казаринов, видимо, почувствовал, как и я, наивысшую точку боя, когда нужно или вести людей вперед, или откатываться назад, и рванулся из рожи на поле. Кони махали крупным наметом, швыряли повозку по грядкам. Полковник стоял на коленях с пистолетом в поднятой руке и что-то кричал, широко раскрыв рот.

Воющий, теперь уже неудержимый вал достиг села, зацепился за крайние домишки. Приостановившись, я посмотрел назад. Из рощи и со стороны ольховника высыпали подошедшие роты четвертого батальона... По льяному полю трактор с усилием тащил пушку — второй трактор повредило взрывом...

Чертыханов, обогнав меня, с ходу перепрыгнул через жерди, пересек огород и сунулся прямо к погребнице. Нагнулся, найдя Васю, поднял его на руки. «Убит», — подумал я и содрогнулся: смерть, болезнь, страдания ребятишек всегда меня потрясали.

— Убит? — спросил я, подбегая к Чертыханову. Прокофий молча покачал головой, улыбнулся.

— Дышит, паршивец...

Вася открыл глаза, круглые, светлые, с застывшим в них страхом, — так смотрят дети, очнувшись от глубокого сна, когда приснилось что-нибудь страшное. Узнав меня, он протянул ко мне, словно к отцу, руки, совсем как ребенок. Я взял его, худенького, легонького, и крепко прижался губами к его белесой жесткой голове. Вася вдруг встрепенулся, встал на ноги.

— Где мой пистолет? — Ежик испуганно сунул руку за пазуху, тронул карманы. — Нет пистолета!

— Да есть, вот он, — сказал Прокофий ласково. — На, воин... И кепочка твоя вот...

Вася засунул пистолет за пазуху, спросил, как бы вспомнив что-то:

— Почему меня так тряхануло? Об корягу ударился...

Прокофий ухмыльнулся:

— После объясню...

— Если ты еще раз вот так, без приказа, сделаешь что-нибудь... — проговорил я торопливо и строго.

— Сделаю, товарищ лейтенант! — бойко откликнулся Вася, вскинув курносую мордочку.

— Смотри у меня!.. — пригрозил я. — Чертыханов, следи за ним!

Я задержался у погреба, быть может, всего на минуту, а бой уже отдалился в глубину села, — оттуда, приборно, то спадая, то нарастая, неслись протяжные крики, прошитые четкими и злыми строчками выстрелов, всплески взрывов.

На улице, рядом со вторым домом, стояла повозка полковника Казаринова; рыжая кобыла грохнулась на землю, подстреленная, судорожно билась в упряжке. Хвостищев, всхлипывая, озираясь в сторону выстрелов, злобно оскалась, рубил постромки тупым топором. Казаринов, спрыгнув на землю, забыв про большую ногу, ковылял вокруг повозки, опираясь на рогатину, яростно нетерпеливый, раздосадованный: лошадь пала некстати.

— Хорошо, Дима! — крикнул полковник, впервые называя меня по имени; удачная атака радостно вдохновила его. — Знаешь, а мы, кажется, действительно сможем пробиться! Первое время тревожило сомнение... — Чертыханов, подойдя, ножом обрезал постромки и отвел повозку от убитой лошади.

Посредине улицы и у домов лежали убитые красноармейцы и немецкие солдаты.

Вражеская часть, атакованная с трех сторон, была разбита, село Лусось захвачено. Третий батальон старшего лейтенанта Сыромятникова, следовавший за первым батальоном, по приказанию Шукина повернул от Лусоси вправо и выбил немцев из деревни Воробьи, открыв дорогу на восток.

Я встретил Шукина возле церкви. Он шел своим неспешным твердым шагом, держа каску за ремешок, словно нес котелок. Поперек груди висел автомат. Шукин издали помахал мне рукой, — он впервые так широко улыбался.

— Живой? — Шукин крепко сжал мою руку. — Понимаешь, сбился немного, опоздал...

— Ну, ничего, пока все идет нормально. Потери большие?

— Потери есть, но небольшие. Ведь мы появились неожиданно все-таки.

Подбежал, распаленно дыша, возбужденный капитан Волтузин, его литые плечи вздрагивали, от большого лба с острыми пролысинами исходила испарина; подхватив меня под руку, он притопнул, поиграл ногами, воскликнул, просяив:

— Мой лейтенант, а мы, оказывается, кое на что еще годимся!

— А вы как думали?

Волтузин искренне засмеялся, чуть запрокинув голову.

— Я так и думал, лейтенант!

— Прикажете, чтобы роты вывели за село, возможен налет авиации.

Подкатил полковник Казаринов. Хвостищев, стоя в повозке, кричал и свистел кнутом над лошадиными спинами. Вместо убитой припрягли другую лошадь, такую же рыжую, из поджарых. Хвостищев осадил коней на полном скаку.

— Из дивизии кто-нибудь есть? — спросил полковник.

— Пока не видно, — ответил я.

Из открытых дверей церкви, из разбитых окон тянуло кислым, винным запахом гниющей картошки; на деревянных, почерневших от ветра и дождей ступенях было насорено зерном. Неторопливо попрыгивали сытые воробьи, лениво клевали зернышки. Они даже не взлетели, когда из-за угла церкви вышли разведчики Гривастов и Кочетовский, целехонькие и довольные, и с ними капитан с черными усами; кончики давно не стриженных усов уныло свисали книзу.

— Не наш, — тихо отметил Чертыханов. — Похоже, из дивизии...

Я бросился к разведчикам.

— Дорогие мои!.. — Я обнял и поцеловал сначала сержанта Гривастова, потом Кочетовского. Они стояли вытянувшись, несколько смущенные моим порывом; грубый шов на груди, вдоль всей гимнастерки Гривастова, уже в нескольких местах разошелся и в дырки проглядывало тело. — Вы очень помогли всем нам. И себе... И от всех бойцов нашей группы, от всех товарищей ваших — спасибо...

— Служим Советскому Союзу! — глухо, голосом, перехваченным волнением, ответили разведчики. Кочетовский прикрыл свои лихие

глаза, дернул четко очерченными хищными ноздрями. У Гривастова вздулись на скулах и затвердели бугры, он, с трудом разжав зубы, промолвил:

— Товарищ лейтенант, посылайте нас на самое трудное... невозможное...

— Пока живы, не подведем, — добавил Кочетовский. Гривастов поднял на меня большие, в мохнатых ресницах, мрачные и в то же время добрые глаза.

— Только не вспоминайте о прежнем... — и провел большим пальцем по шву на гимнастерке, как бы напоминая мне о первой нашей встрече.

Капитан с нестриженными унылыми усами, обращаясь к полковнику Казариному, сказал:

— Полковой комиссар Дубровин просит вас пройти к нему.

— Где он?

— Вон в том перелеске. — Усатый капитан усталым взмахом руки показал вдоль улицы; улица, спустившись под уклон к речушке, взбегала за мостиком на гору, к черневшему на горизонте леску.

Три красноармейца с винтовками наперевес вели через мостик группу пленных фашистских солдат. С горы скакали два всадника.

— Комиссар едет сюда сам, — сказал капитан с черными усами и шагнул от повозки навстречу подъезжавшим.

Обогнав группу пленных, всадники подрывили к подводе полковника Казаринова. Я еще издали увидел Сергея Петровича на темно-серой лошади; он держался прямо и крепко, точно влитой в седло. У меня сладко заняло серд-

це, когда я близко увидел его лицо, его совсем уже серебряные виски, видные из-под фуражки, русые, негустые, тоже тронутые сединой усы и мягкие внимательные глаза, окруженные мелкими усталыми морщинами. Изменился он, наш учитель; не то, чтобы постарел, а стал строже, суровее.

Сергей Петрович легко сошел с коня, бросил повод ординарцу, оправил гимнастерку, — он казался высоким, стройным и властным. «Держинский», — не без гордости подумал я о нем. Меня он не узнал, конечно: военная форма и эти два месяца, равные годам, должно быть, сильно изменили меня. Сергей Петрович приблизился к повозке полковника Казаринова.

— Здравствуйте, товарищ полковник! — Сергей Петрович протянул Казаринову руку. — Полковой комиссар Дубровин. — Полковник назвал себя. — Нынче ранены?

— Нет, нынче пронесло... — Казаринов чуть приподнял перевязанную ногу, пошутил. — Еще две — три такие операции, как эта, и рана заживет. Победы действуют не хуже лекарств...

— Что за часть? — спросил Сергей Петрович.

Казаринов усмехнулся:

— Часть не часть, соединение не соединение... А так, с миру — по нитке, с подразделения — по бойцу, вот и набралась воинская единица...

Комиссар на шутки полковника не отвечал, он, видимо, был сильно обеспокоен чем-то. Нахмурясь, тронув кончик уса, сдержанно спросил:

— Вы командир?

— Нет, я в роли старшего советника. Командир — лейтенант Ракитин. Вот он...

Сергей Петрович повернул голову. Я шагнул вперед и приложил руку к пилотке. Сергей Петрович, узнав меня, едва заметно откатнулся назад, словно вздохнул, расправил плечи; брови его едва заметно дрогнули и застыли в изумлении. В короткий момент он оценил все, шагнул ко мне и дрогнувшим голосом сказал, протянув руку:

— Благодарю вас, лейтенант, за помощь.— Повернулся к Казаринову. — Извините, товарищ полковник...

Сергей Петрович взял меня за плечо. Мы отошли от группы командиров и бойцов, окружавших повозку полковника, тихо направились к церкви.

— Ваши разведчики говорили что-то о лейтенанте Ракитине, но я не думал, что это ты, Дима...

Я шел, храня стесненное молчание; мне хотелось почему-то закричать: то ли подмывала радость встречи, то ли пережитая минута опасности сказывалась, то ли неосознанный гнев, долго копившийся в душе, просился выплеснуться наружу.

С церковной паперти взлетела, фырча крыльями, воробьиная стайка. Сергей Петрович, смахнув зерна овса, сел на гнилые ступени. Я продолжал стоять.

— Как ты изменился, Дима... — тихо проговорил он, все еще изумленно и сочувствующе оглядывая меня своими черными глазами в сети морщинок. — Трудно?

— Трудности нам не страшны, — отозвался я хмуро, почти враждебно; я понял, что только ему, человеку, который восемь лет учил нас жизни, я могу излить свою боль и получить у него ответы на все мучившие меня вопросы.

— Мы победим, я знаю, — сказал я резко. — Но эта победа нам будет стоить жизней! Почему мы отступаем? За две — три недели на сотни километров! Армия двухсотмиллионного народа! Лучшая армия в мире! — Горькая, яростная накипь обиды выплеснулась внезапно и бурно.

Сергей Петрович слушал меня, все более поражаясь, будто не узнавал. Мой натиск застал его врасплох; сняв фуражку, он вытер платком лоб.

— Гитлер напал на нас вероломно, ты это знаешь... он использовал внезапность...

Я подошел ближе к Сергею Петровичу, бросил отрывисто, срываясь на крик:

— А почему мы дали ему возможность напасть внезапно?! И вот могилами устилаем мы землю! Я не хочу умирать. Я хочу жить!

Сергей Петрович быстро встал, взгляд его сделался сердитым.

— Довольно! — оборвал он меня сухо и властно... — Я рад тебя видеть, хотел с тобой поговорить по душам, а ты набросился на меня с обвинительной речью.

Я стоял перед ним, опустив взгляд.

— Кому же могу сказать об этом, как не вам? — промолвил я тихо, сдерживая слезы.

— Все намного сложнее, чем ты думаешь, Дима, — сказал Сергей Петрович уже мягче. —

Но сейчас не время для дискуссий... Я рад, что в самые трудные для Родины дни ты не дрогнул, не согнулся. Стоишь! И будешь стоять! — Сергей Петрович принужденно рассмеялся. — А ты говоришь, что я плохой воспитатель. Выходит, хороший, если ты вышел из моих рук вот таким стойким... — По давнишней привычке он погладил ладонью мою щеку, проведя большим пальцем по брови. У меня сразу потеплело в груди, я почувствовал себя перед ним подростком, фабзавучником. — Нет, правильно мы вас воспитывали, — повторил он еще более убежденно.

4

Чертыханов помог Казаринову слезть с повозки. Обняв ефрейтора за крепкие плечи, опираясь на костыль-рогатину, полковник медленно приблизился к паперти.

— Думаю, сейчас не до секретов, — обеспокоенно сказал он комиссару Дубровину. — Благоприятный момент упускать нельзя.

— Так точно! — внезапно выкрикнул Чертыханов, подтверждая слова полковника. — Надо крыть дальше, пока неприятель не очухался. А то очухается, навалится всей силой, тогда уж только успевай подставлять бока. А бока у нас и так в синяках.

Сергей Петрович с интересом повернулся к ефрейтору. Прокофий, как бы извиняясь за свое смелое высказывание, тронул ухо широкой ладонью.

— Виноват, товарищ комиссар, — и отсту-

пил за мою спину. Сергей Петрович сдержанно похвалил Чертыханова:

— Вы правильно заметили. Действовать необходимо. Вон уж и самолеты пожаловали.

Низко над церковью проревели три машины, хлестанули двумя очередями из пулеметов.

— Да это ж наши! — крикнул Прокофий. — Что они, очумели?.. — Он выбежал из ограды на площадь.

По улицам, как это часто бывает после бурной и удачной атаки, после захвата населенного пункта, бродили, остывая от возбуждения, бойцы, группами и в одиночку, отыскивали свои отделения, взводы. Самолеты развернулись, чтобы еще раз сыпануть из пулеметов, но все, кто находился на площади, замахали руками, пилотками, закричали, весело чертыхаясь: «По своим ведь бьете, черти!» Летчики, не выстрелив, взмыли вверх, сделали над селом еще один круг — хотели убедиться, не ошиблись ли, — и ушли на восток, недоуменно помахав нам крыльями.

Я понял, что фронт проходит неподалеку, самолеты явно отыскивают и бомбят тылы действующих фашистских дивизий. Летчики, должно быть, никак не ожидали встретить в Лусоси своих.

— Будем идти вместе, — сказал Сергей Петрович, обращаясь к полковнику Казаринову, — под одним командованием...

Последние слова, как я понял, касались меня. Что-то неуловимое, неосознанное задело за самолюбие. Это неуловимое отчетливо прояснилось: почему должен командовать нашей,

с таким трудом сколоченной нами грунтой кто-то другой и станет ли от этого лучше? Момент был решающий. Я вдруг ощутил тяжкую ответственность перед людьми, которых по своей воле собрал воедино, я знал, что они надеялись и верили мне, — и эта ответственность придала мне силу убежденности.

— Свои подразделения, товарищ комиссар, я не отдам никому, — решительно заявил я. — Я знаю, что у вас найдется командир, возможно, и опытней и старше меня по званию. Но положение нашей группы особое, — вопрос идет не о соблюдении субординации, а о сохранении жизни тысячам людей — защитников отечества. Я поклялся с боями вывести их из окружения. И я обязан это сделать. При этом мне даже умереть не позволено. Не считайте меня слишком самонадеянным. Я — это не только я один, но и полковник Казаринов, и политрук Шукин, и лейтенант Стоюнин, и ефрейтор Чертыханов... Мы все принимали клятву.

Чуть откинув голову, комиссар Дубровин смотрел на меня своими черными пронизательными глазами; он удивился еще больше, чем тогда, когда я бросал ему свои обвинения и обиды. И этот его удивленный взгляд как бы тихонько восклицал: «Ого, а птенец-то, кажется, довольно плотно оперился...» Сергей Петрович перевел взгляд на Казаринова.

Полковник, сидя на ступеньке, потирал пальцами вдавленный висок, едва приметно улыбался — советы и наставления его пошли впрок.

— Нам надо поддержать его, комиссар, — промолвил полковник. — Пока все идет правильно. Бойцы его любят...

Комиссар задумчиво пощипал кончик русого выгоревшего уса.

— Пусть будет так, — согласился он. — Ошибешься — поправим.

Я уловил в этих словах поблажку, снисхождение сильного, умудренного опытом человека к более молодому и неопытному. Ни поблажки, ни снисхождения мне не нужны были, я их отверг.

— В бою ошибаются однажды и чаще всего навсегда. Нам нельзя, товарищ комиссар, ошибаться. Будем бить только наверняка. — Я замолчал, отыскивая взглядом место, где можно было бы расположиться с картой. Ступеньки паперти, засоренные зерном, были пусты. Чертыханов нырнул в раскрытые двери церкви, превращенной в склад, и вынес оттуда большой ящик. Сергей Петрович разложил на нем карту, испещренную красным и синим карандашом. — От переднего края нас отделяет расстояние в один переход, примерно шестнадцать — восемнадцать километров. Мы пошлем разведчиков. Они проберутся сквозь вражескую передовую линию, свяжутся с нашим командованием. Войска, я уверен, поддержат нас — назначат день, час и место прорыва.

— В этой мысли есть резон, — обронил Сергей Петрович, не отрывая взгляда от карты.

— Да, одним нам, вслепую, соваться нет смысла — нас сомнут, — подтвердил полковник Казаринов. — Но, лейтенант, разведчики могут не пройти...

— Мы пошлем других, третьих, — сказал я убежденно, — пока не получим нужного ре-

зультата. Если на это уйдет неделя, пусть, не страшно. Страшнее быть уничтоженными.

— А где мы будем ждать эту неделю? — спросил Казаринов. — Думаешь, они позволят нам ждать? Слышишь, они уже подбираются к селу?..

— Уйдем в леса, — сказал Сергей Петрович и указал на зеленое продолговатое пятно на карте. — Вот сюда. Гитлеровцы лесов боятся, танки подойдут к опушке, постреляют, а в глубину не пойдут...

К церковной ограде подвели пленных. Они как бы стряхнули с себя воинственность и, пыльные, усталые, размякшие, теснились плотной кучкой, пугливо и вопросительно озирались вокруг, — не понимали, как это они, находясь далеко от фронта, угодили в плен.

Только молодой лейтенант, стройный, с гордо посаженной головой, старался сохранить высокомерное спокойствие. Припорошенные пылью волосы были взбиты над высоким лбом. Лютое презрение к нам таилось в брезгливо опущенных углах рта. В светлых зеленовато-студенистых глазах застыла боль и тоска зверя, лишённого свободы. Выдержав мой взгляд, лейтенант рывком сел на землю, ткнулся выхолненным лбом в колени. Этот молодой офицер, как я потом узнал, прошел, веселясь и забавляясь, по Бельгии, по Франции — до Парижа. Ему обещали такую же прогулку до Москвы. И, возможно, это он, приплясывая, шагал под музыку по большаку в то памятное утро на Днепре, и маленький мальчик в отцовском пиджаке, подняв руки, взывал к нему о пощаде и помощи. Мечта несла лейтенанта

далеко впереди армий, к Москве. Не достигнув ее, он упал, ломая крылья, в селе, заброшенном среди лесов.

На допросе лейтенант сообщил, что танковый полк, где он служил, истрепанный в боях под Ельней, был оттянут в тыл на отдых и для пополнения, что русские войска сопротивляются жестоко, контратаки их беспощадны. Но генерал Гудериан заявил солдатам, что русские силы все равно будут разгромлены, что по пути к Москве он потеряет много танков, возможно все танки, но на последнем въедет в древний московский Кремль.

Показания пленных ободрили нас: фронт дальше Ельни не продвинулся, это было нам на руку.

Я отвел Щукина в сторонку.

— Кого мы пошлем в разведку, Алексей Петрович?

Щукин снял каску и, задумчиво, хитровато улыбаясь, расчесал свои жесткие желто-белые волосы, — удачный бой, приближение к цели воодушевили его.

— Кого? — переспросил он. — Политрука Щукина. Он уж к этому делу теперь привык. Кого же еще? Пойду-ка я сам, Митя...

— Что ты, Алексей Петрович! — запротестовал я.

— Да, да, командир, пойду сам, — сказал он уже серьезно, твердо, — видимо, продумал все до конца. — Это, пожалуй, самое ответственное задание из всех, которые мы с тобой выполняли. Я никому не могу его доверить.

Я посмотрел в его синие глаза — от беспокойств и тревог они запали в глубину, под за-

шиту рыжеватых бровей, — и мне показалось, что я знаю его давным-давно, всю жизнь. Мне было тяжело расставаться с ним, но в то же время я понимал, что именно он, Щукин, осторожный, выносливый и упорный, может связаться с войсками. Мне хотелось выказать ему свою преданность. Я повернулся, — за плечом у меня стоял Прокофий.

— Возьми с собой Чертыханова, — сказал я; Щукин знал, что, отдавая Чертыханова, я отдавал ему половину себя.

Прокофий шагнул вперед, с недоумением посмотрел на Щукина, потом на меня, хмыкнул:

— Вы что, товарищ лейтенант, рехнулись? Никуда я не пойду от вас.

— Прокофий! — воскликнул я. — Да ты что, струсил?!

Ефрейтор, обидчиво наморщив нос, произнес глухо и осуждающе:

— Если бы не такая вот критическая обстановка, то я вызвал бы вас на дуэль за такой выпад. На минометах. И вы могли бы заранее оплакивать свою жизнь, — вам бы не поздоровилось. Струсил! Поворачивается же язык такие слова выговаривать... Да, если надо, я в самое фашистское логово, в Берлин пройду. А тут — к своим! Эка сложность... Не могу оставить вас одного. Прикокошат вас без меня, как по нотам... А хорошо это для дела, товарищ политрук? — Он уже искал поддержки у политрука.

Мы со Щукиным переглянулись и рассмеялись.

— Действительно, куда ты без него? — сказал мне Щукин, смеясь. — Пусть уж остается

с тобой. Я возьму Гривастова и Кочетовского. Они под стать твоему Чертыханову. — Шукин надел свою тяжелую каску, и на синие глаза упала суровая тень.

5

Пятые сутки отсиживались мы в лесном массиве в пятнадцати километрах от фронта, — семь батальонов пехоты с шестью пушками разного калибра. Противник знал, что за спиной у него группа наших войск, но, должно быть, считал ее незначительной, а скорее всего, ему было не до нас, — он прочно завяз в районе Ельни, старинного русского городка.

Но фашисты о нас не забывали и всячески пытались выкурить из леса. Танки подползали к нашему расположению то с одной стороны, то с другой. Гудя моторами, они огибали массив, мяли молоденькие березки и осинки на опушках, но дальше пятидесяти метров в глубину не шли, — привыкли катить по равнинам, по гладеньким дорожкам. Танки и подтянутые поближе минометы били по лесу наугад, снаряды и мины, разрываясь, с корнем выхватывали празднично распушенные елочки, расщепляли вершины старых сосен, но почти не поражали людей, — бойцы зарылись в землю. Лес стонал от трескучих, надсадных разрывов, стволы деревьев тонули в желтоватом пороховом тумане, — удушливое пощипыванье и кислый привкус дыма не покидал нас до самой ночи. На узких, заросших травой дорогах наши артиллеристы установили свои пушки и скупно, но грозно палили в ответ. Один вражеский

танк, отважившийся проникнуть в наше расположение, подорвался на mine, искусно заложённой на дороге нашими саперами... Налетали и самолёты, и тоже беспорядочно кидали бомбы. Убитых хоронили тут же, под берёзами, раненых отправляли в «тыл» — в центр круговой обороны, в обоз, под присмотр Раисы Филипповны и Они Свидлера...

К вечеру танки уходили — подальше от греха, — чтобы утром снова появиться и патрулировать. Ночь по-прежнему принадлежала нам. Ночь дарила нам пищу, боеприпасы, оружие. Только не отдых...

Свиной и уцелевших во время перегона коз, а также захваченное в Лусосе продовольствие съели. Осталось немного: у кого сухарики, у кого банка консервов, у кого сахар в кармане.

Сильней всего бойцы страдали без курева и без соли, — мясо казалось пресным до отвращения. Она Свидлер, ещё более похудевший и от этого ещё более вытянувшийся, возбужденно жестикулируя, чертил перед моим лицом зигзаги подвижными, высовывавшимися из расстегнутых рукавов руками, кричал, опаяя меня сухим, лихорадочным блеском глаз:

— Вы назовёте меня сентиментальным, конечно, если я скажу, что у меня душа давно разбилась на части, как хрустальная ваза, оттого что я вижу, как страдают люди, как они выплескивают суп, выбрасывают кашу. Они просто тают на моих глазах. Раньше они смотрели на меня, как на благодетеля, — я не так уж плохо кормил! Теперь они на меня косятся, будто у меня за плечами озеро Баскунчак, а я нарочно не даю соли, как скупой рыцарь. А я

сам сделался пресным, словно судак. Что вы думаете, нет? Конечно! Даже анекдоты мои утерjali соль, стали пресными.

Вася Ежик, с состраданием слушавший Оню, сбегал за своим мешком-наволочкой, пошарил в нем и вынул маленький, с луковицу, узелок, развязал его, — это была соль, положенная еще матерью, — и подал Свидлеру.

— Возьмите, — сказал мальчик взволнованно, ему хотелось облегчить участь старшины. — Мне она не нужна, я все без соли ем. Честное слово. — И тут же вздрогнул, отдернул руку — услышал предостерегающий окрик стоящего у шалаша Чертыханова:

— Вася, возьми свои слова назад. Вместе с солью.

— Ты благородный юноша! — воскликнул Оня Свидлер, обнимая Ежика. — Спасибо. Но это не соль, это слезы. Слезы бойцу не к лицу. — Он повернулся ко мне и настойчиво попросил: — Вышлите людей на большую дорогу. С моей задачей: за солью.

Ночью красноармейцы совершали набеги на обозы, захватывали все, что нужно и не нужно. Но соли не привозили. Один раз ходил даже сам старшина Свидлер и тоже впустую.

— Не знаю, что и делать, товарищ лейтенант, — произнес Оня уныло. — Хоть иди по деревням с сумой и собирай по щепотке с каждого двора...

— А может быть, фашист, вроде людоеда, жрет без соли, — заметил Прокофий спокойно и с сарказмом; он сидел у шалаша на пеньке, босиком, курил увесистую вонючую сигару и чистил трофейные автоматы, мой и полковника

Казаринова. — Ты должен это выяснить, раз умеешь брехать по-ихнему.

— Ты наговоришь, — бросил Оня осуждающе.

— Ага, значит, все-таки с солью едят! — Прокофий отложил автоматы и приблизился к старшине. — Выходит, грош цена тебе и твоему отряду, если не можешь достать соли. Какие вы бойцы! Одно название. Нюха у вас нет. — И утешил: — Ладно, выручу я тебя, Оня. Так и быть... — Ефрейтор понизил голос. — Но за особую плату: чтобы я в куреве не нуждался...

— Да я тебя завалю сигаретами и сигарами! — быстро согласился Свидлер; в его черных глазах вспыхнул лучик надежды, — от этого черта, Чертыханова, всего можно ожидать. Прокофий, взглянув на меня, потом на полковника Казаринова, сидевшего в шалаше, тяжело и как-то жертвенно вздохнул, — неохота, мол, оставлять вас, а надо.

— Теперь пойду я, товарищ лейтенант. Не может быть, чтобы у целой вражеской армии не нашлось в тылах соли...

Прокофий собирался в свой «соляной» поход долго и тщательно. Он взял автомат, пистолет, гранаты, сухари, зачем-то бинокль, фонарик, наточил финский нож. Вася отдал ему свой компас; перед самым отходом Прокофий вымыл ноги, все на себе прочно увязал, закрепил.

— Давайте посидим на дорожку, — попросил он нас и с важностью замер на пенечке. Полковник Казаринов сидел на своей лежанке, мы с Васей Ежиком опустили прямо на землю. — Товарищ комиссар, посидите с нами на уда-

чу,— сказал ефрейтор подошедшему к нам Сергею Петровичу Дубровину.

Комиссар, поискав, куда бы пристроиться, и не найдя подходящего места, тоже опустился на землю, строгий, обеспокоенный, исхудавший. Встали все разом.

— Никогда не думал, что беда подкрадется с такой неожиданной стороны,— проговорил комиссар Дубровин.— На людей больно смотреть,— вялые, сонные, раздражительные... Измучились вконец ребята, обессилели. Вы понимаете, ефрейтор, как важно досыта накормить бойцов? Хоть один раз!

— Так точно, понимаю, товарищ комиссар! — гаркнул Прокофий, вытянулся, пристукнув каблуками ботинок; в сумерках трудно было разглядеть выражение его лица.— Разрешите идти?..

Чертыханов ушел, прихватив с собой шестерых бойцов. Я был уверен в том, что Чертыханов вернется целым и невредимым и, возможно, с солью. Такой парень не пропадет. И вообще меня не столько беспокоили авиационные налеты, минометная стрельба, патрулирование танков,— мы не сидели сложа руки, закапывались глубоко в землю, строили окопы, оплели почти весь участок обороны отбитой у врага колючей проволокой, заминировали наиболее опасные участки и могли долго отбиваться, если бы немцы задумали взяться за нас всерьез. И отсутствие соли и других продуктов я считал делом хоть и неприятным, но временным.

Меня угнетало чувство тревоги за разведчиков. С каждым вечером тревога сдавливала

сердце все крепче и мучительней, горькие думы даже близко не подпускали сон.

— Где же твой Шукин? — проводив Чертыханова, спросил меня комиссар Дубровин. — Ты его хорошо знаешь?

Я обиделся за Шукина, сказал с горячностью:

— Я в нем уверен больше, чем в себе, товарищ комиссар. Он из тех людей, которые не возвращаются лишь в том случае, если погибнут. Шукин, даже раненный, приползет, доложит...

— Подождем еще ночь — две, — сказал полковник Казаринов. — Не придут — пошлем другую партию. По всей видимости, погибли. — Полковник выполз из шалаша, устроился возле меня, вытянув раненую ногу.

— Хорошо, подождем, — согласился комиссар Дубровин; он сидел на пенечке, задумчиво пощипывая кончик уса. Потом, приподняв голову, пристально взглянул мне в глаза. — Как ты думаешь, придут?

— Если живы, придут, — ответил я.

— Беспокоишься?

— Да, очень.

— Тишина какая, — отметил полковник Казаринов, прислушиваясь, поглядывая на вершины деревьев, расплывающиеся в сумерках. — Даже в ушах звенит...

После напряженного, полного опасностей и суеты дня томительная, звонкая и какая-то до предела натянутая обнимала лес тишина. И тогда с востока пробивались к нам протяжные вздохи и стоны земли. Я радовался, улавливая эти вздохи и стоны, — значит, фронт еще не отдалился. Но тяжелые, ухающие разрывы

как бы настойчиво, нетерпеливо твердили о том, чтобы мы торопились...

Часовой кого-то окликнул. Ему ответили: «Свои» — и к шалашу приблизились трое, представились по очереди:

— Майор Ромоданов.

— Старший лейтенант Петенькин.

— Старшина Лаптев.

— Слушаю вас,— отозвался комиссар Дубровин и встал.

Я тоже поднялся. Майор отделился от своих спутников, шагнул к Сергею Петровичу, коренастый, четкий в движениях.

— Товарищ комиссар, разрешите нам уйти.

— Как уйти? Куда?

— Совсем уйти. Будем пробираться через фронт одни,— мы все трое из одного полка.

Комиссар с недоумением оглянулся на меня и на полковника, как бы говоря: вот так просьба, слышали? Подступив к майору, я заглянул ему в лицо, широкоскулое, с запавшими отчаянными глазами,— видел его впервые.

— Вы понимаете, на что вы просите разрешение, товарищ майор? — сказал я.— На дезертирство. Вы, командиры! Что же остается делать рядовому бойцу? Моего разрешения вы не получите.

Майор вспыхнул:

— Но сидеть в бездействии, без всякой надежды на будущее, не жравши, бессмысленно!

— Они из ваших, Сергей Петрович? — спросил я комиссара.

— Нет,— и спросил майора: — Вы давно здесь, в нашей группе?

— Вчера ночью прибыли в батальон капитана Волтузина,— нехотя ответил майор.

Полковник Казаринов усмехнулся.

— Вчера прибыли, сегодня сделали вывод: нет никакой надежды,— и бежать? Вы просто устали, мой дорогой. Идите в расположение, успокойтесь, подумайте...

— Я столько думал, что голова разламывается от дум,— с горечью бросил майор, повернулся с неохотой и, ссутулясь, ушел, увозя друзей. Они удалились с уверенностью людей, привыкших к ночным лесам.

— Ну, где же твои разведчики, командир? — опять и уже с большим нетерпением спросил комиссар.— Теперь сам видишь, что невозможно нам сидеть здесь дольше...

— Но и соваться на заведомый разгром тоже не дело,— возразил ему полковник.

— А таких людей, как эти трое, у нас немало, в этом я убежден,— сказал я.— Подождем еще, товарищ комиссар.

Сергей Петрович вынул из кармана часы, взглянул, поднеся их к самым глазам.

— Я пойду к себе в землянку, скоро подойдут комиссары батальонов. Все труднее придется поддерживать в людях боевой дух. Понимаете?

Почти всю ночь я провел у капитана Волтузина,— днем его батальон подвергался сильному минометному обстрелу.

— Мой лейтенант, рад вас видеть! — воскликнул Волтузин, встретив меня, и сейчас же подхватил под руку, потянул пройти с ним. Он не унывал. Голос его осел и поблек только

на минуту, когда капитан докладывал о том, что при обстреле четыре человека было ранено и один убит. Но эта минута печали прошла быстро. Волтузин заговорил опять с веселой взволнованностью: — Я все больше и больше убеждаюсь, лейтенант, какая потрясающе прекрасная штука жизнь! На свете ничего нет сильнее жизни. Сколько недругов набрасывается на нее со всех сторон и с бомбами, и с пушками, и с танками. Но она стоит. Гордо, красиво, навсегда! И столько в ней разнообразного: солнце, любовь, отвага, крик ребенка, лесная тишина, опасности, атаки,— все это жизнь. И сколько испытаний! Отсутствие соли — испытание, хорошо. Отбить немецкие танки — испытание, хорошо! Все в жизни хорошо, мой лейтенант. Я просто восхищен оттого, что живу на земле! — Он прижал мою руку к своему боку.— Наверно, глупости болтаю, да? Я мало вас вижу, а именно с вами мне приятно поболтать...

Провожая меня, он так же весело и взбудораженно заверил:

— Батальон мой отличный, бойцы один к одному, красавцы! С такими бойцами можно совершить невозможное. Выйдем мы, прорвемся, я не сомневаюсь в этом ни минуты...

Напоследок он таким же веселым тоном сообщил, что майор Ромоданов, старший лейтенант Петенькин и старшина Лаптев в батальон не вернулись.

Занимался рассвет. По пути к штабу меня остановил артиллерист Бурмистров.

— Товарищ лейтенант, скоро ли двинемся?— Он смотрел на меня с надеждой.— Ведь по-

следнее терпение лопнуло, сил нет ждать... Стену своротим — только пустите!..

— Скоро, Бурмистров, скоро,— бодрым голосом сказал я и даже улыбнулся, чтобы успокоить артиллериста.— Вы готовьтесь...



— Мы давно готовы.— Бурмистров уныло побрел к своим пушкам — снова ждать.

«Где же ты, Алексей Петрович? — думал я о Шукине, выходя на поляну.— Хоть как-нибудь дай о себе знать...»

На поляне собралась и оживленно шумела, гоготала беспорядочная людская толпа. Красноармейцы окружили четыре подводы, стоявшие вблизи нашего шалашика. В каждой из повозок — по две пузатые бочки. Среди бойцов я увидел стоявшего на телеге Прокофия Чертыханова,— он, конечно, распоряжался. «Неужели пива приволок?..— с изумлением подумал я и поспешил к возам.— Этого еще не хватало».

Увидав меня, Чертыханов прыгнул на землю и подбежал ко мне. Остановился, обдернул коротенькую, всегда в сборках, гимнастерку, потом уже, широко размахнувшись, занес руку за ухо.

— Разрешите доложить, товарищ лейтенант, задание ваше выполнить не удалось, соли не привезли. Два обоза обшарили. Нету ее, проклятой. Но отбили и привезли заменитель — восемь бочек селедки. Пускай селедку едят.— И отступил в сторону, давая мне пройти.

Через полчаса по лесу потянуло специфически-острым и пряным запахом крепко соленых сельдей — Прокофий ловко выбивал тесаком днища бочек. Запах этот пробивался сквозь густоту деревьев, тек в утренней свежести все дальше, дальше, подбираясь к окопам, и люди, улавливая и вдыхая, были неожиданно поражены и ошеломлены им. Вскоре о селедках узнала вся группа. От батальонов уже явились снабженцы на подводах или просто так, с ведрами.

Оня Свидлер выдавал все самолично по счету,— на каждого бойца по одной. Прокофий Чертыханов стоял рядом с ним и, наблюдая, с важностью курил увесистую сигару — все восторженные отзывы Они о своем проворстве и нюхе он уже выслушал и теперь поучал, как надо обращаться с селедкой.

— Строго-настрога накажите бойцам,— поучал Прокофий,— чтобы они сразу всю селедку не ели, а применяли бы ее, как сахар во время чаепития в прикуску. Пусть ложку супа отхлебнут, и пососут селедочный хвост. И кашу так же: ложку съедят, и опять пососут хвостик.

Дня на три должно хватить, как по нотам, а то и побольше. А селедка, она такая: чем дольше лежит, тем солонее делается.

Оня Свидлер, хоть и был серьезно занят раздачей, все-таки ввернул:

— Напиши, Проня, инструкцию о правилах пользования селедкой, когда нет соли. Это будет замечательное произведение времен войны. А что, нет? Конечно!

Я улыбался, слушая короткий диалог Прокофия и Они Свидлера, глотал обильную слюну, вызванную запахом соленой рыбы. Мне, как, очевидно, и многим другим, казалось, что я могу съесть полбочки зараз,— так жгло в желудке, так хотелось лизнуть соленого. Я уже хотел подойти к Свидлеру и попросить у него одну рыбину, но в это время кто-то тронул меня за плечо и спросил:

— Что это за лавочка?

Я обернулся стремительно, молниеносно — голос принадлежал Шукину. Политрук стоял передо мной в неизменной своей каске, с автоматом на шее, как всегда невозмутимый, немного изумленный дележкой сельдей. Он выглядел усталым, еще более осунувшимся, скулы, обтянутые коричневой, обожженной солнцем кожей, выпирали еще острее. За его спиной, такие же утомленные, стояли Кочетовский и мрачный, с повязкой на голове, Гривастов. Неожиданное появление разведчиков на минуту как бы парализовало меня,— я буквально не верил своим глазам.

— Что ты на меня так смотришь? — недоуменно спросил Шукин и усмехнулся: — Похоронили, что ли?

Я утвердительно кивнул. Радость была такой жгучей, острой, что у меня в первый момент не нашлось слов.

— Алексей Петрович... Алеша, дорогой... ребята... Мы так вас ждали!.. Чертыханов! — крикнул я возбужденно.— Беги к комиссару Дубровину, доложи, что вернулись разведчики! Быстро!!!

Прокофий со всех ног бросился к землянке комиссара. Отбежав немного, вернулся, чтобы, кинув ладонь за ухо, поприветствовать Щукина.

— С возвращением вас, товарищ политрук! Прибыли, значит?.. А мы, видите, селедку делим...— Встретив мой гневный взгляд, он вспомнил о приказании и помчался прочь, гулко стуча гирями ботинок.

Весть о том, что возвратились разведчики, облетела сразу все батальоны. На поляне люди на некоторое время забыли о селедках, обступили Щукина. Политрук немного растерянно и в то же время преданно смотрел в жадные, горящие нетерпением и надеждой глаза бойцов,— им, этим людям, надо было что-то сказать. Он оглянулся. Несколько рук подняли Щукина на телегу и поставили рядом с бочкой,— говори! Я тоже кивнул ему,— говори. Щукин сглотнул подступивший к горлу ком.

— Мы были на Большой земле,— заговорил политрук негромко и взволнованно.— Мы видели своих, родных наших бойцов, обнимались с ними,— они сражаются по ту сторону фронта. И как сражаются!.. Стоят насмерть! Наше командование, наша партия, наша армия готовят врагу сокрушительный удар. С Урала, с

Востока, из Сибири прибывают свежие дивизии, идут эшелоны с оружием... Скоро фашисты узнают силу наших ударов. Мы должны во что бы то ни стало соединиться с нашими войсками. Соединимся! Этот час недалек, товарищи!..

Спрыгнув с телеги, Щукин подошел к шалашу, снял каску, сбросил с плеч мешок, сел на пень и, блаженно прикрыв глаза, улыбаясь, глубоко и облегченно вздохнул, как после тяжелой, изнуряющей работы.

— Дома...— прошептал он одними губами, и было странно слышать здесь, в незнакомом лесу, окруженном врагами, это теплое слово «дома»,— должно быть, людей, с которыми прошел через столько испытаний, считал родными. Вынув из кармана расческу, он по привычке причесал волосы. Я с нежностью погладил его по рукаву.

— Туго пришлось, старина?

Он спокойно пожал плечами.

— Черт его знает, Митя! Я как-то отупел весь, не могу разобрать, где туго, где слабо... Все то же самое — война, те же случаи, только в разных вариациях. Однажды мы с тобой лежали под настилом, помнишь? А на этот раз отсиживались день в подполе избы, занятой гитлеровцами. Так же ночью выползли, Гривастов с Кочетовским четверых офицеров без шума пришили к постелям — и ходу! — Щукин оглянулся.— Где они, мои орлы?

Гривастов и Кочетовский стояли у бочек с сельдью. И опять странно: совсем недавно эти люди совершили подвиг, выполнили, казалось, невыполнимое, а вот теперь эти орлы ругались

и спорили с Оней Свидлером о своих житейских делах.

Явился комиссар Дубровин, чисто выбритый, подтянутый, немного встревоженный. Щукин шагнул ему навстречу. Черными пронзительными глазами комиссар пристально взгляделся в лицо политрука, затем порывисто протянул руку.

— Рад вашему возвращению.

Все опустились на землю вокруг пенечка. Щукин поспешно снял сапог и вынул из голенища — там, где ушко — аккуратно сложенную бумажку; развернул ее и, положив на пень, разгладил ладонью. Это был план нашего маршрута с указанием места прорыва вражеской оборонительной линии и соединения с нашими войсками.

— Мы должны подойти к этому месту послезавтра в четыре ноль-ноль, — докладывал Щукин. — С фронта фашистская оборона будет атакована стрелковым соединением, поддержанным танками. Сигнал для атаки — красная и зеленая ракеты. Наши батальоны сосредотачиваются для броска вперед вот в этом лесу...

— Все ясно, — сказал комиссар Дубровин. — Будем готовиться... — Щукин взглянул на Сергея Петровича.

— Я пройду в батальоны, товарищ комиссар, соберу коммунистов и комсомольцев, побеседую.

— Обязательно.

— Но нам не следует заранее раскрывать наш замысел, — предупредил я. Полковник Казаринов утвердительно кивнул головой, соглашаясь со мной; он изучал план маршрута, сверяя его с картой.

Оба дня я провел в батальонах, соблюдая крепко усвоенное мной правило: чем тщательнее подготовка, тем успешнее будет проведена операция.

Бойцы повеселели. Особым чутьем они учуяли предстоящее выступление и готовились: чистили оружие, запасались патронами и гранатами, подгоняли обувь. Коммунистам и комсомольцам, посланным в подразделения комиссаром Дубровиным для поднятия боевого духа, нечего было делать,— бойцы горели от жажды. На клочках бумаги они коротко писали заявления о приеме в партию...

Оня Свидлер сбился с ног. От него требовали боеприпасов, лошадей для раненых, сухие пайки на дорогу, воды. Селедки, розданные бойцам, несмотря на строжайшее предупреждение и на «инструкцию» Прокофия Чертыханова сосать селедочные хвосты, были съедены за один присест. Людей одолевала мучительная жажда, внутри все горело, и бойцы подразделений, расположенных ближе к ручью, то и дело бегали на бережок и, встав на четвереньки, пили мутноватую, теплую, не утоляющую жажды воду. Пели, поскрипывали дужки ведер, надетых на палки. Взводы, расположенные вдали от ручья, требовали от Они Свидлера подвод с бочками.

Старшина разрывался. Завидев Чертыханова, Оня еще издали кричал, в горячности замысловато жестикулируя руками:

— Ты, Чертыхан, диверсант! А что, нет? Конечно! Ты нарочно привез эту проклятую се-

ледку, чтобы люди от жажды потеряли боеспособность, свалились! Я, товарищ лейтенант, окончательно пришел к выводу, что Чертыханов — человек злостный!

Прокофий спокойно и беззлобно смотрел на распаленного Свидлера, осуждающе качал лобастой головой.

— Вот ты, Осип, вражеский язык знаешь, в Москве жил... Я считал тебя человеком понимающим. А ты такую чепуху городишь. Даже перед товарищем лейтенантом за тебя стыдно. Ай-яй-яй!.. Я ж тебе помогаю. Бойцы у тебя сейчас есть просили бы, а тебе дать им нечего, я знаю. А теперь они воду пьют — и сыты. Так тебе и воды жалко?!

— Да ведь они ручей высушат, если станут так пить! — возмущался Оня.— Где будем брать воду?

— А вон дождичек собирается...

Первый день над лесом текли, почти задевая вершины сосен и елей, теплые и тихие облака. Порой они, как бы задерживаясь, сгущались, угрюмо чернели, и тогда сеялся, шурша в листве и в хвойных ветвях, реденький грибной дождь. Но тучка вскоре светлела, уходя, и окропленные елочки, желтеющие березки благоухали свежестью. Облака прикрывали нас от налетов вражеской авиации. Второй же день выдался, как на грех, ясный, и самолеты трижды бомбили нашу группу. Двое были убиты, трое ранены,— их отправили в «госпиталь», в землянки, вырытые в центре обороны.

Военврач третьего ранга Раиса Филипповна производила операции в брезентовой палатке. У нее насчитывалось уже больше пятидесяти

человек легко и тяжело раненных. Она падала от усталости, но не отходила от операционного стола. Бойцы глядели на нее с благоговением, как на мать. Она почти не произносила слов, губы были плотно и скорбно сжаты, только глаза, темные и большие на исхудавшем лице, выражали заботу, печаль, нежность и боль. Отведя меня в сторону от палатки, Раиса Филипповна попросила негромко, но твердо:

— Мне нужно шесть подвод для тяжелораненых. Остальные могут идти. А Свидлер дает только три. Можно бросить все, что угодно, только не раненых.

Я посмотрел в ее печальные глаза, на ее девически строгий и такой мирный пробор и ощутил внезапную жалость к этой милой женщине — жить бы ей дома в своем Арзамасе, лечить детей от кори, от простуд — она была детским врачом, — читать книги, ходить в кино, приглашать на праздники гостей; а она молча, терпеливо несет тяготы войны, которые порой и мужчине нелегко выдержать.

— Хорошо, Раиса Филипповна, я скажу Свидлеру, чтобы он дал вам лошадей. Готовьтесь.

Никита Добров, выйдя из землянки, сел на поваленное дерево и, заметив меня, улыбнулся, закивал седой головой, подзывая к себе. Я подошел, присел рядом, все время ощущая какую-то неловкость — не мог отделаться от мысли, что передо мной не тот Никита, с которым я прожил бок о бок почти десять лет (школа ФЗУ, годы в Москве), а совершенно другой человек, суровый, немного угрюмый.

Густая преждевременная седина накладывала на весь его облик оттенок умудренной зрелости. Лишь ясные насмешливые глаза да улыбка напоминали о прежнем Никите. Он явно томился от безделья.

— Если бы ты знал, как мне надоело, как стыдно вот так отсиживаться! — почти простонал он и поморщился, словно от боли. — Прямо возненавидел себя! Когда трогаемся?

— Сегодня в ночь.

— Скорее бы уж!..

— Вылечишься, может, на завод вернешься, в кузницу, — сказал я. — Хоть от потрясения оправишься...

Никита с жаром запротестовал:

— Нет, я должен рассчитаться с фашистами за свое погребение! Я сюда вернусь. Дай только поправиться... — Он неожиданно и хорошо улыбнулся. — А помнишь, Дима, как мы: ты, я и Саня Кочевой — ходили в военкомат и требовали, чтобы нас отправили в Испанию воевать с мятежными войсками Франко? И военный комиссар сказал нам, что своя война не за горами... Как мы были огорчены, что нас не пустили!..

— Да, — отозвался я, отчетливо вспоминая наш юношеский порыв в тот солнечный летний день. — Так уж мы были настроены — сражаться за свободу любой страны, любого народа. А вот жизнь свою, кровь и жизнь без остатка отдаем только за ту землю, на которой родились и выросли, и нет нам ничего дороже ее, родной земли. Возможно, только в годину огромных бедствий и потрясений человек пред-

стает во всей чистоте своих высоких человеческих, гражданских качеств.

Справа, в расположении батальона капитана Волтузина, в последний раз, трескуче, посорочьи проскрежетав, хлопнули две мины. Затем все смолкло: вражеские батареи и танки отделились от леса на ночлег. Попрощавшись с Никитой, я вернулся на КП, к ветхому шалашику на краю небольшой полянки. Солнце садилось.

— Вы слышите, товарищ лейтенант, как гудит лес — ровно тот улей, который, помните, я потревожил, — заметил Прокофий Чертыханов, идя на шаг сзади меня. — Ох, до чего же рвутся все домой!.. И веселятся, словно на свадьбу их пригласили...

Мы четверо — полковник Казаринов, комиссар Дубровин, Шукин и я — тщательно разработали план движения колонн. Батальоны согласно этому плану готовились к походу. Лагерь ожил. Всюду среди деревьев сновали люди, раздавались слова команды, окрики на лошадей, запрягаемых в повозки, скрип колес, позвякивание котелков и ведер; затарахтел трактор артиллериста Бурмистрова. И я во всей полноте ощутил грозную силу большого и сложного боевого организма; он жил, боролся за жизнь, готовился к сражению...

Свет над лесом незаметно замутился прохладными сумеречными тенями. Сквозь лохматую темную ель пробилась и сверкнула голубой льдинкой звезда. А сбоку ели на зеленоватом небе зажглась еще одна, еще и еще — это были наши, солдатские звезды... Я сел на пенек, охваченный тоскливым, щемящим чув-

ством, какое появляется при расставании,— расставаться с этим лесом было тяжело. Меня держала Нина. Здесь, во вражеском тылу, я ощущал ее близость, хоть и находились мы в разных местах. Скоро нас разделит рубеж из стали и огня,— сумеет ли прорваться сквозь этот рубеж наша любовь?.. «Прощай, Нина,— невольюно подумал я,— удастся ли нам встретиться?..»

Боец Хвостищев подогнал к шалашу лошадь для полковника Казаринова.

Батальоны бесшумно снимались, двумя колоннами выходили из лесного массива и спешно двигались на восток,— предстояло покрыть за ночь четырнадцать километров. Я шел с батальоном капитана Волгузина.

— Ежик, ты от меня не отставай, слышишь? — сказал я Васе.— А то потеряешься... Чертыханов, следи за ним...

— Не отстану,— бойко отозвался мальчик, едва поспевая за нами.

Когда мы вышли на открытое поле, я оглянулся и чуть не вскрикнул от охватившего меня волнения и восторга: за нами, распространяя глухой и грозный гул шагов, несмело позвякивая оружием, молча и стремительно двигалась мощная боевая колонна. Чувство преданности этим людям отозвалось в душе радостным трепетом. Мне хотелось крикнуть громко, на всю колонну словами Горького: «Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!» И тут, как бы отзываясь на мое восторженное восклицание, внезапно, словно налетевший вихрь, грянула песня, с лихостью, с высвистами. «Любо, братцы, любо, братцы, жить, с нашим атаманом

не приходится тужить!» — пел взвод. Разудалая песня эта выплеснулась у людей сама собою, от радости, что вырвались, наконец, из лесов, что скоро они пройдут сквозь огонь и злость врага, скоро будут дома — на Большой земле, среди своих!

— Что это? — недоуменно спросил я Волтузина. Капитан весело засмеялся.

— Поют, мой лейтенант.— И убежал утихомирить развеселившийся не вовремя взвод. Песня вскоре оборвалась. Волтузин вернулся, почему-то очень довольный.

— В чем там дело? — с напускной строгостью спросил я.— Что это за распущенность?..

— Поют от восторга,— заявил Волтузин оживленно.— Вместе с командиром взвода. Домой идут, то есть, простите, в бой, на смерть — с песней в душе!.. А враги считают нас окруженными и уничтоженными, лейтенант...

Я только сейчас твердо и окончательно осознал, что эти люди, бойцы, младшие и старшие командиры, уже победили врага всерьез и навсегда, хотя, возможно, многие из них не останутся в живых.

Авангардный взвод Щукина уже спустился во тьме под уклон — наш путь пересекала небольшая полувысохшая речушка.

С того берега навстречу нам скатывались, сухо потрескивая моторами, толкая впереди себя слабые световые шары, два мотоциклиста. Они как бы упали вниз, скользнув с горки на мост; лучи фонарей вздрогнули, метнулись в одну сторону, затем в другую и погасли. Понесся короткий и пронзительный человеческий вскрик, и все смолкло. От Щукина прибе-

жал связной: Гривастов и Кочетовский захватили одного гитлеровского мотоциклиста живым, второй убит.

Они Свидлера рядом не оказалось. Вместо него пленного с грехом пополам допросил связной капитана Волтузина. Мотоциклист рассказал о том, что в небольшой хутор, приткнувшийся на взгорье к лесу, переехал на запасный командный пункт командир пехотной дивизии, действующей на фронте южнее Ельни. Несколько позже на этом же мостике был задержан старик,— он уходил из хутора в какую-то деревню, к сестре или к дочери. Старик подтвердил показания пленного.

— Хуторок наш маленький,— сказал старик взволнованно, все время заглядывая мне в лицо,— он был до смерти рад, что встретился со своими.— Было восемь дворов, осталось пять: два сгорели недавно, в один бомба угодила и разнесла. Что тут штаб какой-то оставился, так это верно. Стоит. И генерал при нем. Сам видал. Прикатили нынче после обеда на легковых машинах, на грузовиках, одна машина с железными бортами, на ней пулемет... Жителей всех — вон. Вытурили. Носили в избы какие-то ящики с бумагами, и кругом все провода, провода...

— Солдат в хуторе много? — спросил я.

Старик взглянул на растянувшуюся, уходящую в темноту колонну и поспешно ответил:

— Нет, немножко. Хотя избы все заняты сполна. В избах-то офицеры. А солдаты в палатках. Наверняка сказать не могу, но, думаю, до ста насчитаешь...

Мы с Волтузиным взглянули на карту. Хутор стоял чуть в стороне от нашего маршрута. Его можно было обогнуть правее, но тогда мы рисковали сбиться с пути, да и вообще пройти неслышанными и незамеченными едва ли было возможно.

— Хутор будем атаковать,— сказал я Волтузину.

Капитан ответил без колебаний:

— Очень хорошо!

— Отец,— обратился я к старику,— вы сможете провести наших бойцов в обход хутора?

— Завести их, стало быть, на ту сторону? А как же не могу, если я тут каждую тропинку знаю. С завязанными глазами проведу, бережком, потом лесочком, и туда... Давайте ваших бойцов.

— Пошлите-ка песенников в обход хутора, товарищ капитан. Два других взвода найдут справа и слева. Сигнал — ракета. Прикажете разведчикам резать их связь. С первым взводом, с песенниками, пошлите командира роты. По выполнении задачи, рота присоединяется к колонне.— Капитан Волтузин скрылся в темноте, прихватив с собой старого проводника.— Чертыханов,— позвал я. Прокофий приблизил свое лицо прямо к моему лицу.— Беги к политуруку Шукину, передай ему мое решение — атаковать ЗПК дивизии. Его роте двигаться, не меняя направления. Быть готовым помочь атакующим огнем.

Прокофий умчался под гору.

Я послал связных предупредить о принятом решении полковника Казаринова, двигавшегося в третьем батальоне, и комиссара Дубро-

вина, возглавлявшего вторую колонну, идущую справа от нас.

Колонна, приостановившаяся в связи с допросом мотоциклиста и опросом старика, снова тронулась. Первые взводы уже спустились на мостик. А сбоку, обгоняя нас, глухо топоча каблуками, брэнча непригнанным снаряжением, пробежали бойцы,— они будут атаковать хутор. Среди бегущих я заметил и старика и как будто самого Волтузина. «Зачем это он с ними побежал?» — подумалось мне. Но, может быть, я ошибся. Нет, это был капитан. Оборвав бег, он круто обернулся ко мне на своих коротких неутомимых ногах, бодро доложил:

— Все в порядке, мой лейтенант! Старик в беге не уступает молодому бойцу. Он обещал вывести взвод в течение получаса. Думаю, что так и будет.

— Хорошо,— сказал я и отметил время.

Возбуждение, охватившее капитана, толкало к действию, он опять сунулся в темноту, кивнув мне на ходу:

— Извините.

Голова колонны, поднявшись на взгорье, опять задержалась, ожидая атаки взводов. Высоко в небе, под самыми звездами, неслись рывками редкие облака, даже в темноте отсвечивающие белизной. Они таили в своем торопливом полете что-то беспокойное, предостерегающее. По земле так же торопливо бежали тени, и временами, когда в облачные прорехи падал дрожащий, призрачный свет, явственно вырисовывалась дальняя грива леса, прикрытые ее тенью избенки хутора, тускло отсвечивала зеленеватыми бликами вода в речушке. Над го-

ловами людей, настороженно стоявших в колонне, колыхался блистающий в изморозной свежести пар. Приглушенный шепот походил на шелест листьев. Медленные и гулкие всплески взрывов, доносящиеся с фронта, усиливали напряженность. Но на душе у меня было спокойно, чувство тревоги, как бы перегорев, легло глубоко на дно.

Полчаса истекли. Ветер неутомимо гнал и гнал облака, и в тишине казалось, что они шуршат. «Что случилось там со взводами? — думал я, все время глядя в сторону хутора. — Что они так долго медлят?»

— Вася, — сказал я Ежику, — найди капитана Волтузина.

Мальчик проворно прошмыгнул среди бойцов, скрылся во тьме. Вскоре он прибежал назад.

— Командир третьей роты сказал, что командир сам повел взвод в хутор.

«Не утерпел, — подумал я про капитана. — Возможно, это лучше, надежнее».

За хутором одиноко взлетела ракета, облила зеленоватым, неживым светом лес и притаившиеся избы. Крики «ура!», выстрелы, а потом и хлопки гранат вспыхнули одновременно в разных концах и, стремясь навстречу друг другу, сомкнулись над хутором, слились в сплошной, протяжно-режущий вопль. Внезапно полыхнуло ввысь огненное, слепящее облако, — очевидно, подожжена была цистерна с горючим. Высокие пляшущие тени завихрились в хуторе. Загорелась изба. Атака была внезапной и успешной, — это чувствовалось по настроению бойцов, которым не стоялось на месте, всем хотелось туда, в бой.

Ежик испуганно смотрел на пожарище, на мелькающие в свете огня фигурки людей.

— Товарищ лейтенант, почему так долго не идет Чертыханов? Может быть, он там, в бою?

— Придет.

Я приказал головному взводу двигаться вперед. Люди проходили неподалеку от освещенных дрожащим пламенем изб; отблески этого пламени ложились на колонну, и сурово озирющиеся на место боя лица красноармейцев казались накаленными.

Мы миновали хутор, пересекли поле и опять вступили в лес. На лесной дороге меня догнал капитан Волтузин. Отдуваясь после бега, он вытирал голову и шею платком.

— Где вы были? — спросил я.

Капитан улыбнулся виновато и радостно, доверительно взял меня под руку.

— В последнюю минуту вдруг почувствовал неуверенность в командире роты. Взвод водил сам. Задание выполнено, мой лейтенант. Стосковались люди по бою, дрались, как дьяволы, — весело заключил он. Вася подергал его за рукав.

— Товарищ капитан, Чертыханова там не видали?

— Видал, Вася, — быстро ответил Волтузин, — где же ему быть, как не там? Вместе со мной бежал. В окно избы противотанковую гранату запустил, все разнес... Сейчас придет с трофеями.

Явился Чертыханов. Его сопровождали два бойца. Все они были навьючены мешками, портфелями. На плече Прокофия торчала ка-

кая-то палка, вроде ухвата, в мешке что-то звенело и брякало.

— Ты что же это лезешь без спросу, куда не надо? — строго спросил я Чертыханова. Он на этот раз не сказал свое «виноват, товарищ лейтенант».

— Русскому солдату где бой, туда и надо, — отчеканил он. — Отбили штандарт вражеской дивизии, товарищ лейтенант! Это у них вроде знамени. Вот он. — Он снял с плеча палку, похожую на древнюю секиру. — А в мешке — кресты и медали. Раздам ребятам на память.

Сильное волнение охватило меня. Я смотрел на Прокофия, не зная, какими словами выразить ему свою радость и свою гордость за него, моего товарища, надежного спутника, неутомимого русского воина. И вспомнил, как он, Чертыханов, благодарил меня и политрука Щукина, когда мы отбили у гитлеровцев пленных девушек.

— А теперь я на минуту произведу себя в маршалы, — сказал я повеселевшим голосом. И Прокофий тотчас вытянулся. — За участие в разгроме командного пункта фашистской дивизии, за захват вражеского знамени объявляю вам, товарищ ефрейтор Чертыханов, благодарность Верховного командования!..

— Служу Советскому Союзу! — гаркнул Прокофий.

Мы поцеловались.

Я послал связных к полковнику Казаринову и комиссару Дубровину, — сообщил, что налет на хутор прошел удачно, что захвачено много документов и штандарт. Связной вернулся вместе с комиссаром. Сергей Петрович слез

с коня, осмотрел мешки с бумагами и штаб-дарт.

— Эту штуку хранить как зеницу ока. Документы отправить к полковнику Казаринову. Разберемся. Возможно, есть среди них важные...

В ночной свежести все острее ощущалось дыхание фронта. И чем ближе мы к нему подступали, тем чаще сталкивались с немецкими тыловыми подразделениями, с одинокими подводами и машинами, со случайными группами солдат на полевых дорогах и у перелесков. Завязывались короткие перестрелки, и колонны невольно задерживались. Я опасался, что мы не подойдем к пункту сосредоточения в назначенный срок.

Под утро пальба на передовой утихла. Тишина была насыщена топотом и шорохом идущих уже развернутым строем батальонов. Неутомимо гудел трактор Бурмистрова, тащил за собой пушку. Пробивая темноту, беззвучно чертили небо трассирующие пули, оставляли за собой яркие ворсистые стежки.

— Скоро фронт, товарищ лейтенант? — спросил Вася Ежик; он старался не отстать от меня и шел где шагом, где рысцой, так же как и я, держа пистолет наготове.

— По моим подсчетам, еще километра два с половиной будет, — ответил за меня Чертыханов. — А ты что, устал? Садись ко мне на закорки, донесу до своих... Однажды я, Вася, раненого командира взвода километров шесть на горбу нес. Ему, видно, жалко меня было,

стал просить, чтобы я его оставил: «Брось,— говорит,— меня, Проня, доползу я или спрячусь где-нибудь. А то,— говорит,— пристрели...» Меня зло взяло на него за такие слова, а во зле силы прибавляются вдвойне. Взвалю его на плечи — и пошел, как по нотам. Раненый боец, он ведь, как младенец,— беспомощный. А младенца разве бросишь?.. Шагай, Вася.

За линией фронта край неба начал едва заметно зеленеть. Ветер угонял тучи, чтобы дать простор заре. Рассвет застиг внезапно. Привыкшие к лесам, мы чувствовали себя неприкрытыми в голое поле. По всему полю с нескошенными, почерневшими овсами торопливо шли, почти бежали цепь за цепью люди. Ожесточение уже коснулось их лиц, сковало черты, сжало зубы, и я знал, что только смерть, если она в силах, может остановить этих людей.

В реденькой рощице, вставшей на нашем пути, гитлеровцы двух артиллерийских батарей, увидев в сумерках рассвета неумолимо накатывающиеся людские волны на поле, застыли, оцепенелые от удивления и ужаса. Они были как бы смыты этими волнами.

Бойцы, волна за волной, протекли сквозь рощицу и снова выкатились в открытое поле, в конце которого вставал черной стеной перелесок. Я боялся, что немцы, обнаружив за спиной у себя такую силу, пустят в ход танки, подавят и посекут нас из пулеметов. И они, возможно, сделали бы так, если бы не рывнули и не потрясли землю десятки орудий наших войск. На секунду, словно по команде, цепи встали, тревожно, изумленно и радостно

прислушиваясь к залпам, еще не веря своим ушам. Прокофий Чертыханов грохнулся как подкошенный на землю, ткнулся лбом в кочку, забормотал что-то невнятно и часто, потом вскочил — лицо было залито слезами — и зычно, что есть мочи заорал:

— Наши бьют!! Как по нотам!

Крик подхватили.

— Наши! Наши! — кричали, иступленно вопили люди, охваченные почти безумной радостью освобождения и встречи со своими, еще невидимыми, но близкими. Крик этот захлестывал цепи, перекинулся в роты, идущие во втором и в третьем эшелонах. Потом, крича, все побежали навстречу взрывам, к лесу, все быстрее и быстрее.

Грозный гул орудийной пальбы нарастал с каждой минутой, безраздельно властвуя на этой земле,— русская артиллерия взламывала вражескую оборону, расположенную, по всей видимости, по ту сторону леска. Гитлеровцы, должно быть, оставили первую линию укреплений и, пройдя лесок, выкатились на опушку и в поле, навстречу нашим цепям. Бойцы опрокидывали их штыковым ударом. Одна цепь уже скрылась в лесу...

Пальба смолкла. Из леса, по дороге, вымахнули один за другим два танка.

— Наши! — опять заорал Чертыханов и выскочил из канавки.— Шукин! — И помахал сажеными прыжками навстречу танкам. Вася Ежик не отставал от него. Шукин стоял на машине возле башни и взмахивал автоматом. Я не утерпел и тоже побежал к Шукину.

Мина разорвалась совсем рядом. Меня ударило в правый бок и отшвырнуло. Я лежал, оглушенный, не чувствуя своего тела, оно было как будто не мое и как будто мертвое. Живыми были только сердце и мозг.

— Прокофий, вот он! — услышал я плачущий Васин голос. — Иди скорее!

Надо мной нагнулся Чертыханов, потом подлетел Щукин.

— Живой? — испуганно спросил Щукин. — Давай бинты. Скорей! Найди Раису Филипповну!

— Довели, Алеша, — прошептал я. — Довели! Спасибо тебе, дружище...

Теряя сознание, я услышал свое сердце, оно билось, стучало... «Жив! — прозвенела знакомая струна. — Живой! Уцелел... Для жизни, для борьбы, для Нины, для нашего сына...»

Цена 4 р. 85 к.

А. Андреев — ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Библиотечка
ВОЕННЫХ
приключений



АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

*Очень хочется
жить*